

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



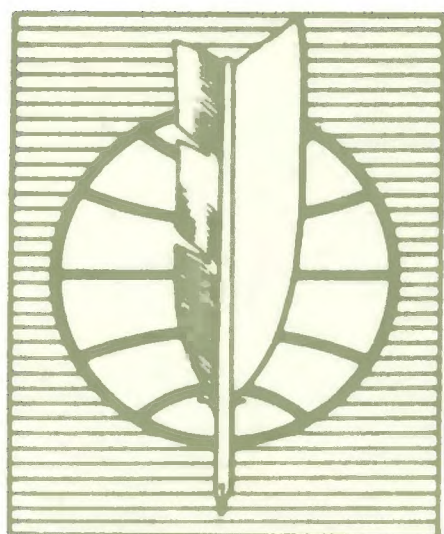
И.С.
ТУРГЕНЕВ
Н.С.
ЛЕСКОВ
А.Н.
ОСТРОВСКИЙ



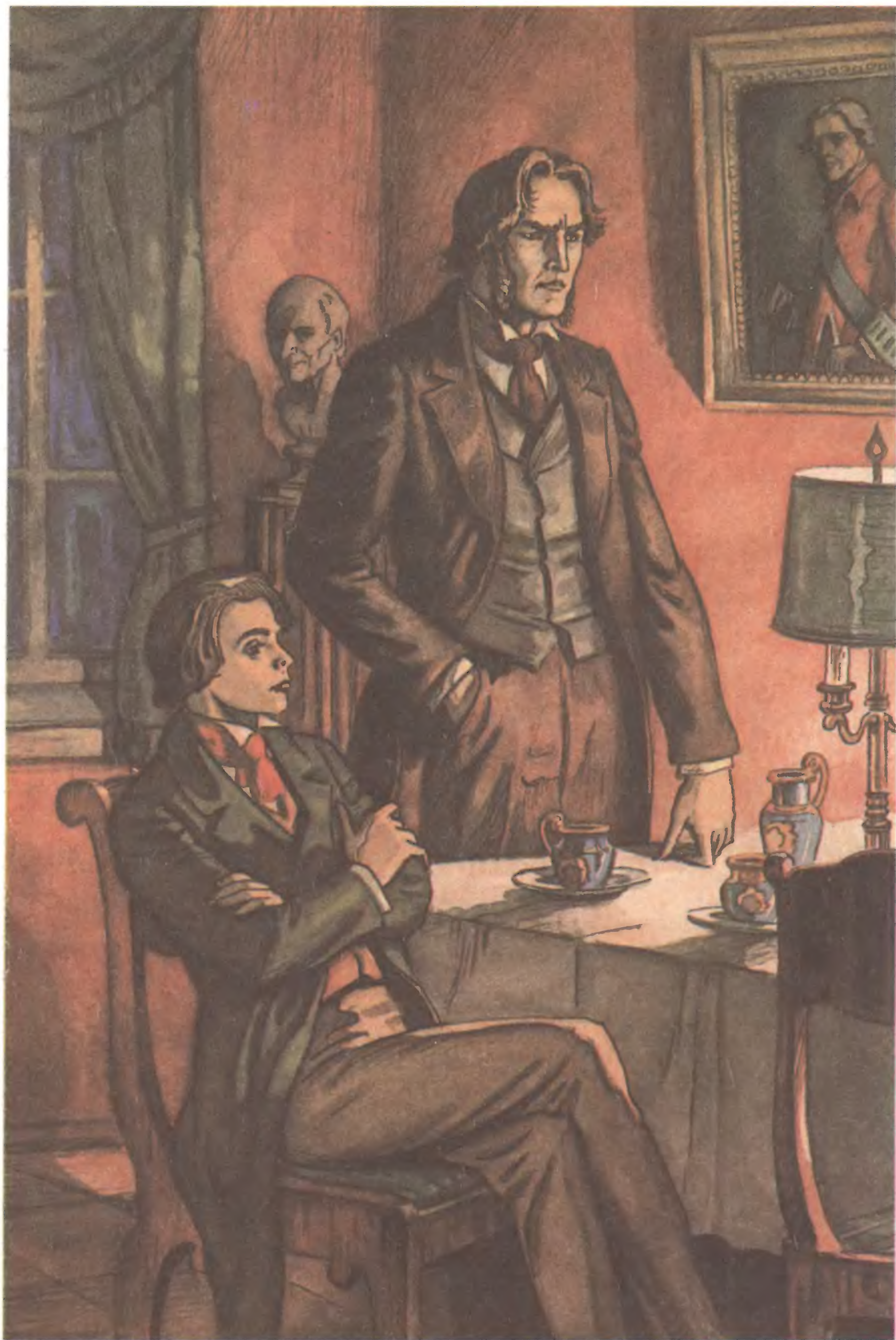
И.С.ТУРГЕНЕВ
Н.С.ЛЕСКОВ
А.Н.ОСТРОВСКИЙ







**БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ**



И.С.ТУРГЕНЕВ

Записки охотника
Отцы и дети
Роман



Н.С.ЛЕСКОВ

Леди Макбет
Мценского уезда
Очарованный странник
Повести

П Левша
Мупейный художник
Рассказы



А.Н.ОСТРОВСКИЙ

Пьесы

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1981

P1
T87



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Дехтерев Б. А.	Мотяшов И. П.
Алексин А. Г.	Думбадзе Н. В.	Мустай Карим
Барабаш Ю. Я.	Коржев Г. М.	Новожилова З. Г.
Барто А. Л.	Леонов Л. М.	Пешеходова Г. К.
Благой Д. Д.	Лихачев Д. С.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Свиридов Н. В.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Столетов В. Н.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
	Михалков С. В.	Шолохов М. А.

Предисловие и комментарии
В. И. КОРОВИНА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации и оформление тома
А. ПАРАМОНОВА

Т 70803—066 Подп. изд.
М101(03)81

© Состав. Предисловие. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

ТОРЖЕСТВО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО СЛОВА

Произведения, собранные в этой книге, принадлежат к замечательным образцам национальной словесной культуры. Их авторы — Тургенев, Лесков и Островский — одни из самых читаемых и почитаемых писателей. Хотя все они — признанные и глубокие реалисты, их мировоззренческие и эстетические позиции не были одинаковыми или совпадающими. Да и писали они в разных жанрах. Островский по преимуществу драматург, а Тургенев и Лесков — прозаики, причем стиль Тургенева резко отличен от стиля Лескова. Еще Добролюбов заметил, что «Тургенев, например, рассказывает о своих героях, как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ним, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их...». Лесков же, как правило, ведет речь от лица самого персонажа или создает образ рассказчика, который выступает у него посредствующим звеном между писателем и персонажами, устраняя тем самым интимную связь между автором и его героями. Тургеневу не свойственна стилизованная форма повествовательной речи, Лескова же нельзя представить вне ее. Тургеневский рассказчик обычно интеллигентный, образованный человек. У Лескова речь имитирует народное мышление и народный способ выражаться. Тургенев остается лириком в прозе, Лесков же скрывает свою личность, не дает ей языка, прячась за сказовой манерой. Словом, расхождений между Тургеневым, Островским и Лесковым едва ли не больше, чем ощутимого сходства.

Однако каждое сопоставление писателей, творивших по существу в одну и ту же или близкую эпоху, помогает глубже понять и действительность, ставшую объектом их художнического внимания, и реалистический метод в целом, и разнообразие

стилей русского реализма. Конечно, вполне возможны и другие сочетания имен, скажем, Тургенева, Толстого и Достоевского или Тургенева, Гончарова и Писемского, и они тоже способны многое прояснить в судьбах русского реализма. Кстати, знаменитый русский критик Д. И. Писарев избрал предметом своего размышления Писемского, Тургенева, Гончарова. Этому «триумвирату» он посвятил две известные статьи. Но дело даже не в этом.

Дореформенная и пореформенная Россия открывалась писателям с разных сторон и под разными углами зрения. Но в ней было нечто существенное, доминирующее, определявшее в конечном счете писательский на нее взгляд. Таким самым главным, мимо чего не прошли ни Тургенев, ни Островский, ни Лесков, стали проблемы крепостного права, освободительного движения, будущего исторического развития и, в связи с этим, критика буржуазных отношений. Тут писатели напрямую обратились к народу, к различным социальным слоям нации, чтобы найти те живые, здоровые силы, на которые можно опереться. И пожалуй, особенным вниманием пользуется в эту эпоху положительный герой. Его отыскивают и в народе, и в среде разночинцев, и в слое мастеровых, умельцев, пытаюсь понять, в чем же заключены коренные свойства национального характера, не умирающие, но подавленные обстоятельствами. С одной стороны, русская жизнь, которая калечила богатые натуры, а с другой — неувыдающая нравственная сила русского человека, — таковы полюсы, влекущие к себе писателей. И конечно, вполне закономерно, что пафосом русской литературы второй половины XIX века становится глубокое художественное исследование всей действительности. В это время неизмеримо расширился материал, подвергнутый творческому изучению: литература освоила новые пласты жизни, в нее мощным потоком хлынули новые герои. Пафос реальности стал господствующим и для Тургенева, и для Островского, и для Лескова. Их деятельность, наконец, протекала не уединенно и обособленно — они читали друг друга и размышляли о прочитанном, а порой и спорили. Чутко прислушиваясь к современности, улавливая колебания в общественной атмосфере русской действительности, они часто избирали одинаковый материал для своих произведений.

Тургенев и Островский почти в одно время вступили на литературный путь, начав его в русле натуральной школы. Объектом их наблюдений была предреформенная и послереформенная Россия. Свою творческую деятельность они завершили в 80-е годы. Есть несомненные переклички и между Тургеневым и Лесковым. Оба писателя — орловцы, и иногда их произведения обнаруживают сходство даже в названиях. Тургеневу принадлежит повесть «Гамлет Щигровского уезда», а Лескову — «Леди

Макбет Мценского уезда». Шекспировские герои, шекспировские страсти обретают новую жизнь в условиях русской провинции. Тургенева и Лескова роднит интерес к судьбе крепостного мужика, к талантливым выходцам из народа. Есть несомненное родство между персонажами «Записок охотника» Тургенева и «Очарованным странником», «Тупейным художником» и многими другими произведениями Лескова. Базаров как тип даровитого человека из народа, из разночинской среды, многими своими свойствами также напоминает персонажей Лескова. Бесспорна внутренняя связь между Островским и Лесковым в изображении купеческого быта с его невыносимой скукой, губящей волевою натуру, во внимании к человеку-артисту, поднимающемуся в своем нравственном сознании выше омертвевших душой бар.

В центре размышлений писателей — личность, национальный характер, взятый с точки зрения его психологической сущности, которая обусловлена исторически и социально. И Тургенева, и Островского, и Лескова занимает прежде всего внутренняя, духовная сфера человека. Но это объединяющее их пристрастие совсем не означает, что писатели отказываются от изображения всей совокупности обстоятельств, оказывающих непосредственное и опосредованное, косвенное, воздействие на духовный мир личности. И конечно, они по-разному понимают и самую личность, и ее окружение, те внешние силы, которые ее формируют и которым она подчиняется или сопротивляется. При неослабевающем критическом пафосе и Тургенев, и Островский, и Лесков стремятся отыскать и запечатлеть положительные ценности жизни. Естественно, что они обращаются к народной, крестьянской, разночинской или ремесленной среде. Так, после сатирической пьесы «Свои люди — сочтемся» Островский пытается найти национальный характер в патриархальной купеческой семье, а затем в народе, среди разночинцев и актеров. Тургенева после поэм «Параша» и «Помещик», драматических произведений также влечет иной — крестьянский — мир. Лесков, начавший литературную деятельность в 1860-е годы, направляет свой взор на простого человека, выходца из крестьян или ремесленников. При этом ни один из этих писателей не проходит ни мимо крепостничества, ни мимо берущих верх буржуазных отношений.

Новый национальный характер привлекает Тургенева в его великой книге «Записки охотника». Первый же рассказ — «Хорь и Калиныч», опубликованный в 1847 году, — был встречен, как затем и вся книга, с восторгом. Впечатление от него было ошеломляющим, «незабвенным», по словам Л. Н. Толстого.

Непритязательное название книги — «Записки охотника», — казалось, чрезвычайно далеко от современности. Оно настраивало на знакомство с живыми картинами природы, с повадками

птиц и животных, с забавными или страшными приключениями. Однако Тургенев рассказал в очерках не только о природе, но и о русской деревне, о страданиях крепостного люда, о нравственной красоте крестьян.

Повествование в очерках ведется от лица человека, которого крестьяне называют барином, но реальной власти над мужиками у него нет. Он охотник.

Охота ставила человека один на один с природой. Охотникам-господам приходилось пользоваться услугами крестьян. Охотник в поисках дичи или зверя становится путешественником, который перемещается из одной деревни в другую и по пути встречается с крестьянами и помещиками. Выключенный на время из социальных отношений, он наблюдает их со стороны. Постепенно, однако, охотник предстает не равнодушным созерцателем, а заинтересованным наблюдателем жизни. Ему свойствен гуманный взгляд на крестьянина, внимание к его нуждам, труду и заботам.

В русской литературе природа никогда не изображалась так подробно и детально, как у Тургенева. Никто столь пластично, живописно и одухотворенно не передавал неисчерпаемого богатства природного мира. Природа у Тургенева многокрасочна и многозвучна и выступает мощной, животворящей, нравственно здоровой, светлой и врачующей силой.

Природа и крестьянский труд — вот те естественные условия, в которых формируется национальный характер русского человека. До Тургенева русские писатели изображали тягостные сцены крепостного рабства, сочувствовали крестьянам, но никто не пытался приоткрыть их духовную жизнь. На крестьян большей частью смотрели как на людей грубых и неотесанных, безграмотных и забитых. Тургенева заинтересовала душа русского крестьянина. Он увидел в нем не только задавленного непосильной нуждой, обобранного помещиком раба, но и свободолюбивого человека с глубокими нравственными чувствами.

Писатель открыл в русском крестьянстве множество разнообразных характеров, нравственно тонких и глубоких, художественно одаренных. Общение с природой побуждает крестьян к добрым поступкам. В труде крестьяне могут проявить широту натуры, сметку, находчивость, решительность. Естественная жизнь учит их смелости, воспитывает ум, гуманное отношение к природе и друг к другу, обостряет поэтическую чуткость. Не в каждом все эти свойства воплощаются вместе, но ими обладает народ в целом и они по праву считаются национально-характерными чертами. Именно близость к труду и природе рождает деловитость Хоря, человека подлинно «государственного ума», напоминающего охотнику Петра Великого, решительность Ермолая, отвагу и ум Павлуши. Богатыми художественными задат-

ками наделен Калиныч, поэтически воспринимающий природу. Сродни ему замечательный, проникновенный певец Яков Турок и тонко, умом и сердцем, чувствующий прекрасное Дикий-Барин. Высокая нравственная чистота отличает суровый гуманизм Бирюка, нежную привязанность ко всему живому Касьяна с Красивой Мечи, самозабвенную любовь Акулины.

Однако естественным условиям жизни деревни противостоят иные — общественно-социальные. Крепостнические порядки извращают то доброе и человечески ценное, что рождается в русском крестьянине благодаря общению с природой и труду.

Размышляя о крепостном праве, Тургенев сравнивает орловского, «барщинного» мужика с калужским, «оброчным». Оброк — более прогрессивная, чем барщина, форма крепостного хозяйствования. Хорь, ставший оброчным мужиком, выглядит деловым, самостоятельным хозяином. У него завелись деньги, и он мог бы даже откупиться, то есть стать свободным от крепостной неволи. Калиныч, напротив, нищ и беден. Антикрепостническая мысль Тургенева в рассказе «Хорь и Калиныч», как и во всем цикле «Записок охотника», ясна: Калиныч разорен барином-охотником, который не отпускает его от себя, тогда как Хорь, ускользнувший от барской опеки, смог разбогатеть. Хозяйственный талант Хоря проявился вдалеке от барского глаза (недаром он просит у помещика Полутыкина поселиться «в лесу на болоте»). По мнению писателя, чем дальше крестьянин от помещика, тем смелее его хозяйственная изобретательность.

Крепостное право не только разоряет крестьян, но и калечит их нравственно. Тургенев-реалист не скрывает темных сторон крестьянской жизни. Одни становятся пьяницами, как Обалдуй, другие, как Владимир, — чванливыми и презрительными бездельниками, третьи, подобно Виктору Александрычу, — пустыми и душевно черствыми лакеями, четвертые, как, например, Софрон, — жестокими хищниками, нещадно грабящими своего же брата крестьянина, или потерявшими человеческое достоинство и, как Вася, славящими барина за несправедливое наказание.

Не менее выразительны в «Записках охотника» и помещики, которые при крепостном праве получили почти безграничную власть даже над самой жизнью крестьян. Они, как Пеночкин, порою образованны и богаты, мнят себя европейски мыслящими и воспитанными или прикидываются хлебосолами и балагурами вроде старичка Мардария Аполлоныча Стегунова. Они могут быть исполнены ложного величия, как отставной генерал-майор Вячеслав Илларионович Хвалынский, но не прочь и полакействовать перед сильными мира сего. При этом жестокость Пеночкина и Зверкова — не исключение, а заурядное явление. Помещики считают свою власть над крестьянами вполне нор-

мальной, законной. Вот эта «нормальность» крепостничества более всего возмущает Тургенева: надругательство над человеческим достоинством превратилось в самое обыкновенное дело. Следовательно, весь крепостной порядок должен быть устранен. Ужасно то, что ни помещики, ни подчас их жертвы не замечают чудовищной социальной несправедливости, заключенной в крепостном праве.

Однако картины, нарисованные Тургеневым, не создают гнетущего впечатления, потому что писатель нашел в народе высокую духовность, которая не истреблена страшными обстоятельствами крепостного права.

В народе, утверждал писатель, посеяны семена преобразовательной деятельности, деловитости, мудрости, гуманности, решимости и отваги, добродушия и простоты, поэтического чувства и большого творческого дара. Но жизнь крестьян еще печальна. Нужны коренные перемены, и первая среди них — отмена рабства. «Записки охотника» осветили русской публике самую душу мужика. Л. Н. Толстой, тогда еще молодой писатель, был несказанно удивлен тем, что мужика «можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно описывать во весь рост, не только с любовью, но и с уважением и даже трепетом». Книга Тургенева оставила неизгладимый след не только в сознании Толстого, но и во всей литературе и общественной мысли России.

«Записки охотника» — своего рода книга-итог и книга-начало. Она открывала новый период в русской литературе в изображении народа. Вместе с тем рассказы Тургенева внутренне вырастали из «натуральной школы» с типичной для нее очерковостью. Писатель сообщал точные топографические приметы, рисовал быт, особенности местности, служившие необходимым фоном при создании разнообразных человеческих характеров.

Национальные типы, запечатленные Тургеневым в «Записках охотника», от правдоискателей и правдолюбцев, одержимых страстью или идеей, до смекалистых и художнических натур, взволнуют впоследствии Лескова. Их заметил и широко ввел в свои пьесы Островский.

В драме «Гроза», например, драматург подробно и опять-таки топографически точно фиксировал черты провинциального Калинова, его общественный сад на высоком берегу Волги, улицы, быт горожан, занятия жителей, детально погружая в обстановку калиновской жизни. И новый характер Островский уже прямо не выводит из патриархальной купеческой действительности, как это было в пьесах «москвитянинского периода» («Бедность не порок» и др.). Хотя Катерина Кабанова — жена купца, но не эта сословная принадлежность формирует душевный строй героини. Островский намечает три группы образов, которые

сопутствуют Катерине и в которых выражаются ее сокровенные чувства и думы. Катерина несколько раз ощущает себя птицей и задается вопросом: «Отчего люди не летают?» Этот мотив вольного полета, естественной природной жизни возникает уже в первом действии (явл. 5) и снова появляется во втором (явл. 8). Рассказывая Варваре о своей жизни в материнском доме, она окружает себя природными образами: «точно птичка на воле», «схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью», «У меня цветов было много, много», «Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит...». Простой, природной стихии соответствует поэтическая форма речи с весьма заметной фольклорной окраской («Я жила не тужила...», «души не чаяла»). Народное искусство («рассказы да пение») также воздействуют на душу Катерины. Наконец, они совмещаются с народно-религиозными представлениями (церковь, жития святых). «А знаешь,— вспоминает Катерина,— в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют». Или дальше: «А какие мне сны снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху». Мотивы полета, райских птиц, вольности становятся определяющими в формировании характера. Недаром уже в детстве Катерина не мирилась с несправедливой обидой и стояла за себя, не позволяя напрасно обижать и ломать свою душу. Широкая ее натура, искони свободолюбивая, не терпит принуждения. Но в еще большей мере героине присуща мечта о светлой и прекрасной жизни, которая мелькала в навеянных народной фантазией таинственных видениях, противостоящих скучной, застойной, тусклой жизни. Всем своим существом, рационально даже не осознавая этого, Катерина противится удушающим устоям калиновской действительности, морального порядка, грубо торжествующего в доме Кабанихи. Но когда заедает ее кабанихинское ханжество, она уже перестает видеть чудесные сны: «Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы...» Ей, как и народу, свойственна жажда простора, воли, любви, на которых должны покоиться всеобщие отношения. Этот нравственный максимализм и глубочайшая внутренняя убежденность народа, что иначе и не может быть, вселяли веру в неистощимые силы его духа. Заметим, что и тургеневский Касьян с Красивой Мечи облекает свои гуманные чувства в религиозную форму, отвергая общепринятую, бытующую мораль и устремляясь к своей «правде». В его воображении возникают образы, похожие на видения Катерины: «Тут, смотришь, трава

какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакie степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел...» Тургенев не может не заметить наивности, слабости и даже беспочвенности таких мечтаний. Касьян напоминает ему «юродивца». Островский тоже не преувеличивает силу Катерины, но писателей влечет неумирающее светлое начало в человеке. Касьян отрицает убийство птиц и зверей, считая охоту грехом. Катерина радуется природе, жизни, и ее строгое осуждение злой воли, отзывчивость на чужую боль и беспощадное чувство собственной вины осмысливается писателем как истинно национально-характерные качества.

Какие бы испытания ни выпадали на долю русского человека, в нем не исчезают жизнелюбие и высокая духовность. Тургеневские герои в «Записках охотника» исключительно талантливы, хотя в большинстве своем нищи, голодны, босы. Кнут ходит по их спинам. Но еще горше унижение человеческого достоинства. Эта тема в русской литературе была одна из самых значительных. В «Грозе» Островского Катерина не выдерживает нравственных пыток. В «Тупейном художнике» Лескова парикмахер Аркадий подвергается моральным истязаниям. Как правило, именно любовь героев становится для них пагубной. Повесть Лескова «Тупейный художник» отчасти завершает традицию, начатую Карамзиным и подхваченную Тургеневым («Муму»), Герценом («Сорока-воровка»), Островским («Гроза»).

Как обычно у Лескова, герой обладает, казалось бы, незаметной и вполне обыкновенной способностью. Но искусность Аркадия в парикмахерском деле столь замечательна, что она превращает его в художника и ставит выше господ, никакими талантами не наделенных. Аркадию свойственны высокие побуждения, он способен на истинную и глубокую страсть. Наконец, мастерство Аркадия обостряет присущее ему чувство человеческого достоинства. Лесков подчеркивает, что Аркадий в своей талантливости далеко не одинок. Таковы многие крепостные графа Каменского: из них вышли прекрасные актрисы, умелые декораторы. У каждого крепостного есть какой-нибудь талант, и все они объединены не только социальным положением, но также и дарованиями. В этом качестве они противопоставлены графам Каменским, своим господам, которые их искусство присваивают и им наслаждаются.

Духовное богатство крепостных сближает их. Они тянутся друг к другу. Самая любовь между Аркадием и крепостной актрисой Любовью Онисимовной — следствие этой внутренней артистичности натур.

В противоположность им бездуховность господ вопиющая и предельно обнажена. Они внутренне опустошены и способны лишь на мелкие интриги, коварство, зависть, всевозможные каверзы и бесстыдное сладострастие. Лишь искусство Аркадия придает «некрасивому и ничтожному лицу графа» пристойное выражение. Как иронически пишет Лесков, от штатских «только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась». Брат графа Каменского, живший в деревне, «был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх...».

В сюжете рассказа Лесков сливает воедино искусство художника-гримера Аркадия Ильича и его чувство к Любови Онисимовне. В развитии обеих сюжетных линий Аркадий оказывается лицом страдательным и подвергается суровому наказанию: сначала его нещадно хлещут, а затем сдают в солдаты. Однако талантливость героя спасает его: он не пропадает, не мельчает духовно, а выбивается в офицеры. Не угасает и его любовь. Но герои у Лескова обречены силой обстоятельств. Аркадия убивает из-за денег «постоялый дворник», а Любовь Онисимовна теряет душевные силы и пристращается к вину. Она повторяет историю другой крепостной — Дросиды Петровны. В рассказе Лескова все светлое исходит от самих персонажей, а все темное и злое — из внешних условий крепостного быта. Элегическая тональность совмещается с откровенно сатирической, и вывод писателя состоит в пробуждении гуманности к простому человеку: «...Простых людей надо беречь, простые люди все ведь страдатели».

Талантливость народа — залог его нравственного здоровья. Лесков, как Островский и Тургенев, сомневался в каких-либо теориях, которые могут быть приложимы к русской жизни. Он считал, что ее естественный ход сам по себе выведет русского человека на широкую дорогу обновления, что обстоятельства изменятся не вследствие усилий «теоретиков», поскольку трудно обнаружить в стихийной действительности что-нибудь логически стройное, а в результате самостоятельной жизнедеятельности народа. Отсюда понятно, почему писатели столь ценят непосредственный душевный порыв и внутреннюю активность личности.

В драмах Островского, например, милые молодые люди, проповедующие высокие нравственные принципы, ничего не достигают ни на общественном, ни на личном поприще. Русский народ отвергает «теории», он наивен, простодушен и более доверяется своим душевным силам и чувствам, нежели рассудочному знанию. Но это вовсе не означает, что ему не пристали образованность, просвещение. Напротив, они могли бы существенно помочь ему в скорейшем освобождении от сковывающих его талантливость обстоятельств, искажающих его природную одаренность, умаляющих ее и даже сводящих к нулю.

В пьесе Островского «Гроза» есть персонаж — самоучка-изобретатель Кулигин. Его мечты значительны и гуманны. Но что он хочет изобрести? Перпетуум-мобиле, вечный двигатель. Кулигин одержим мыслью осчастливить человечество, устранить всяческую несправедливость. Но его мечта иллюзорна, потому что она не основана ни на каких реальных знаниях. Островский проникнут сочувствием к своему персонажу и одновременно жалеет его, мягко подшучивает над ним, над его наивностью. Тот же тип русского умельца возникает и в повести Лескова «Левша». У Островского Кулигин всего лишь второстепенный персонаж, у Лескова — центральный. Писатель дает ему реальное дело, а не мечтательное, и Левша у него выступает искусным мастером, как и его товарищи — туляки. Вся история рассказана от лица простого человека. Казалось бы, Лесков нигде не обнаруживает себя. Но в освещении событий Лескову важно не только увидеть всю историю глазами близкого к герою персонажа, но и поправить его. Лесков напоминает о себе то язвительным словом, то нарочито сатирической обрисовкой, то грустным размышлением.

В отличие от Кулигина Левша практик, а не теоретик, но живой мысли он не чужд.

И все-таки как бы ни был искусен Левша, его ремесло многое теряет от того, что он творит по наитию, по вдохновению, не соображаясь с простейшими знаниями. Поэтому Лесков не только восхищен умелостью русского человека, но саркастичен. Его сатира направлена, конечно, не на Левшу, который грамоте не знает, а на тех, кто отлучил его от просвещения и оставил его талант сырым, необделанным.

В лесковском «сказе», в основу которого лег фольклорный мотив состязания, соревнования между английскими и тульскими мастерами, писатель верен своему пониманию русского человека — необычайно даровитого и достигающего волшебного мастерства в ремесле. Левша такой же умелец и искусник, как и Аркадий в парикмахерском деле. Но подобно Аркадию и его возлюбленной Любви Онисимовне, выступает лицом страдательным. Судьба Левши символизирует для Лескова судьбу

всей нации, потенциальные возможности которой громадны, но стеснены внешними обстоятельствами. Поэтому, не отказываясь от гимна таланту простого русского человека, Лесков значительно заостряет сатирическое изображение, а весь «сказ» приобретает трагическое звучание. Лесков как бы сталкивает две интонации повествования — хвалебную и язвительную. Мотив соперничества позволяет писателю придать происшествию, случаю, курьезу общенациональный, обобщающий смысл. Поэтому особенно значим ряд параллельных сцен в Англии и в России.

Сначала как будто посрамлены англичане: атаман Платов, путешествующий с Александром I, разоблачает их похвальбу. Александр готов восхищаться всем английским и чернить русское. Патриотизм ему чужд. Рассказчик так передает слова Александра: «Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Поведение Александра, его речи совершенно наивны. Царь развлекается и выглядит несмышленищем, которому пускают пыль в глаза. Платов с его казацкой хитростью, народным лукавством тут же сажает англичан и самого царя в лужу: когда англичане вздумали показать Александру Мортимерово ружье, атаман, поковырявшись в нем, нашел «на самом сугибе» русскую надпись: «Иван Москвин во граде Туле». Царь раздосадован, поскольку дело его не интересует, а весь он во власти приличий, этикета, посторонних и суетных соображений. Он — лицедей, его сфера — игра, интрига. Лесков срывает маску мудрости с царя, разоблачает тайну каких-то неведомых государственных соображений, которыми тот пытается скрыть свое невежество. Англичане, однако, изумили царя заводной танцующей блохой. Лесков становится в этот момент откровенно сатиричен: англичане выглядят у него хитрыми и расчетливыми. Они блюдут выгоду. За свой дар они получают от царя миллион серебром, а за футляр к блохе еще пять тысяч. Духовная пустота Александра обошлась русскому государству в круглую сумму. Расточительность царя возмущает Платова: блоха воспринимается им как некая прихоть, и рассказчик эту позицию разделяет. Ему не по душе и прижимистость англичан, которые дарят не от чистого сердца, а вымогая крупный куш за безделушку.

Новый царь, Николай I, казалось бы, прямая противоположность своему брату: «Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил...» Но кроме этой новой, патриотической, амбиции, у Николая тоже нет ничего за душой. Как ни вертел он блоху, подкованную туляками, ничего углядеть не мог. И порядки при дворе остались прежними: все ловчат, хитрят,

изворачиваются да царского гнева боятся. И воля царя отправить Левшу в Англию — не более как каприз, только на другой лад. Похвальба Николая работой тульских мастеров лишь тешит его, забавляет. Но есть тут и другой смысл: Александр щедро отсыпал англичанам за пустяковину серебра, а русского мастера Николай отправил в дорогу без продуктов, без денег, лишь напоив водкой — «на каждой станции пояса на один значок уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались...». Тут выясняется, что антипатриотизм и напускной патриотизм только маски эгоистических вожделений. Между властью и народом нет тесных и живых соприкосновений. В этом отношении примечательна фигура Платова. Атаман в «сказе» выступает защитником престижа русских мастеров при Александре. А при Николае, напротив, становится на сторону власти. Двойственность характера Платова объясняется тем, что он из казаков, но в то же время при дворе. Переступить через дворцовые обычаи он не может. Платов фрондирует и боится за себя. И это его положение приближенного ко двору сановника оказывается решающим. Перед царем он держится подобострастно, тогда как Левшу, по его собственным словам, «за волосы... драл», а когда англичанин просит заступничества за Левшу, Платов наотрез отказывается. Лесков понимает, что народу не на кого надеяться, кроме как на самого себя. В ответственные моменты даже лучшие из придворных забывают о простом человеке, помня о своей выгоде.

Левша, по сути, остается единственным носителем подлинно патриотического чувства. Именно он воплощает национальный характер. И тут обнаруживается, что посрамленные Платовым англичане лучше понимают русского мастерового человека, чем отечественные господа. Англичане сразу же сообразили, что Левша — первоклассный мастер. Они стараются ему всячески угодить и не скупятся на угощение: «Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие». В Англии Левша окружен почетом, ему предлагают остаться и сулят всевозможные блага. И еще дивятся англичане, как же при полной необразованности Левша достиг изумительного искусства в ремесле. На первый взгляд, подковав блоху, Левша снова одержал верх над англичанами. Однако это не совсем так. Работа тульских мастеров действительно оказалась тоньше, но в ней есть свой изъян: блоха перестала танцевать. Но посрамлен не Левша, а российский правопорядок. Сатира Лескова тут очевидна. Когда англичане спрашивают мастера, где и чему он учился, то он отвечает: «Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, а арифметики мы нисколько не знаем». О Полусоннике он отзывается так: «Это,— говорит,— книга, к тому отно-

сящая, что если в Псалтыре что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение». Ирония Лескова направлена на власть, которая держит народ в невежестве. Англичане резонно говорят: «Это жалко, лучше бы, если бы вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует». Мысль Лескова ясна: природная талантливость русского народа бесспорна, но одной талантливости мало — нужны условия для ее расцвета, всякий дар нуждается в знаниях, в просвещении. Лесков отвергает наитие, озарение, будто бы заменяющее образованность. Темнота и невежество, как в случае с подкованной блохой, не только вызывают удивление, но и вредят делу. Ведь Левша, не учтя «расчет силы», испортил игрушку. Англичане сразу же оценили талант Левши (на ученого курьера они не обратили никакого внимания) и одновременно пожалели о его неучености. И далее сравнение Англии с Россией продолжается уже не в пользу России. Левша рассказывает о «боготворных иконах», о «гроботочивых главах», о «мощах», наивно хвастаясь православной верой. Англичане же ведут его на фабрики и заводы, и «все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания»: «Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица (таблица.— В. К.) умножения, а под рукою стирабельная досочка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и в аккурат сводит: что на цыфриях написано, то и на деле выходит». Наконец, отправляют англичане Левшу в Петербург совсем иначе, чем Николай: «...Напитали, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое одеяло с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли Левшу на корабль, как настоящего барина...» К царю Платов привез Левшу совсем в ином виде: «...В опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван...» Но Левша нигде «не конфузится», потому что он — мастер, и на нем земля держится. Оказывается, англичане не такие уж хитрецы и скупцы. Они ценят человеческий талант и воздают

ему должное, а коли видят, что деньги растрачивают попусту, вроде Александра, то не упускают случая этим воспользоваться. Не в пример Александру они бережливы, но не безрассудны, подобно Николаю, отправившему Левшу голодного в далекое путешествие. Конечно, они могут быть и спесивы, восхваляя не в меру свои изделия, но только тогда, когда их на это провоцирует сам царь, в глупости которого они убеждены.

Подлинными патриотами в «сказе» выступают Левша и его товарищи. Они, как и подобает настоящим мастерам, подходят к делу серьезно и рассудительно. В них нет ни преклонения перед англичанами, ни умаления их достоинств — «...аглицкая нация, — отвечают они Платову, — тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим смыслом. Против же, — говорят, — надо взяться подумавши и с божьим благословением». Так, в противовес Александру и Николаю тульские мастера вступаются за честь нации. Однако, исторически являясь вершителями судеб страны, они в ней беззащитны. Народную Россию губят вековая отсталость, порожденная обстоятельствами, и бесправие простого человека. Левша, не захотевший, несмотря на уговоры и посулы, остаться в Англии, с неотступной грустью всматривавшийся в ту сторону моря, где лежала его родина, в отчизне сразу попадает в полицейскую часть. Не оказав никакой помощи больному, его обирают и отправляют валяться в больничном коридоре, где он и умирает. Печется же о Левше только англичанин, сказавший Клейнмихелю: «Разве так можно! У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина». Жизнь талантливого человека в России, по мысли писателя, трагична и никому не нужна. Но Лесков не теряет веры в народный характер, в его жизнестойкость, гуманные и нравственные принципы. В «сказе» он воплотил эпический образ даровитого мастера, живущего в сознании народа. Мысль Лескова обрела сказовую форму. Писатель даже нарочно искажал слова на народный лад, воспроизводя устный говор простых людей или подделываясь под него. В «Левше», например, помимо «долбицы умножения», встречаются: «двухсестную» вместо «двухместную», «мерблюзьи» («верблужьи»), «безрассудок» (от слов «безрассудно» и «предрассудок»), «нимфозория» («инфузория»), «преламут» («перламутр») и др. Завершая повествование о Левше, он писал: «Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою». Писатель стремился к тому, чтобы дорогие для него мысли и убеждения как бы исходили из народного сердца. Поэтому он столь широко ввел фольклорные мотивы, а весь сказ вырос из пословицы «Туляки блоху подковали».

Не менее богата фольклорными образами и ранее написанная повесть Лескова «Очарованный странник», герой которой,

Иван Северьяныч Флягин, представлен сказочным богатырем. Он выдержал выпавшие на его долю испытания и сохранил гуманные чувства, доброту души, влюбленность в жизнь.

Как и у Тургенева в «Записках охотника», рассказчик не находится с героем повести в каких-либо социально-причинных отношениях. Он пассажир и вместе с другими путешествует. Это позволяет внести в повесть объективный тон и придать ей очерковость. Однако история Ивана Северьяновича рассказывается им самим, а рассказчик воспроизводит ее. Так Лесков сочетает эпическую и почти документальную манеру с пристрастным освещением событий. Уже Тургенев изобразил мужика своеобразным философом, и Лесков живо воспринимает эту традицию.

На пароходе завязывается философский разговор о политических заключенных и самоубийстве. Лесков иронически освещает размышления участников до тех пор, пока не вступает в беседу неизвестное лицо. Попытки осмыслить самоубийство «теоретически» не кажутся писателю убедительными. А неизвестный сразу же привлек внимание рассказчика. Самый портрет незнакомца, его богатырский вид создают образ незаурядного человека с сильным характером. «Это был человек,— пишет Лесков,— огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь... Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого». «Но при всем этом,— продолжает Лесков,— добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою».

Иван Северьяныч тоже любит рассуждать. По мысли Лескова, русский человек — прирожденный философ, но его философия жизненная, а не отвлеченная. Абстрактных прений он не терпит, потому что они обычно далеки от истины. Вступающие с ним в спор пассажиры то и дело попадают впросак. Правду знает лишь «бывалый» человек. Его философия «нутряная», и ее нельзя отделить от тех историй, которые он рассказывает.

В отличие от «Сказа о косом тульском Левше и о стальной блохе» Лесков в повести «Очарованный странник» не сатиричен и не трагичен, но у Ивана Северьяныча, подобно Аркадию из «Тупейного художника», Левше и другим героям писателя,

есть свой талант, природный дар — он «конэсер», знаток лошадей. И это играет существенную роль в самых безвыходных ситуациях. Обычно в повествовании Лескова на первый план выдвигается яркая, одаренная личность, которая символизирует национальный характер. Иван Северьянович обладает, подобно сказочным и былинным богатырям, неумной жизненной мощью. Он ничего не боится и даже готов подвергать — и подвергает — себя опасностям. Ему присуще молодечество, буйство, озорство, и он хочет испытать себя, попробовать свою силу, пока еще слепую и не находящую выхода. По мысли писателя, русский человек наделен неизмеримой жизненной активностью, которая бьет через край, и остановить ее нельзя. Достигая беспредельности, она вырывается наружу и может наделать множество бед. Герой словно бы не волен в поступках. Но таким он предстает лишь в отдельные моменты своей жизни. Повествование о нем состоит из цепи ярких эпизодов, историй, где характер проявляется в напряженных ситуациях, а герой находится в психологических состояниях безудержного гнева или страстной любви. Между этими вспышками Иван Северьяныч выглядит даже несколько расслабленным, вялым, медлительным и ленивым человеком. В критической литературе замечено, что «контраст энергии и вялости... далеко не случаен. Таящаяся в герое и не сразу обнаруживающаяся необоримая сила как бы олицетворяет собой, по мысли писателя, огромные потенциальные силы русского народа, которые в обычное время не дают знать о себе, но в критическую для судьбы отечества минуту проявляются в полной мере. В них секрет могущества России». Не последнюю роль тут играет и то, что Иван Северьяныч совершает поступки, руководствуясь не разумом, а эмоциями, неясными для него душевными движениями и, подобно героям сказок, побеждает своих противников или соперников хитростью, сметкой, лукавством. Эту его импульсивность чувствуют окружающие его люди. Он все воспринимает инстинктом, но инстинкт у него отнюдь не мистический, а вполне земной. Герой чует природу, ему открыта сокровенная жизнь животных (недаром он легко проникает в «души» лошадей), его сердцу внятна любовь. Он отдается своим эмоциям безоглядно и безудержно доверяет им. И надо сказать, что богатая эмоциональная сфера не подводит героя, а помогает ему выбирать верный, хотя и далеко не простой путь. Более того, по мысли Лескова, самая беспредельность жизненной силы свидетельствует об исконном и стихийном вольнолюбии русского человека. Флягин не терпит принуждения. В «Грозе» Катерина говорит Варваре: «Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку и

отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!» Сходный эпизод есть и у Лескова. Иван Северьяныч убежал из дому и стал странником, когда его оскорбили и ущемили его человеческое достоинство. Мотив странничества тоже, конечно, сказочный: былинные богатыри и герои сказок постоянно в дороге то ли за кладом, то ли за ворогом, то ли за невестой. Они ищут свою судьбу. Так и Иван Северьянович. Его скитания, поданные писателем словно бы случайными, разрозненными, на самом деле полны смысла. С безбрежной душой героя согласуются ширь и бескрайность просторов родной земли. Артистическое начало живет в нем: он любит природу, чувствует красоту. Оно постепенно углубляется, срастаясь с душевной отзывчивостью и состраданием к чужому горю. Герой способен к духовному развитию, и его переполняет чувство самопожертвования. Его проникает мысль о собственной вине, терзающей его, и он видит свою цель в том, чтобы пострадать за других. Он идет в солдаты вместо сына двух старичков, а в монастыре его не оставляет жажда жертвенности («...мне за народ очень помереть хочется»). Наконец, он очарован поэтической мечтой о лучшем будущем своей страны и своего народа. На этой-то почве укрепляются его гуманные представления, и он не отъединяет себя от людей, а, наоборот, движется к ним. Конечно, Иван Северьянович терпит поражения, его порой тяготит душевная усталость, но он выносит соблазны, жестокость, наваждения. Пройдя через горнило жизни, он не теряет стойкости, мужества, вольнолюбия. Он не может понять, почему так суровы и горьки обстоятельства, почему они безжалостно давят его, но все-таки он не сгибается, а одолевает их. В нем жив дух подвижничества, святого беспокойства. Фольклорные мотивы помогают Лескову прояснить суть национального характера и провести идею о самостоятельном духовном росте простого человека и народа в целом, независимо от всяких головных, навязанных народу сверху и чуждых ему «теорий».

Мечтой об идеале живут и тургеневские крестьяне, и Катерина Островского. Поэтому не случайны сказочные мотивы и в этих произведениях.

Примечательно, что писатели, в частности Островский и Лесков, возлагают надежды на стихийные чувства, на душевный порыв. Если, однако, Иван Северьяныч Флягин выдерживает испытания и находит путь к новой для него правде, то судьба Катерины трагична. Катерине, как и Ивану Северьянычу, свойственно чувство жгучей вины, но Иван Северьяныч видит за грехом власть обстоятельств, а Катерина не принимает в расчет внешние условия. Она как бы отметаает их, возлагая всю ответственность на себя. Ничто не может ее спасти, раз уж она совершила тяжкий грех. Ее положение безысходно. Островский

создал сильный и самоотверженный образ человека, ценою собственной гибели утверждающего вольнолюбие и бросившего дерзкий вызов закоснелому быту. Именно в этом стихийном чувстве свободы обнаруживается глубокое родство между Лесковым и Островским в освещении национального характера. Однако Островский, как и Тургенев в «Записках охотника», признает «темное царство» не только живучим, но пока еще непобедимым. Лесков же, напротив, сосредоточивает внимание на деятельном, энергичном, созидательном характере героя.

В отличие от Лескова Тургенев и Островский при всем их скептическом отношении к «теориям» отдают им должное и не проходят мимо их носителей, новых героев времени. Но, как правило, такие персонажи обречены на поражение или смерть. Базаров погибает потому, что «стоит еще в преддверии будущего» как «сознательно-героическая натура». Не последнюю роль тут играет теоретический характер его воззрений, вступающих в противоречие с непосредственными движениями души. Базаров выдвинут русской действительностью на определенном историческом этапе, и в этом смысле он близок народу, вырос из него. Но одновременно он и далек от него, потому что свои «головные» представления налагает на развитие народной жизни, полагая, что оно именно таково, как ему представляется. На самом же деле оно остается для него неясным. Всякие попытки «сверху» преобразовать действительность, заключить ее в узкое русло оказываются несостоятельными.

Сила Базарова в его отрицании устоев российского правопорядка и всякого рода прежних, опять-таки «теоретических» взглядов на народ. Тут Базаров идет в ногу со временем и с коренными устремлениями народа, хотя бы сам народ этого еще не осознавал. Базаров страстно и убежденно отрицает все установления, ведущие к порабощению народа и сковывающие его самостоятельное развитие. На этой почве его победа над Павлом Петровичем очевидна, как бесспорно превосходство над рядящимися в «нигилистов» Кукшиной и Ситниковым, над мягкотелостью Аркадия Кирсанова. Идеи Павла Петровича отжили свой век, и он сам превращается в мертвеца. «Да он и был мертвец», — замечает Тургенев. Как только воззрения Базарова приобретают отвлеченный, абстрактно-теоретический, «головной» характер, они сразу же становятся предметом критики писателя, и Базаров обнаруживает духовную ущербность. Порывы души (любовь к Одинцовой, например) вступают в противоречие с разрушительным «учением» переделки общества. Вместе с несправедливым порядком Базаров отрицает и духовную жизнь народа. Для Тургенева такими безусловными знаками духовного творчества выступают любовь, искусство, чувство природы. Базаров дает

всему этому утилитарное толкование, любовь — лишь физическое влечение, искусство — пустое развлечение праздных и привилегированных слоев общества, природа — среда обитания, необходимая для жизнедеятельности организма («мастерская»). Для Базарова закрыта «польза» «духовная», закрыт мир непосредственных эмоций. Он предельно логизирует жизнь, «умствует». Он «ухватил» лишь одну тенденцию, лишь одну сторону исторического процесса, нащупав верную, но лишь наполовину верную идею и вследствие этого недостаточную и искажающую действительную картину народной жизни. Между тем вспыхнувшее чувство Базарова к Одинцовой или сдержанность трогательных эмоций при прощании с Аркадием подчеркивает неотменимость духовных, и притом идеальных, проявлений, вопреки суровым узам, добровольно налагаемым героем на свой богатый внутренний мир. Родительское чувство стариков Базаровых, тихая материнская любовь Фенечки да и сыновняя привязанность самого героя к отцу и матери — не сентиментальные миражи, а естественные и глубокие душевные движения. Базаров, словно бы в противовес своим теоретически прокламируемым взглядам, неожиданно влюбляется. И писатель этим возвышает своего героя, одновременно давая почувствовать пагубную односторонность его понимания русской жизни. В том, что Базаров не может победить стихийно-природных влечений, Тургенев усматривает высшую правду и действительную ценность натуры нового человека — разночинца, но как раз эти влечения не вмещаются в базаровскую «концепцию». Следовательно, полнота жизни сознанию Базарова недоступна: за рамками его осмысления оказалось слишком много ценностей. Любовь Базарова гораздо серьезнее и глубже неестественно экзальтированной страсти Павла Петровича. Но отдаться своему чувству Базаров не может. Он только напоследок просит, чтобы известили Одинцову о его болезни. Рационализм оказывается, по мысли Тургенева, не столько сильной, сколько слабой стороной натуры Базарова. Тот же рационализм дает себя знать и в отношении к народу. Герой готов на самопожертвование ради мужика и в его интересах. Отсюда проистекает сознательный героизм базаровского типа. Однако между Базаровым и мужиком сохраняется еще порядочное расстояние. Народ воспринимает Базарова отчужденно потому, что отрицательное мировоззрение героя присуще именно «барину», желающему пусть искренно, но все же «сверху» преобразовать мужицкую жизнь. Ряд эпизодов, введенных Тургеневым, с предельной яркостью раскрывают пропасть между героем и народом. Без сомнения, нигилизм Базарова — необходимая ступень в историческом развитии общества, и с этой точки зрения он отвечал коренным потребностям русской жизни. В нем заключался положительный смысл. Трагедия Базарова в том,

что народ о великом значении разрушения не имел понятия. Однако причина видится Тургеневу не только в непробужденности народного сознания. Вот Базаров едет на дуэль с Павлом Петровичем и встречает мужика, который «гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно...». Мужик, как понимает Базаров, рано встал «за делом», а Базаров — ради пустой барской комедии. Станный взгляд мужика сразу же обнаруживает меру не только дуэльных волнений героя и его поступка, но и в целом освещает его искания. Как бы ни хотел того Базаров, он в своих построениях остается чуждым мужику, его нравственным представлениям и образу жизни. В другой сцене Тургенев рисует Базарова среди крестьян: «Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну,— говорил он ему,— излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории,— вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы можем... тоже, потому, значит... какой положон у нас, примерно, придел». — «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебил его Базаров,— и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»»

Неестественной шутливостью речи Базаров сразу же ставит себя выше мужика и ждет «будущности России» не от него, а от таких, как он сам. Здесь сказался и пессимистический, в противоположность Островскому и в особенности Лескову, взгляд Тургенева на историческое развитие России, полагавшего, что сознание народа пребывает детски непросвещенным и еще долго будет таким. Однако явственно звучит и другой мотив. Весь диалог с мужиком подчеркивает избранность натуры героя, его одиночество, оторванность от русской почвы именно вследствие того, что он надеется на новое слово и новые законы, которые словно снизойдут свыше (отсюда ироническое обращение к мужику) и помогут перестроить судьбу страны. Мужик же в «теории» не верит, считая их барскими затеями. Расспросы Базарова он оценивает как болтовню — «язык почесать захотелось». Сам же герой, пишет Тургенев, в глазах мужиков «был все-таки чем-то вроде шута горохового...».

Самоуверенность Базарова — предупреждение всему молодому поколению. Тургенев закончил роман примиряющей и утешающей нотой: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» Мысль «о жизни бесконеч-

ной», венчающая роман, противостоит узкому умозрению, не вмещающему в свои берега ее сложность и богатство подспудной и стихийной исторической мощи народа.

При всем этом Тургенев, как и Островский, а впоследствии и Лесков, стоял, конечно, за просвещение народа и понимал его значение в жизни России. Непробужденность мужика оценивалась им отрицательно: она сдерживала прогресс. Однако решающее значение писатель придавал не теориям, а самостоятельному житнетворчеству народа. Если для Лескова народ чужд всяким «головным» принципам, почитаемым упражнениями праздного ума, то Тургенев вовсе не считает их чуждыми народу. Лесков заботился о реальной грамоте, о реальном образовании. В «Левше» он сетует на то, что тульским мастерам неизвестны четыре правила арифметики, иначе говоря, полезные в их труде знания. Национально-самобытное же общественное сознание, по Лескову, формируется в народе без всякой помощи со стороны образованных, интеллигентных слоев. Тургенев думал иначе, шире и глубже, полагая, что народ нуждается не в одной лишь грамоте, а и в высоком общественном миросозерцании, которое осветило бы смыслом действительные и коренные интересы мужика. Появление Базарова на русской почве закономерно и симптоматично хотя бы уже тем, что «нигилист» вышел из народной среды. Не вина, а беда Базарова, что он появился «рано, до звезды», когда народ еще не разбужен. Не вина, а беда Базарова, что он может предложить народу только разрушительную программу. Не вина, а беда Базарова, что ему не открылась сложность народной жизни, ее созидательная мощь. Выдвигая Базарова из своей среды, народ, по убеждению Тургенева, выражает тем самым объективную потребность осознать себя и свои чаяния в философско-социальной форме.

Д. И. Писарев в статье «Мотивы русской драмы», споря с Добролюбовым по поводу Катерины из «Грозы», противопоставил ей Базарова. Настойчивое сопоставление Катерины с Базаровым у Писарева вполне объяснимо. Русская критика видела в Катерине и Базарове, при всей кажущейся странности подобного сопоставления, преемственную связь между положительными героями русской литературы на разных этапах освободительного движения. Добролюбов осмыслил протест Катерины как предвестие стихийного и непосредственного возмущения народа. Но революции тогда не произошло. Новое поколение в лице Писарева попыталось заново понять Катерину и пьесу Островского в целом. В ходе анализа Писарев усомнился в том, что героиня Островского символизирует конец векового терпения, и провозгласил героем времени Базарова. Спор Писарева с Базаровым затрагивает существо процессов, происходивших в русской жизни и в русской литературе.

Катерина готова идти на гибель, на самопожертвование, лишь бы освободиться от гнетущих ее условий. Но сознание Катерины не просвещено, а ее протест стихийен. Вместе с тем сама эта стихийность необычайно значима, ибо свидетельствовала о живущем в народе исконном вольнолюбии. Базаров тоже исполнен решимости принести себя в жертву народу. Он и умирает, заразившись при вскрытии тела тифозного мужика. Но тургеневский герой, в отличие от Катерины, уже «сознательно-героическая натура». В нем, несмотря на его колебания («Я нужен России... Нет, видно, не нужен»), воплотилось новое состояние общественной мысли. Тургенев отразил появление разночинца, убеждения которого носят далеко не стихийный характер. Базаров знаменует новый этап общественного движения в России. Не случайно Д. И. Писарев, не увидевший в Катерине «луча света в темном царстве» («Мотивы русской драмы»), воздал хвалу Базарову. Для Писарева подлинным светом было просвещение, образование, наука. Катерина такого «света» не несла. Базаров без него немыслим. Но оценка Писарева была бы куда более объективной, если бы критик не ограничил свое понимание народного характера только сознательным элементом в нем и, признав Базарова, отдал бы дань и Катерине Островского, ибо идеи Базарова в освещении Тургенева не противоречат стихийному порыву. Размахистское, максималистское отрицание Базарова сродни столь же бескомпромиссному освободительному и освежающему чувству Катерины. В двух этих образах русская литература запечатлела разные ступени общественно-исторического движения в России.

Героические натуры, ставшие предметом художественного внимания Тургенева, Островского и Лескова, рождались, жили и погибали в невыносимо тягостных условиях. С огромным трудом выбирался народ из вековой отсталости, сдерживавшей его духовные силы. Мрачная глухомань крепостнического рабства, застойное болото провинции, не озаренное никаким светом «высшего огня», рост эгоистически корыстных наклонностей — все это были подлинные причины отупения многих и многих слоев нации. Естественно, что в таком нравственном климате вызревали не одни только герои. Параллельно шел и другой процесс — душевного оскудения, психологической ущербности, потери человеческого лица. Существующий уклад вызывал не одно лишь сопротивление ему, но приспособление и даже преступление. Он развращал людей, и на свет появлялись моральные уроды, несущие в себе самые темные, низменные инстинкты.

В «Грозе» Островского калиновский мир нарочито гиперболичен. Здесь царит самодур Дикой с его грубой силой, ханжа Кабаниха, изводящая домашних ветхозаветной моралью, странница Феклуша с ее чудовищными небылицами. Нравственно

затхлый мир в «Лесе», где нет места чистым и естественным родственным или дружеским привязанностям, а существует лишь голый чистоган. Пагубная природа антигуманного социального порядка выступает во всей неприглядности, когда писатели изображают любовь своих героев.

Есть у Тургенева в «Записках охотника» рассказ «Свидание». В нем повествуется о том, как встретились в лесу Виктор Александрыч, камердинер молодого барина, и Акулина, крепостная девушка, влюбленная в него. Тургенев не скрывает негодования, невольно оказавшись свидетелем сцены, во время которой Виктор Александрыч, тоже крепостной, но перенявший барскую пренебрежительность и усвоивший повадки наглого ухажера, измывается над бедной Акулиной, топчет, не стесняясь, ее бесхитростную и преданную любовь.

Не менее разрушающа она и для героини Лескова Катерины Львовны Измайловой из очерка «Леди Макбет Мценского уезда». Шекспировские разрушительные страсти Лесков подсмотрел в русской провинции. В очерке тот же тусклый купеческий быт, что и в пьесе Островского. Катерина Измайлова вышла замуж «не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная и перебирать женихами ей не приходилось». Лесков несколькими штрихами рисует девическую жизнь Катерины, и эта жизнь обнаруживает большое сходство с Катериной у Островского, которая в доме у маменьки не была стеснена. Так и Катерина Измайлова. Она тоже «привыкла к простоте и свободе»: «Пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою...» В доме мужа ее душит, как и Катерину Кабанову, беспросветная скука. Но судьба героинь Островского и Лескова складывается по-разному. Катерина у Островского, полюбив Бориса, посчитала себя виновной, и ее чистая душа не могла вынести греха. В отличие от героини «Грозы», Катерина Измайлова ради своей любви идет к гибели через преступления. Как в тургеневском рассказе «Свидание», в очерке Лескова появляется страшный искуситель, молодой, статный и крепкий Сергей. И хотя он приказчик, а не камердинер барина, повадки и ухватки у него завязанного провинциального любовника, бесчестного и наглого. Причины духовного падения Катерины Измайловой, по мысли Лескова, коренятся в окружающей ее скуке. Героиня жаждет полноты чувства, а ее одолевает безысходная и ноющая тоска. Сергей представляется ей яркой, значительной личностью. Слепо предавшись любимому человеку, героиня готова, угождая, преступить нравственные границы. Постепенно, однако, светлое начало обернулось темным: любовь закалила Катерину Львовну, и она уже не может владеть собой. Для

Лескова, как и для других писателей, продолжавших традиции «натуральной школы», застойный купеческий провинциальный быт оказывается благоприятной питательной средой для произрастания пагубных страстей, ибо он оупляет человека духовно, ослепляет его сознание, погружает в дремоту разум. Самая любовь из высокого и чистого чувства вырастает в безудержную, ничем не контролируемую страсть и в таком своем качестве не отличается от влечений животных. Катерина Измайлова незаметно для себя начинает жить уже не столько любовью к Сергею, сколько ревностью и боязнью потерять его. Любовь для нее уже неотделима от злобы и мести, злобы ко всем, кто стоит на ее пути, и мести за предполагаемые и действительные измены Сергея.

Очерк Лескова построен таким образом, что чувство Катерины неуклонно лишается духовности, становясь жутким и страшным. Апогей переживаний героини вмещает уже любовь и ненависть, любовь и месть. Любовь же Сергея предстает притворной, расчетливой, изначально рассудочной и, наоборот, убывает. В конце концов приказчик издевается над своей жертвой.

Сложность позиции Лескова заключается в том, что страсть в его произведении не целиком мотивируется средой. В купеческой семье Катерина Львовна как будто не обрела собственных чувств. Ими всецело наделен Сергей. Но героиня не остается чуждой своекорыстию и эгоистической морали. Она впитывает и усваивает влияние Сергея. Она лишена способности сопротивления. Поначалу, однако, Сергей воздействует на ее ревность, играет на физическом отвращении к мужу, и лишь через некоторое время вступают в силу безжалостные законы стяжательства. Подталкивая Катерину Львовну к убийству больного Феди Лямина, приказчик маскирует истинный смысл своих речей: «Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили,— отвечал Сергей Филипыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти». Злодеяния, рисуемые Лесковым, неотвратимо следуют друг за другом. Убийство Феди и становится переломным моментом в судьбе Катерины Львовны. С этого времени меняется отношение писателя к героине, которая вскоре, оказавшись обманутой, испытывает и подлинные страдания. Но Лесков отказывает Катерине Измайловой в искуплении грехов и нравственном очищении, хотя и видит ее стойкость, ее мужество, с каким она переносит муки ревности. Писатель сливает воедино в ее характере резко и обнаженно противоречивые черты. По своим душевным задаткам героиня сильная и незаурядная натура, но обезумевшая от любви, поглощенная своим чувством и сосредоточен-

ная исключительно на себялюбивом интересе. Ее самопожертвование лишено альтруизма. В страшной истории Катерины Измайловой нет возвышающего героиню раскаяния или постижения чудовищности своих преступлений. Напротив, Лесков вводит такие детали, которые воссоздают необратимость перелома, совершившегося в душе Катерины Львовны: она хочет «припомнить молитву и шевелит губами», но «губы ее шепчут» о любовном разгуле и преступлениях. Наконец, и самый вид героини зловещ: «Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким». От нравственного отупения к дикости и животным инстинктам — таков трагический смысл очерка Лескова. Греховная любовь Катерины Измайловой оказалась иной, нежели у Катерины Кабановой. В человеческом характере, по мысли Лескова, заложены неизведанные и до конца не познаваемые глубины.

Для Лескова содержание личности обусловлено также внутренними качествами личности, ее моральным потенциалом. Действительность сложна, многообразна, и важно, какие ее стороны человек принимает, а какие отбрасывает. А это уже зависит и от внешних условий, и от духовного богатства самого человека.

Если у Тургенева и Лескова в центре стоит яркая и значительная личность, то в последних пьесах Островского, в частности в «Бесприданнице», нет героев в общепринятом смысле слова. Лариса — героиня психологической драмы лишь постольку, поскольку действие сосредоточено вокруг нее. Но по своему характеру она лишена цельности. У Катерины конфликт между нравственной чистотой и грешной любовью — итог ее противостояния калиновскому быту. У Ларисы спор стихийного порыва к светлой простой жизни и ложных, собственнических представлений о ней происходит с первого ее появления в пьесе. В этом отношении она противоположна и Катерине Измайловой, неуклонно катящейся вниз по нравственной лестнице. Поскольку же в Ларисе нет цельности, то на первый план выступает не смертельная борьба ее с окружающим буржуазным миром, а внутренняя коллизия, психологически отражающая внешние препятствия и соблазны. В пьесе устранено одно из самых главных начал трагедии — неразрешимый поединок между героем и его окружением. В отличие от Лескова, который отказал Катерине Измайловой в очищении и просветлении души, Островский в последней сцене внес момент духовного прозрения, и именно благодаря ему драма и воспринимается с трагическим оттенком. Но у Лескова крайне существенен мотив жертвенности, тогда как у Островского он отсутствует: Лариса не жертвует собой сознательно, а лишь в последнюю минуту принимает вину на себя.

«Безгеройность» последних пьес Островского, как отмечено

в критике, художественно значима. Драматург — и тут он солидарен с Тургеневым и Лесковым — не видел героев в буржуазной действительности вследствие бесцветности, пошлости, духовной пустоты и человеческой незначительности типов, ею порождаемых. В «Бесприданнице» торг, купля-продажа Ларисы совершается открыто. Кнуров и Вожеватов просто разыгрывают ее в орлянку. Паратов продает себя и не скрывает это от других. Не стесняясь, торгует красотой дочерей Огудалова. Мир поделился на покупателей и продавцов, и в денежные отношения втягиваются так или иначе все персонажи, у кого есть товар или средства. В принципе все превращено в «вещь», срываются покровы с любых чувств. Даже те персонажи, которые не предлагают денег, торгуют имеющимися у них «достоинствами». Паратов — неотразимостью своей красоты и имитацией любовной страсти, Робинзон — шутовством, Карандышев — честью. В этих условиях мечта Ларисы о покое, тихом семейном счастье и своем домике не более чем иллюзия. Однако Лариса страстная натура, жаждущая любви. Она мечется между любовью, сопряженной в ее представлениях с «красивой» и роскошной жизнью, и безлюбовным супружеством. В Ларисе человечность спорит с ложными, извращенными нравственными понятиями. Героиня не в силах ни сдержать обещания, данного Карандышеву, ни удержать себя от страсти к Паратову. Разочарование в Карандышеве сменяется разочарованием в Паратове. Все мечты и надежды Ларисы развеиваются одна за другой. Она обречена, и эта обреченность мотивирована как извне, так и изнутри. Слабость Ларисы в том, что в ней не угасло стремление к чистоте, которому нет места на бесстыдном и безжалостном аукционе. Лариса, как и Паратов, «человек-товар», только Паратов это свое предназначение принял и сжег за собой все нравственные мосты. При случае он может даже стать на время «покупателем» и увозит Ларису на пикник в качестве цыганки, хотя она и не подозревает об уготованной ей роли. Лариса же «товаром» себя не считает. Между тем не только для Кнурова и Вожеватова, но и для Паратова и Карандышева она не более, чем красивая и импозантная «вещь». Паратов покупает Ларису страстью, красотой, искусно разыгрывая широкой души человека. Карандышев — мнимым благородством, духовно необеспеченной честностью. Он знает, что Лариса его не любит, однако идет на сделку в предвкушении будущих выгод: красавица жена, образованная, музыкальная, с хорошими манерами и приятным голосом — вход в такой социальный слой, куда самому Карандышеву нет доступа. Он жалок и мелок в своих претензиях, завистлив и переполнен амбицией. Его одолевают тщетные потуги встать вровень с Кнуровым, Вожеватовым, Паратовым, то есть влезть, втиснуться в мир, который его

постоянно унижает. Когда он узнает о пикнике, он видит в Ларисе причину крушения своих надежд. В сознании Ларисы низвергается с недостигаемого пьедестала Паратов, а в сознании Карандышева — мечты о будущем, олицетворенные в Ларисе. Выстрел Карандышева разрешил психологическую драму Ларисы. В своих предсмертных словах о жизни и любви она возвышается над прежним бездуховным бытием.

Островский дарует Ларисе очищение и просветление. Драматург заканчивает пьесу коротким монологом человека, для которого лишь в предсмертную минуту открылись истинные ценности жизни. В финале драмы торжествует светлое чувство, льющееся на всех людей.

Поиски положительных жизненных ценностей Островский еще раньше находил в особой среде вольных и бродячих актеров, которая непосредственно не связана ни с дворянским, ни с буржуазным строем. Конечно, актеры не отделены глухой стеной от окружающего, но их соприкосновение с ним особое, выходящее за рамки обычных отношений.

Название комедии «Лес» у Островского глубоко символично. Одно из значений слова «лес» — темная нравственная глушь. Персонажи пьесы, какие бы наряды они ни напяливали на себя, остаются морально неполноценными людьми. В основе комедийного конфликта лежит любовная интрига: Гурмыжская воспылала страстью к недоучке Буланову, Аксюша и Петр любят друг друга. Но обе пары встречают препятствия. У Аксюши нет денег, а отец Петра не хочет женить сына без приданого. Гурмыжской нужно скрыть неблаговидную страсть к Буланову, который намного моложе ее. Так действие пьесы объединяется торгом: Гурмыжская лес продает, Восьмибратов его покупает. Странствующие артисты Счастливцев и Несчастливцев вносят новый мотив — бескорыстия, преданности искусству, но крайняя нужда заставляет Несчастливцева искать родственной помощи у Гурмыжской. Тема доброжелательства сочетается с темой денег, стяжательства. Собственно, отношение к деньгам и позволяет Островскому выявить истинную меру человечности.

Помещица Гурмыжская принимает облик заботливой, набожной и благостной вдовы, будто бы щедрой и добродетельной. Но истинная ее сущность — похотливость избалованной барыни. Чтобы предаться страсти, ей нужны деньги: на них она покупает Буланова. Без капитала он не станет ее любовником. В фамилии Буланова есть что-то «лошадиное», и это связано как с ролью жеребчика, которую он играет, так и с «малоумием». Как и Лесков, Островский наделяет героя бездуховностью и сравнивает с животным. Но есть у Буланова и кое-что особенное, специфичное. Он «недоучившийся гимназист». Иначе говоря, он прикоснулся к просвещению, но так и не постиг науки. Он

схватил внешнюю сторону, подобно Виктору Александрычу из тургеневского «Свидания», который отошел и от крестьянского труда и не дошел до барина. Писатели внимательно вглядываются в средний слой людей. Таков же в сущности и Сергей в «Леди Макбет Мценского уезда» — приказчик, оставивший крестьянскую работу и еще не ставший купцом. У таких людей одно желание — перепрыгнуть в новый, более высокий ряд. Их социальное положение шатко, неопределенно, и они жаждут стабильности. Поэтому именно их психология подвержена коренным переломам. Они лишены твердой социальной почвы. Гурмыжская при всей безнравственности остается помещицей, достаточно наивной в практических делах и весьма неумелой, но она чувствует свою власть. Восмибратов — хозяин нового пошиба, и его жизненные принципы, достаточно сложные и противоречивые, все-таки обладают постоянством. Внутренний мир Буланова еще только складывается. Его отношение к Гурмыжской меняется на глазах — из подобострастного и угодливого он превращается в самоуверенного и наглого, напоминая и Виктора Александрыча и Сергея Филипыча. Требования Буланова все растут. Его формирование далеко не закончилось: он достиг только первой ступеньки, но это для него не предел. Однако совершенно очевидно, куда направлены вождения Буланова: его вовсе не привлекает торная дорога «нигилистов».

Все персонажи комедии так или иначе причастны к любовным историям, но за страстями стоят материальные интересы.

Каждый персонаж у Островского обусловлен сформировавшимися его условиями и в то же время попадает в сферу новых отношений. Гурмыжская испытывает воздействие буржуазного века и не очень-то умеет к нему приспособиться. Восмибратов еще недавно был крестьянином, мужиком, а теперь быстро освоил роль купца. Несчастливцев по рождению из помещиков, но порвал со своей средой, став актером. Бедная родственница Гурмыжской Аксюша вот-вот станет купчихой. Русская жизнь чревата переменами, и они налагают печать на душевный строй персонажей. Однако Островский четко выявляет некий стержень, обусловленный не только сегодняшним, но и вчерашним днем. Так, Улита объясняет себя: «И вспоминать-то смерть, так жизнь-то, не живя, и коротали. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают... у нас насчет любви большой запрет был. Ну, одно средство: к барыне подделываешься. Ползаешь, ползаешь перед барыней-то, то есть, хуже, кажется, всякой твари последней, ну, и выползаешь себе льготу маленькую; сердцу-то своему отвагу и дашь. Потому ведь оно живое, тоже своего требует. Уж и как эта крепость людей уродует!» Людей в данном случае означает и крепостных, и помещиков. Извращены и искажены человеческие облики Улиты и Гурмыжской, обладавшей

почти неограниченной властью над душами. Но теперь право владеть и повелевать помещице приходится покупать. Восьмибратова уже не принудишь силой. Проект выдать бедную родственницу за Буланова, а затем сделать его своим любовником — проект крепостницы: в новых условиях он не годится. Тут нужны иные, бесстыдно-откровенные способы.

Трещит и разваливается дворянский мир, его психология и возникший на его основе патриархальный уклад и создается буржуазный, цинично эгоистический. Восьмибратов беззастенчиво обманывает Гурмыжскую и отказывает сыну в женитьбе на Аксюше не из-за прихоти или каприза, как, например, барыня в «Муму» Тургенева, а по денежным соображениям. Родительская тирания остается, но изменяет свое содержание.

На этом общем фоне, когда жизнь вышла из берегов и еще только укладывается, выделяются фигуры двух актеров, оторванных от какого-либо прочного уклада — помещичьего или купеческого. Им претит скучное, размеренное и устойчивое бытие. Оба его отвергают, избирая вольную жизнь. Но конечно, освободиться от общества не могут. В Несчастливцеве оживает тип благородного романтика. В Аркашке Счастливец — циник и бесшабашный, удалой скоморох, шут и забавник. У них разное отношение к жизни — серьезное и наивное у Несчастливцева, легкое и безжалостное у Аркашки. Оба порвали с породившей их социальной почвой — дворянин Несчастливцев покинул родовое гнездо, Счастливец сбежал от дяди-лавочника. И в этом заключена не только их слабость, ибо они занимают промежуточное положение между имущими и неимущими слоями нации, но и сила — они воплощают вольность, моральные принципы, непосредственно с тем или иным укладом не связанные, и потому получают возможность судить обитателей «Леса» со стороны, прилагая мерки, не вытекающие из сложившихся социальных отношений. И конечно, не случайно Островский ввел в пьесу актеров. Актер — знаток всемирного человеческого опыта. Сегодня он играет царя Эдипа, завтра — короля Лира, а вчера его видели в роли Чацкого. В лицах он раскрывает историю человечества от древности до современности, историю стран и народов, выступая проповедником гуманной нравственности.

Отсюда понятно, почему Несчастливцев окружен романтически театральным ореолом. Геннадий Несчастливцев судит Гурмыжскую с высоты общечеловеческих моральных законов, и именно он — носитель мировой культуры — совершает гуманный поступок, спасая человеческую душу. Он видит и в Аркашке, и в несчастной Аксюше своих братьев по человечеству, возвышаясь над социальным укладом русской жизни и оттеняя перед лицом вечных творений искусства временный характер господствующих отношений. Наконец, Островский прозревает

новое человеческое братство, залог которого — братство актеров, основанное не на корысти, а на чувствах истинной любви, бескрайнего душевного порыва, дружеской привязанности, открытости щедрых и чутких сердец и взаимопомощи. Даже Аркашку, «мерзавца», по его словам, Несчастливцев называет «братом» и «товарищем», не исключая мелкого воришку, готового напасть и позлобствовать, из будущего братского коллектива. Его благородный поступок естествен, а слова о быте актеров пронизаны мыслью о товариществе. И не только актер Несчастливцев способен на вспышку добра — им внезапно охвачен и Восьмибратов, когда он возвращает деньги Гурмыжской. Островский не исключает победы гуманности, и нравственная закоснелость персонажей «Леса» ни в коей мере не мыслится конечным итогом национального развития.

Мотивы искусства, образы актеров имеют для Островского не только сугубо профессиональное значение, но и несут философско-социальную нагрузку. Мечта о человеке-артисте, свойственная Тургеневу и Лескову, засверкала у Островского новой гранью. Артистическое дарование — символ расцвета человеческой души, артистическое братство — человеческое братство, вольное и бескорыстное общежитие, где чувства пылкие и чистые, веселые и радостные, где все пополам: и обиды, и горечь, и хлеб. Островский обобщает тему человека-артиста, громко прозвучавшую в произведениях Тургенева и Лескова, и придает ей новый смысл.

Национальный характер в представлении писателей далеко не исчерпал своих богатырских, духовных сил, и на будущее житнетворчество народа, освобожденного от стесняющих уз, они возлагали великие надежды, веря, что явится на Руси человек-артист.

Как бы ни были различны художественные дарования Тургенева, Островского и Лескова, в их творчестве торжествовал реалистический пафос. В их произведениях читателям открылись и суровые разночинцы, и углубленные в себя праведники и правдоискатели, и герои с обостренной и живой болью за человека, и одаренные, поистине богатырские натуры, которым было трудно развернуться в тогдашних условиях. В творчестве Тургенева, Лескова и Островского заблистал, заискрился русский язык — правильный, поэтичный у Тургенева, цветистый, эпический, мощный и порой намеренно стилизованный под простонародность у Лескова, узорчатый и чистый у Островского. Всем этим они приумножили славу национальной художественной культуры и раздвинули новые широкие горизонты последующим мастерам великого русского слова.

В. К о р о в и н

И.С.ТУРГЕНЕВ



Записки охотника

•

Отцы и дети

Роман

Текст печатается по изданию:

И. ТУРГЕНЕВ

Записки охотника. Накануне. Отцы и дети
(Библиотека всемирной литературы).
«Художественная литература», М., 1971



ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жизд-ринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину; торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих раkit, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губер-

нии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь¹ исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну*, заикался; называл свою собаку Астрономом, вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет,— прибавил он,— пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал,— отвечал парень, улыбаясь

¹ «Площадьями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов. Орловское наречие отличается вообще множеством своеобытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов. (Прим. автора.)

и показывая ряд белых, как снег, зубов.— Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки,— подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо,— да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася,— продолжал он, обращаясь к кучеру,— духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора,— сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик,— хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена,— заметил он, слезая,— а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич,— проговорил г-н Полутыкин,— а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте,— сказал мне Полутыкин,— это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать,— заметил мой новый приятель.— В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста,— спросил я Полутыкина за ужином,— отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему

покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший.— «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублей в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся.

Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г-н Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, иначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Все же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и на́-больший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыд-

ники!» — продолжал старик, передразнивая горничных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырем позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля несколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единоедушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь; например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился.

Например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приедем торговцам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом.

Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчелы отродясь не мёрли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми

проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь, чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирает щеку рукой, закрывает глаза и продолжает жаловаться на свою долю... Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избежать пахнущего».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

«А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю... На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямотушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысакom. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, стриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушенъем и соленъем. «Жена! — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. — Принеси господам

чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб—божий дар, и в 40-м году, во время общего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью внесли свой долг натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались... Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» — «Ну, чего же ты кричишь? — спокойно сказал Овсяников. — Поддай мне шапку и костыль...» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк¹ помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, — убьешься», — добродушно замечал ему Овсяников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудami лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну, вот видишь, — продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, — я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого роста, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.

Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четьи-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновению, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.

— А скажите-ка, Лука Петрович, правду, — сказал я между прочим, — ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вам, — возразил Овсяников, — спокойнее мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст.

¹ Б и т ю к а м и, или с битюка, — называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой). (Прим. автора.)

— А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.

— Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Переделется — авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.

— А чего бы, например?

— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, — да как вам своей земли не знать, — клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш, — весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье», — и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, — да и кому охота свое добро терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступить от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.

Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.

— А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски: «се бон», да облизнется — хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь — тотчас сам нагрет... И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет — и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой —

желтый с двумя трубами, а третий — синий без труб, и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе... И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму — генералы, а к младшему — всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здоровье моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» — и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю! — говорит, — и хоронить не позволю!..» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девоч своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать — голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девочек и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился... Так вот какие у нас соседуски бывали!

— Как времена-то изменились! — заметил я.

— Да, да, — подтвердил Овсяников. — Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне жилали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.

— Вы были в Москве?

— Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.

Овсяников вздохнул.

— Кого ж вы там видали?

— А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему — боишься точно, робеешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый — противника утешит, коня его похвалит. Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями

на его хлебе жилали... и сколько денег он передавал! А рассердится — словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь — уж и улыбается. Пир задаст — Москву споит!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет — наградит; а коли кто его поборет — задарит вовсе и в губы поцелует... А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день назначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей — ну, войско наехало, как есть войско! Сперва попиrowали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмущая!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.

— Не Миловидка ли? — спросил я.

— Миловидка, Миловидка... Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь». — «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку... Скорее себя самого в полон отдам». А Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю», — говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил — псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил.

— Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, — заметил я.

— Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает.

— А что за человек был этот Бауш? — спросил я после некоторого молчанья.

— Как же это вы про Миловидку слышали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и что бы ваш дед ни приказал — мигом исполнит, хоть на нож полезет... И как порскал — так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг запрямится, слезет с коня и ляжет... И как только перестали собаки слышать его голос — кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие блага. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загопочет опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович?

— Любил бы... точно, — не теперь: теперь моя пора прошла — а в молодых годах... да знаете, неловко, по причине зва-

ния. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам... да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него наземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смейся да других смеши. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.

— Да,— продолжал Овсяников со вздохом,— много воды утекло с тех пор, как я на свете живу: времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные — все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней — тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их, куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимировича,— чем не дворянин? Собою красавец, богат, в ниверситетах обучался, кажись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок ото всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий... И из чего буянит человек?.. У самого вершка земли нету: по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! нет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, хриstopродавца подайте сюда!» — «Да какое, наконец, ваше требование?» — «Вот дурака нашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте,— вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» — «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили,— другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирович, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорить желает». И нельзя не

похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но, в сущности, оно введено для чего? — для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет, — и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирыч, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино: им хорошо — нам хорошо, им худо — нам худо... и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков... И пошел, и пошел... Да ведь как говорил! за душу так и забирает... Дворяне-то все носы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает... А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения...» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимирыча, Карасиков Антон, поскупился королёвскому приказчику сто рублей ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирыч по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.

— А как он в своем именье распоряжается?

— Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, — да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирыч.

— Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону — и то слава богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю... Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча? — старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса:

— А слышали про Василья Николаича Любозвонова?

— Нет, не слышал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики — что за диво! — Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, — пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, — только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская... Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почитай что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: всё книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит, — ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василья Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, — видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо того вышло — как вам доложить? Сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо, — а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, — не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод... А впрочем, господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.)

— Ну в сторону дворян,— начал я,— что вы мне об одних дворцах скажете, Лука Петрович?

— Нет, уж вот от этого увольте,— поспешно проговорил он,— право... и сказал бы вам... да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать... Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?

Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой.

— Митя был сегодня у нас,— вполголоса заметила Татьяна Ильинична.

Овсяников нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходил прощенья просить.

Овсяников покачал головою.

— Ну, подите вы,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них невозможно... Вот и меня тоже бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дожидаться. На службе казенной состоял — бросил службу: вишь, ему ходу не было... Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела... Да это бы еще куда ни шло,— а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворянами на постоянных дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу... Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? — прибавил он, обращаясь к жене.— Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая,— покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела.

— Ну, так и есть,— продолжал Овсяников...— Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти,— уж так и быть, ради дорогого гостя, прошу глупца... Ну, вели, вели...

Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский — российский портной.

— Ну, подойди, подойди,— заговорил старик,— чего сты-

дишься? Благодарю тетку: прощен... Вот, батюшка, рекомендую,— продолжал он, показывая на Митю,— и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай.

Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне.

— После, дядюшка,— пробормотал он.

— Нет, не после, а теперь,— продолжал старик...— Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше — казись. Изволь, изволь-ка говорить... Мы слушаем.

— Мне нечего стыдиться,— с живостью начал Митя и потрянул головой.— Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». — «Что такое?» — «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущенья важные, начальству обязан донести». — «Да в чем упущенья?» — «А уж про это я знаю», — говорит... Мы было собрались и решили: чиновника как следует отблагодарить,— да старик Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу». — «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется...» — «Ну, говорю, так вам робеть нечего», — и написал бумагу им... И еще неизвестно, в чью пользу решится... А что вам на меня по этому случаю на жаловались,— дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе.

— Всякому, да, видно, не тебе,— сказал старик вполголоса...— А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тут я прав,— опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал — кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела.

— Ну, не хвастайся: несдобровать ей, твоей голове,— промолвил старик,— человек-то ты сумасшедший вовсе!

— А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили...

— Знаю, знаю, что ты мне скажешь,— перебил его Овсяников,— точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен... Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не кланяются, что ли: «Дмитрий Алексеич,— дескать,— батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим»,— да целковенький или синенькую из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает?

— В этом я точно виноват,— отвечал, потупившись, Митя,— но с бедных я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эх, ты! Знать, за святых все заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?

— Переходов по своей вине пострадал, точно...

— Казенные деньги потратил... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство...

— Бедность, бедность... Человек он пьющий, азартный — вот что!

— Пить он с горя начал,— заметил Митя, понизив голос.

— С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит — вишь невидадь какая!

— Человек-то он добрейший...

— У тебя все добрые... А что,— продолжал Овсяников, обращаясь к жене,— послали ему... ну, там, ты знаешь...

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик.

— В городе был.

— Небось все на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатах просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай!

— Оно, пожалуй, что так,— с улыбкой сказал Митя...— Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфеныч, к себе вас в воскресенье просит откусать.

— Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем!

— А то я Федосью Михайловну встретил.

— Какую это Федосью?

— А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в

швелях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенченкой-то знакомы,— так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосья выкуп за себя даст хороший.

— Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю,— продолжал старик с недовольным лицом,— этот Гарпенченко, прости господи, жила: векселя скупает, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает... И кто его в нашу сторону занес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься,— а впрочем, посмотрим.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся... Бог с тобой, бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, несдобровать тебе,— ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить... я и сам человек не властный. Ну, ступай теперь с богом.

Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.

— Напой его чаем, баловница,— закричал ей вслед Овсяников...— Неглупый малый,— продолжал он,— и душа добрая, только я боюсь за него... А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал.

Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.

— А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсяников.— Здравствуйте! как вас бог милует?

Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином.

Франц Иваныч Лежён (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на обратном пути бедный m-r Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grrrrrande armée»¹ уважить их, то есть нырнуть под лед. М-r Lejeune не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан. «Там, messieurs,— говорил

¹ Великой армии (франц.).

он,— мать у меня живет, une tendre mere»¹ Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёня, раздался звук колокольчика и на плотину въехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вятков. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.

— Что вы там такое делаете? — спросил он мужиков.

— А французя топим, батюшка.

— А! — равнодушно возразил помещик и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur! — закричал бедняк.

— А, а! — с укоризной заговорила волчья шуба.— С двенадцатью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука... Пошел, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочем, стой! — прибавил помещик...— Эй ты, мусье, умеешь на музыке?

— Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur!² — твердил Лежёнё.

— Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Компренэ? савэ мюзик ву? на фортепьяно жуэ савэ?

Лежёнё понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой.

— Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue tous les instruments possibles! Oui, monsieur... Sauvez moi, monsieur!³

— Ну, счастлив твой бог,— возразил помещик...— Ребята, отпустите его; вот вам двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёнё посадили в сани. Он задыхался от радости, плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещик повел его к своим дочерям.

¹ Нежная мать (франц.).

² Спасите меня, спасите меня, добрый сударь! (франц.)

³ Да, сударь, да, да, я музыкант, я играю на всевозможных инструментах! Да, сударь. Спасите меня, сударь! (франц.)

— Вот, дети,— сказал он им,— учитель вам сыскан. Вы всё приставали ко мне: выучи-де нас музыке и французскому диалекту: вот вам и француз, и на фортепьянах играет... Ну, мусье,— продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за пять лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном,— покажи нам свое искусство: жуэ!

Лежён с замирающим сердцем сел на стул: он отроду и не касался фортепьян.

— Жуэ же, жуэ же! — повторял помещик.

С отчаяньем ударил бедняк по клавишам, словно по барабану, заиграл как попало... «Я так и думал,— рассказывал он потом,— что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но, к крайнему изумлению невольного импровизатора, помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо,— промолвил он,— вижу, что знаешь; поди теперь отдохни».

Недели через две от этого помещика Лежён переехал к другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лобызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел.

Вот этот-то самый Лежён, или, как теперь его называют, Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсяникова, с которым он состоял в дружественных отношениях...

Но, быть может, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

Л Ъ Г О В

— Поедемте-ка в Льгов,— сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай,— мы там уток настреляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но, за неименьем пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кой-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Не-

большие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, по-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет,— промолвил наконец Ермолай,— дело неладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами,—небольшие карие глазки приветливо моргали,—все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать,— начал он мягким и вкрадчивым голосом,— я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятностям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заме-

тить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъяснить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его. — Зубы болят?

— Нет-с, — возразил он, — это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник¹, — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «*Ci gît Théophile Henri, viconte de Blanguy*»², на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху»; а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,

¹ Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок. (Прим. автора.)

² Здесь покоится Теофиль Анри, виконт де Бланжи (франц.).

Покинул родину, тиранами попанну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевышний судия его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай. — Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно, — подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной, — с важностью заметил мой охотник.

— Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.

Ермолай ушел.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал я Владимиру.

— Бог милостив, — отвечал он. — Во всяком случае, должно предполагать, что пруд не глубокий.

— Да, он не глубокий, — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья, — да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины¹.

— Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет.

— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, — а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь, — сказал Владимир.

— Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продол-

¹ Глубокое место, яма в пруде или реке. (Прим. автора.)

жал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста,— начал я,— давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошел,— отвечал он восторженно.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофеевна, толстая такая... немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». — «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержи в порядке... А как его содержать в порядке?»

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолodu все был кучером?

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был,— но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого же ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот что запрошлом году умерла под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долго-долго нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время был кофишенком?

— Нет, не все время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори,— я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убился: с лошадьёю упал и лошадьё зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер,— меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся:

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну,— промолвил я,— видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

Ермолай вернулся.

— Справлена лодка, — произнес он сурово. — Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с, — промолвил он, когда тот ушел, — совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели на дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжело шлепались об воду. Всех подстрелен-

ных уток мы, конечно, не достали: легко пораненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло, как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, — как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты пропасть! — пробормотал он, плюнув в воду, — какая оказия! А все ты, старый черт! — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. — Что это у тебя за лодка?

— Виноват, — пролепетал старик.

— Да и ты хорош, — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, — чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улы-

бался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыбался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, Я оглянулся; кругом в десяти шагах от нас росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть? — спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь, — ответил он. — На, ты, держи ружье, — сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод, — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, — взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.

— Нет, не умею, — раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет, — равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с, — жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, — тут направо колдобина!» или: «Правей, — тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» — грозно кричал на него Ермолай, — и Сучок

карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу всё мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и не-

определенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «пáрит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решил наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда

зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало,—одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что́ я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной ложине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней,—казалось, они сползли туда для тайного совещания,—и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже несколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрач-

ный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина Луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мною от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожждаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья

лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из

простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку*. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке, по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения теще-душного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том о сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне¹.

— А разве вы на фабрику ходите?

¹ «Рольней», или «черпальной», на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины под колесом. (Прим. автора.)

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках¹ состоим.

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне зафочевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то² спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг глядь, у одного чана форма³ зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напугались о ту пору!

— Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатила.

¹ «Лисовщик» гладят, скоблят бумагу. (Прим. автора.)

² «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. (Прим. автора.)

³ Сетка, которой бумагу черпают. (Прим. автора.)

— Нет, я вам что, братцы, расскажу,— заговорил Костя тонким голоском,— послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем,— с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил,— пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои,— нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра,— присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь,— а то вот еще карась бывает такой белёсоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья,— да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить,— он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя.— И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатах, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что наместись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли¹ водятся.

— Ну, что такое случилось? рассказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могила его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмельён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой,

¹ По-орловскому: змен. (Прим. автора.)

кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его,— что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша!»...

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!»... Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принёсся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего,— отвечал Павел, махнув рукой на лошадь,— так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,— прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удаley и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал,— заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая

дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возмись

белый голубок,— налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился,— заметил Павел.— Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша,— промолвил Костя,— не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть,— проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша,— начал Федя,— что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?¹

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напужались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку² увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша.— Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например,— он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да,— продолжал Павел своим неторопливым голо-

¹ Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Прим. автора.)

² В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. (Прим. автора.)

сом,— такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофейч, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалует». Такого-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, непрерывно мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул... «Что это?»

— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.

— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью¹ выходит,— там ведь есть бучило²; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот, пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у!

¹ С у г и б е л ь — крутой поворот в овраге. (Прим. автора.)

² Б у ч и л о — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (Прим. автора.)

Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза...— Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продолжал Павел,— которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эх ее! — невольно произнес Костя,— словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами,— пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел.— Не понимаю, право!

— Не бранись: смотри, услышит,— заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что́ она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котельчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?... Вон-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят, — продолжает Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее любовник обманул.

— От того са́мого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чу́яла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васи́на шапонька по воде плывет. Ведь вот

с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет, да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку,— помните, Вася-то все такую песенку певал,— вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...— А мы только что об нем, об Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнес Павел решительно и сел опять,— своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался:

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, перед-рассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло,— в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дре-

мали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понутив головы... Слабое забытие напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обогранным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редящего тумана,— полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под разохшихся и дребезжавших колес,— как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрез-

вычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханые холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое? — спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела, — мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь делать? — спросил я наконец.

— Вон кто виноват! — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам, — уж я всегда это замечал, — продолжал он, — это примета верная — встретить покойника... Да.

И он опять беспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижной и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного назад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы

с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко подымались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят,— заговорил он,— что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то его мать, а молодая — жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабьи слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,— заметил я,— что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седелку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу — подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекошил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну что? — проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты? — спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,— спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки: Юдиными прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,— сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев — никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье кошки раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшавшего намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидал меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» — забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва

заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно щедро и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело; он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взглядом с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Станный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет, — прибавил он после небольшого молчания, — эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте, — промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик, — заговорил я, коснувшись до его плеча, — сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки¹. Тут у нас купцы рощу купили, — бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно! — радостно воскликнул я. — Прекрасно!.. пойдём.

¹ Срубленное место в лесу. (Прим. автора.)

— Дубовую ось, хорошую,— продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

— Да нет...

— Ну, пойдем,— сказал я,— пойдем, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было поить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело... Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек! — отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили? — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эк! — проговорил мой кучер сквозь зубы. — Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер? — проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли? — прибавил он, указывая на нее плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега! — повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном... — Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие,— а это что такое?

— А не знаю,— отвечал Касьян,— на чем вы поедете; разве вот на этом животике,— прибавил он со вздохом.

— На этом-то? — подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой

руки в шею.— Ишь,— прибавил он с укоризной,— заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке,— Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха,— прибавил он громко,— что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи; может, найдется,— отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь? — заговорил он, — а?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы, пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело переме-

щаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршóк¹ полетел, чиликая, у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая, — Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал...

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты, наполовину лиловые, наполовину желтые цветы ивана-дамари; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженьями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, — другой тени не было нигде. Легкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется, — все весело зашумит, закивает и задвигается кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников, — обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, — и утомителен этот непрестанный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли.

Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы наконец до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник; на иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудями лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горь-

¹ Молодой перепел. (Прим. автора.)

ким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево... Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его щедедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем,— все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по́ небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе? — спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?

— Та птица, богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я.

— У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностью, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, — великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян, — начал я, не спуская глаз с его слегка покрасневшегося лица, — чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит, — промолвил он наконец, — а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства; работаю пока мочно, — работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю.

— Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго

жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не sluкавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю,—сохрани господи! Я их не на му́ку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешенье и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночью да в залесьях, в поле ночью один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты их?

— Отдаю добрым людям.

— А что ж ты еще делаешь?

— Как делаю?

— Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я этак не занят... работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

— Ты грамотный?

— Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человек?

— Нетути, бессемейный.

— Что так?.. Перемерли, что ли?

— Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть.

— И родни у тебя нет?

— Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста,—начал я,—мне слышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

— Кучер твой справедливый человек,—задумчиво отвечал мне Касьян,—а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется,—прибавил он, понизив голос.

— Ты ничего Мартыну не давал? — спросил я.

— Поздно узнал,—отвечал старик.— Да что! Кому как на

роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок,— словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам? — спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник,— царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше... Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше; суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот, как пойдешь, как пойдешь,— подхватил он, возвысив голос,— и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакie степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых крестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, греш-

ный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет,— вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя.

— Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие слышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

«Э! — подумал я, — да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чашу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо поглядывая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее; она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся! — кликнул старик ласково.

— Боюсь, — раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, — ее детские ножки едва шумели по густой траве, — и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, — но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и проницательный, и движения те же... Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала? — спросил он.

— Да, грибы, — отвечала она с робкой улыбкой.

— Много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и подняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э! — сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, — да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли? — спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница, — проговорил Касьян с притворной небрежностью. — Ну, Аннушка, ступай, — прибавил он тотчас, — ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком идти! — прервал я его. — Мы бы ее довели...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватила обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдет, — возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. — Что ей?.. Дойдет и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты ее так скоро отослал? — спросил я его. — Я бы у нее грибы купил...

— Да вы там, все равно, дома купите, когда захотите, — отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нет... какое... так... — ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барин, а барин, — заговорил он, — ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел.

— Как это?

— Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было, она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее

сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но в ожидании первого моего вопроса ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня! — бормотал он, — а еще деревня! Спросил хошь квасу — и квасу нет... Ах ты господи! А вода — просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу — ничего. Ну, ты, — прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, — я тебя знаю, потворица этакая! Любишь себе потворствовать небось... (И он ударил ее кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайси!..»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то? — заговорил он наконец, передернув вожжами. — Чудной человек: как есть юродивец, такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы то есть. Ну, конечно, что он за работник, — в чем душа держится, — ну, а все-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило — бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный, — уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый — не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит, — а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего.

— А что он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть, — прибавил он, помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

— А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

— Хе!.. да, сродни. Она сирота; матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чает: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э! — вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. — Никак, гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем за вечерело, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТР

Верстах в пятнадцати от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми, — говорит он в таком случае, — невежество, *mon cher; il faut prendre cela en considération*»¹. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса

¹ Дорогой мой; нужно принять это во внимание (франц.).

возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», — причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов в нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгует — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Люции и Сомнамбулы тоже помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья, — но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «*Mais c'est imrayable*», «*Mais comment donc!*»¹ и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись

¹ «Но это бесподобно», «Ну как же!» (франц.)

опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher¹, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— Насчет Федора... распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаю-с, — отвечал толстый и вышел.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne², — весело заметил Аркадий Павлыч. — Да куда же вы? Оставайтесь, посидите еще немного.

— Нет, — отвечал я, — мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок верст отсюда, в Рябово.

— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами

¹ Извините, дорогой мой (франц.).

² Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни (франц.).

поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я так давно в Шипиловке не бывал: все времени улучшить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. *Ce sera charmant*¹. Мы вместе поужинаем,— мы возьмем с собою повара,— вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа.— *C'est arrangé...*² Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посоветился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете,— продолжал он, покачиваясь на обеих ногах,— у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, *c'est leur affaire*³. Бурмистр у меня там — молодец, *une forte tête*⁴, государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

¹ Это будет очаровательно (франц.).

² Решено... (франц.).

³ Это их дело (франц.).

⁴ Умная голова (франц.).

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», — потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых панёвах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сених втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином,— вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем,— откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши,— заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут,— насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку,— прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши! — воскликнул Софрон,— да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит все милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах вы, отцы наши!..

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?»¹

— Да, батюшка Аркадий Павлыч,— продолжал неугомонный бурмистр,— как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего,— с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч,— здесь хорошо.

¹ «Разве это не трогательно?» (франц.)

— Да ведь, отцы вы наши,— для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы... ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напускаешь.

— Ну что, размежевался, старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

— Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьёго дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бóg знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетишили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал,— важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

— Ну и, стало быть, вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — запел он опять... — Да помилуйте вы меня... да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его.

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! — говорю. А становому на всякой случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублей — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и не-

сколько раз сказал мне, указывая на него головой: «*Que! gaillard, ah?*»¹

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторож заколотил в доску; ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сарай, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил раkitником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор». — Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, — да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготавливать и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите,—

¹ «Какой молодчина, а?» (франц.)

говорил Аркадий Павлыч,— на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес»,— заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне пре-забавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если б мы замещкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? О чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону.— Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи,— медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г. Пеночкин.— Языков у вас нет, что ли? Сказывай, ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика.— Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сильным голосом произнес: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперя и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнес Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер», — неработающий. Из недоимки не выходит вот уже пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик, — вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин. (Старик понурил голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется?

— Батюшка Аркадий Павлыч, — с отчаяньем заговорил старик, — помилуй, заступись, — какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, не вмоготу приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) — Помилуй, государь, заступись...

— Да и не нас одних, — начал было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не

советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) *Je vous demande bien pardon, mon cher*¹, — сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. — *C'est le mauvais côté de la médaille...*² Ну, хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков, — я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия», — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь сго, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды... затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтора десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчанья, — пожалуйся. Нет, он тебя... да, поди-ка... Нет уж, он тебя вот как, того...

¹ Я прошу извинения, мой дорогой (франц.).

² Это обратная сторона медали... (франц.).

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну,— промолвил Анпадист,— заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпёж, знать, пришлось... Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье.

Мы отправились на охоту.

БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозняками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза,— отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет,— продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,— отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин»,— промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяли. Я поднял голову и при свете молнии увидел небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» — раздался тоненький голосок, слышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину,— сказал он ей,— а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: невесело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна,— произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова,— прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через

порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и потрянул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк¹.

— А! ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок, как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слышал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла, — прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жесткой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

¹ Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. (Прим. автора.)

— Вы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть не станете, а у меня, окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой,— проговорила она, еще более понутив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит,— заметил он после небольшого молчанья,— коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльского Верху¹ дерево рубят,— прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул руку,— вишь, какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй,— прибавил он вслух,— и прозеваю его». — «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно,— отвечал он и попятил лошадь назад,— мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь,— бормотал он сквозь зубы,— слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновение — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюкглянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался...

¹ «Верхом» называется в Орловской губернии овраг. (Прим. автора.)

— Повалил...— пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. «Подождите здесь»,— шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне недалеко слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!»— загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь,— твердил, задыхаясь, Бирюк,— не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его,— шепнул я на ухо Бирюку,— я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за челку левой рукой: правой он держал вора за пояс: «Ну, поворачивайся, ворона!»— промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите»,— пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!»— сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил,— заметил лесник,— переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер,— продолжал он, указывая на мужика,— да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай,— перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым,— а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти,— повторял он с унылым отчаяньем,— отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,— продолжал мужик,— лошаденку-то, хоть ее-то... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну на, ешь, на, подавись, на,— начал он, прищурив глаза и опустив углы губ,— на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты; что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник.— С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах, ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай всё: жена, дети,— околевай всё... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей,— подхватил мужик свирепым голосом,— бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома,— закричал я,— оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать,— продолжал несчастный.— Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да стой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, стой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своею лошадью! — закричал он ему вслед,— да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

— Ну, Бирюк,— промолвил я наконец,— удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин,— перебил он меня с досадой,— не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу,— прибавил он,— знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся! — пробормотал он,— да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

ДВА ПОМЕЩИКА

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились

около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иванович», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду с озабоченным и мечтательным видом повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела.хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает,—отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек... Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно

пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает,— вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет... Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «*Journal des Débats*». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа,— говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности,— много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, пáрил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионыч на больших званных обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже

предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраниях и выставках; под благословение тоже подходит мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж...» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожилы и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знает, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пустяки говорите»; или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвый сдарь мой, вам поставить на вид»; или: «Наконец вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard», говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах Хвалынского, — да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походит на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим имением довольно

поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортепяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкафы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад... Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в домоделанной коляске в полтора пуда. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть: благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом краешке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка,— заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки,— не уходи... Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с,— с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! Как в вашем званье не пить! — отвечал Мардарий Аполлоныч. — Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик, лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо, — заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человек, — продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед, — очень я им доволен; одно — молод еще. Всё проповеди держит, да вот вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон — вишь, вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричал он. — Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки! — твердил Мардарий Аполлоныч, — это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал как иступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик. — Ермила-кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось Параши не выслал, — присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка, брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда ни возьмись ключница, схва-

тила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине...

— Вот тэк, э вот тэк,— подхватил помещик,— те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья,— прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка,— начал я,— Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь; сажалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч.— У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал,— уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой — по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом,— продолжал он,— и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал — кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодуши, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая,— но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там по моему приказу шалунишку наказывают... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот, что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой. — Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любят да наказует: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подзвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его.

— А вы почему знаете? — отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что ж он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на возвратном пути.

ПЕВЦЫ

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих раkit боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к

оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным»¹. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович.

Николай Иванович — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иванович человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне, и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иванович человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д.

¹ Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приятное место. (Прим. автора.)

Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой подымался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучами носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неимением ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувysохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпением наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внут-

ренность, и они сами потом кашляли и задыхались,— как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушаком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови.— Иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду,— раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая, остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль.— Иду, любезный,— продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения,— зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — возразил с укоризной человек во фризовой шинели.— Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя все люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом.— И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру,— с достоинством отвечал Обалдуй,— а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота,— возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня, по крайней мере, душа ты моя,— залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный,— презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядом стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет

тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иванович.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребятки, начинайте, — пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть,— с расстановкой произнес Дикий-Барин,— да осьмуху на стойку.

Николай Иванович нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, высыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать,— проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свите, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе,— воскликнул Обалдуй,— я ведь говорил.

— Ну, ну, не «цыркай»!¹ — презрительно заметил Дикий-Барин.— Начинай,— продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волнение.

— Какую хочешь,— отвечал Моргач.— Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь,— прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди.— В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести,— подхватил Обалдуй и ~~полизал~~ край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько,— заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания,

¹ Цыркают ястреба, когда чего-нибудь испугаются. (Прим. автора.)



И. С. Тургенев
«БУРМИСТР»

считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабаке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуй. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуй, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать, отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач несколько не походил на Обалдуй. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромым, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время

предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простаком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»¹. Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что́ это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе, но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же

¹ Орловцы называют глаза гляделками, так же как рот едалом. (Прим. автора.)

самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно,— в нем вообще не было ничего скромного,— но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всей округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъяслял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства,— смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлой, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia*, *ténor léger*¹. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

¹ Лирический тенор (итал., франц.).

Он пел; все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накалывай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменяя ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикый-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уж такие начал отделявать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас,—общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил,—кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий,—потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач,—дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью,—возразил Обалдуй и подошел к стойке.—На твой счет, брат,—прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо,— ласково заметил Николай Иваныч.— А теперь за тобой очередь, Яша: смотри не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хброшо.

— Очинна хорошо,— заметила Николая Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха!¹ — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставил на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом.— Полеха! полеха! Га, баде паняй², заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрипнув зубами.

— Я ничего,— забормотал Обалдуй,— я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин.— Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату.

¹ Полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. (Прим. автора.)

² Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания «га!» «баде!». «Паняй» вместо погоняй. (Прим. автора.)

Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас: мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвеневав под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым — третий, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл

глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша,— проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл»,— произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты...

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование: все вдруг заговорило шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеялся каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголке, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу, хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь»,— твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся,— все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несли нестройный, смут-

ный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужичком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топтал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловельных, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц, но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принеся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, черт, леши-и-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-ит, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и

слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

ЛЕС И СТЕПЬ

...И понемногу начало назад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так тенисты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной нивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами.
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо

(Из поэмы, преданной сожжению)

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich¹, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы

¹ Сама по себе (нем.).

закрываете лицо воротником шинели; вам дремлет. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, пред-рассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синее сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздастся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом

таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мохом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевелиться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Востер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее! Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синее небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглой. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснее... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой

липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес глохнет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь пршлогодную бурю листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на́ душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шума...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, тихо вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редющий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу, — и вот опять все заволочлось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой, нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъездное поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных дворишков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханые и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы, старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, деревья почти не видать. Вот она, наконец, — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако — пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.



ОТЦЫ И ДЕТИ

Р о м а н

Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича БЕЛИНСКОГО

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоянного двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором все: и бирюзовая сережка в ухе, и напмаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, все изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать, — вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним

читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоянного дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму», — в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобоострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шелковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла, — словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пiotр Кирсанoф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в Английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существования ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей

и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог, — и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка: крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоянного дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак, они едут-с, — доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги.

Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша, — говорил несколько сильным от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки, — я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего, — твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. — Покажи-ка себя, покажи-ка, — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша, — сказал он, — позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста, в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий,— заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну,— сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас,— подхватил отец.— Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка,— хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоянного двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей,— только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет,— перебил вполголоса Аркадий.— Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха,— подхватил другой, тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа,— барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей-живей, ребята, подсобляйте,— воскликнул Николай Петрович,— на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал,— говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену.— Наконец!

— А что дядя? здоров? — спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он, — ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлую зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он все знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету, — заметил Николай Петрович и помолчал. — Петр, — прибавил он и протянул руку, — это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с, — промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак, — прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевелинулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году, — продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну. — Не платят оброка. Что́ ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да, — процедил сквозь зубы Николай Петрович. — Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания все еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука́ будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе, — заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал, — промолвил Николай Петрович, — теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это все пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Праву, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно,— заметил Николай Петрович,— ты здесь родился, тебе все должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это все равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно все равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе,— начал Николай Петрович,— твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Все так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя все тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) *Il est libre en effet*¹,— заметил вполголоса Николай Петрович,— но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем,— прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения,— я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновение и продолжал уже по-французски:

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно, будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это все можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

¹ Он в самом деле вольный (франц.).

— Ну, ты, наконец,— проговорил Николай Петрович.— Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша,— подхватил Аркадий,— ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно,— отвечал Николай Петрович, все более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу.— Перестань, пожалуйста,— повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли,— проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса,— заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избушками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались всё обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они

только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня, вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет,— подумал Аркадий,— небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Все кругом золотисто зеленело, все широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, всё — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чиби́сы то кричали, виваясь над низменными лугами, то молча перебежали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко,— заметил Николай Петрович,— вот сто́ит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно,— промолвил Аркадий,— но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна, пора любви!
Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова,— пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай,— отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно заку-

рил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованию, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома,— промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами.— Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо,— заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее.— Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами.— Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич,— начал Николай Петрович,— приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с,— проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови.— На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдет ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку,— прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Про-

кофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься,— отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский сьют, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко стриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою красивую руку с длинными розовыми ногтями,— руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»¹, он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня,— заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы.— Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Аркадий,— так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду,— воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

¹ «Рукопожатие» (англ.).

— Я нахожу, что Аркадий *s'est dégoûrdi*¹, — заметил он. — Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!». Аркадий сообщил несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил все вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя, — говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку. — Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь, — ответил Аркадий, — ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело, — продолжал Базаров, — эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... Ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомоёйник, а дверь не запирается.

¹ Стал развязнее (франц.).

Все-таки это поощрять надо — английские рукомошники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечи и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний номер *Galvani*, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом, — местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что,— отвечал ему Базаров, который владел особенным умением возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно,— я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно!

— Я их боюсь, лягушек-то,— заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы,— промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам,— поспешно подхватил Николай Петрович.— Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками,— отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным,— начал он,— но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть,— проговорил он наконец,— она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глаза на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша,— глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу.— Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае, я сам пойду к ней,— воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула.— Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий,— начал он,— сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущении опустил на стул. Сердце его забилося... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с выражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице.— Федосья Николаевна, точно, сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат?

Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович. — В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь, — заметил Павел Петрович, — я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обыкновенною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно. — Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб. — Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое имение. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я все себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?.. Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами. — Ну, а сам господин Базаров, собственно, что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся. — Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист,— повторил Аркадий.

— Нигилист,— проговорил Николай Петрович.— Это от латинского *nihił*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признаёт?

— Скажи: который ничего не уважает,— подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения,— заметил Аркадий.

— А это не все равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не все равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принципов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «принцип», налегая на первый слог), без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить,дохнуть нельзя. *Vous avez changé tout cela*¹, дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты,— отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица.

Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

¹ Вы все это переменили (франц.).

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка,— проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с,— ответила она не громким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалуется,— промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь: надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов,— равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет,— заметил Павел Петрович.— В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либоширничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп,— сказал он между прочим,— всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой поглядывал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.



И. С. Тургенев
«ОТЦЫ И ДЕТИ»

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил, в свою очередь, Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учителя, — небрежно отвечал Базаров.

Слово «германцы» вместо «немцы» Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение, — произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад. — Но как же нам Аркадий Николаич сейчас сказывал, что вы не признаёте никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и всё.

— А немцы все дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все, — ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня, — заговорил он опять, не без некоторого усилия, — я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, Гётте... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, — перебил Базаров.

— Вот как, — промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови. — Вы, стало быть, искусства не признаете?..

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительной усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы всё, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет удобрений полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист», — подумал Николай Петрович.

— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае, — прибавил он вслух. — А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да, — проговорил он, ни на кого не глядя, — беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хватить! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди такими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся, — заметил Аркадий. — Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбие, львиные привычки, фатство. Ну,

продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, *Dytiscus marginatus*, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю,— начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя несколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостью и ловкостью (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг все изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с

молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы, — но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, — загадочный взгляд. Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, все еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе, — бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Все ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце все ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она, — сфинкс?

— Да, — ответил он, — и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд. — Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она с незначительной усмешкой, а глаза глядели все так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц все уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел, по крайней мере, остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь как вкопанный близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его сча-

ствием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие уменьшилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он все потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино,— сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены),— ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда,— отвечал Павел Петрович,— с тех пор я уgomонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частью помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знал с дамами...

— Вот видишь ли, Евгений,— промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ,— как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги,— имение, ты, может быть, не зна-

ешь, у них не разделено,— но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступает за крестьян, правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

— Известное дело: нервы,— перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом,— продолжал Аркадий,— он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров.— А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и, когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, такой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил,— заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров.— Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это все распушенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза; откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с», — и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как доделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал

и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent»¹, — и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дразги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен, — рассуждал он сам с собою, — его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши, — говаривал он, — а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите, — раздался голос Фенечки.

— Это я, — проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помешал, — начал Павел Петрович, не глядя на нее, — мне хотелось только попросить вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с, — отвечала Фенечка, — сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена, — прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. — Занавески вот, — промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

¹ «Но я могу дать тебе денег» (франц.).

— По милости Николая Петровича,— шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет»,— думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил наконец Павел Петрович.— Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша,— кликнула она,— принесите Митю. (Фенечка всем в доме говорила *вы*.) А не то погодите; надо ему платице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да все равно,— заметил Павел Петрович.

— Я сейчас,— ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кровать под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке,— больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой —

Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том *Стрельцов Масальского*, перевернул несколько страниц...

Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

— Экой бутуз,— снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чиха и засмеялся.

— Это дядя,— промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

— Сколько, бишь, ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы.— Баловник,— проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата,— заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да,— продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович,— несомненное сходство.— Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя,— повторила она, но уже шепотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган,— промолвил он и посмотрел на часы,— а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собой зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н... нет,— произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб.— Надо было прежде... Здравствуй, пузырь,— проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкно-

вению низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая», — сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро. Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с бóльшим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидел ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверек, и ласково крикнул ей:

— Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте, — прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но все еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

— Так-таки брат к тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович. — Постучался и вошел?

— Да-с.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет,

оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховой мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой *renaissance*¹ из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаянием глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо,— прибавил он,— потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо.— Какая хорошенькая!

— Да ты о ком говоришь?

— Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

— Ага! — промолвил Базаров.— У твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться,— прибавил он и отправился назад к беседке.

— Евгений! — с испугом крикнул ему вслед Аркадий.— Осторожней, ради бога.

— Не волнуйся,— проговорил Базаров,— народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

— Позвольте представиться,— начал он с вежливым поклоном,— Аркадию Николаевичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров.— Не

¹ В стиле Возрождения (франц.).

беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

— Да-с,— промолвила Фенечка,— четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

— Покажите-ка... Да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, все в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава богу.

— Слава богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

— Как он у вас тихо сидел,— промолвила она вполголоса.

— У меня все дети тихо сидят,— отвечал Базаров,— я такую штуку знаю.

— Дети чувствуют, кто их любит,— заметила Дуняша.

— Это точно,— подтвердила Фенечка.— Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

— В другой раз, когда привыкнуть успеет,— снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

— Как, бишь, ее зовут? — спросил Базаров.

— Фенечкой... Федосьей,— ответил Аркадий.

— А по батюшке?.. Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— Bene¹. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права,— заметил Аркадий,— но вот отец мой...

— И он прав,— перебил Базаров.

— Ну, нет, я не нахожу.

— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий.— Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

¹ Хорошо (лат.).

— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров. — Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

— Видел я все заведения твоего отца, — начал опять Базаров. — Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

— Строг же ты сегодня, Евгений Васильич.

— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопаёт».

— Я начинаю соглашаться с дядей, — заметил Аркадий, — ты решительно дурного мнения о русских.

— Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное все пустяки.

— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытной рукой, «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

— Это что? — произнес с изумлением Базаров.

— Это отец.

— Твой отец играет на виолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лет?

— Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

— Чему же ты смеешься?

— Помилуй, в сорок четыре года человек, *pater familias*¹, в ...м уезде — играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

¹ Отец семейства (лат.).

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фенечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого все достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок, — и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозились опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог, — а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь, — говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый,— промолвил Базаров,— но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает,— продолжал между тем Базаров.— Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft»¹ на первый случай.

— Я сам так думаю,— заметил одобрительно Аркадий.— «Stoff und Kraft» написано популярным языком...

— Вот как мы с тобой,— говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете,— в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович.— Это все ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное,— перебил опять Павел Петрович.

— Да,— заметил Николай Петрович,— он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями,— а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит

¹ «Материя и сила» (нем.).

ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он. — Аркадий Николаевич заботится о твоём воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это все — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати, — начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор. — Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в*** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; черт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди, — заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся, — пробормотал его брат. — У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянъ, аристократишко»,— равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить,— начал Павел Петрович, и губы его задрожали,— по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко»,— проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,— повторил он с ожесточением,— английских аристократов. Они не уступают иоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз,— возразил Базаров,— но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — эфто, другие — эхто: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе,— а в аристократе эти чувства развиты,— нет никакого прочного основания общественному... *bien public*...¹ общественному зданию. Личность, милостивый государь,— вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович,— промолвил Базаров,— вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для *bien public*? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

¹ Общественному благу (франц.).

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принцип, а без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, — говорил между тем Базаров, — подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что ж ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил? В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов, — вмешался Аркадий.

— Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным, — промолвил Базаров. — В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Всё?

— Всё.

— Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Всё, — с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте, — заговорил Николай Петрович. — Вы всё отрицаете, или, выражаясь точнее, вы всё разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует, — с важностью прибавил Аркадий, — мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и

философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, — я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить, — перебил Базаров, — я даже готов согласиться, что в этом вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает, — повторил Аркадий с уверенностью опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому несколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович. — Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров. — Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал, — с надменною гордостью отвечал Базаров. — Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся, — промолвил он. — Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте, — продолжал он, обращаясь снова к Базарову, — вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Ма-

териализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет.— Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители,— так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди, и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так,— перебил Павел Петрович,— так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься,— угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом,— повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом.— Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны,— произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? Вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать...— продолжал он.— Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила,— заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета,— проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее,— хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоею пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, un barbouilleur¹, тапёр, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога,— промолвил Базаров.— Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела,— ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему,— возразил Базаров,— Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

¹ Маратель, писака (франц.).

— Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, — флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. — Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, — прибавил он, вставая, — когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю, — воскликнул Павел Петрович, — миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины, — промолвил он, — поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведal на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слышали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот, — начал наконец Павел Петрович, — вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!

— Наследники, — повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на углях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия. — Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а про-

глотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромен,— возразил Павел Петрович,— я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*¹, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или белого? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновенье...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять,— отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir*², и ушел к себе в кабинет.

ХІ

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы,— думал он,— и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять,— не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсте от сада:

¹ Старомодно (франц.).

² Добрый вечер (франц.).

ть от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой роши; он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рошу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, *Stoff und Kraft* — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какую он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученную косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «*Pardon, monsieur*»¹, — а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это все умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но, — думал он, — те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память; ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович, — раздался вблизи его голос Фенечки, — где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и

¹ «Извините, сударь» (франц.).

Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь, — отвечал он, — я приду, ступай. — «Вот они, следы-то барства», — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича, — ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию. — Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь, какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в три-

дцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: забавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй,— лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностью скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штаб-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли наконец такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечительством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима,— говаривал он тогда,— *l'énergie est la première qualité d'un homme d'état*»¹; а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением

¹ Энергия — первейшее качество государственного человека (франц.).

о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинёров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни... Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка; только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец, и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папá всегда», — заметил он, подбрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favourite»¹, как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с... с... с...ство».

— А? Что? Что такое? Что вы говорите? — напряженно повторяет сановник.

— Сегодня пятница, ваше с... с...ство.

— Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с... ссс...ссс...ство, день в неделе.

— Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

— Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губерна-

¹ «Самый излюбленный» (англ.).

тору,—сказал он Аркадию,—ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом... ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

— Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий.

— Он для меня его дает,—проговорил Матвей Ильич почти с сожалением.— Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, *il a fait son temps*¹.

— Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не...

Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко,—перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся.— Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика со сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку...». Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! — сказал наконец Базаров.— Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, недоедал и недопивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильич!» — бросился к Базарову.

— А! это вы, герр Ситников,—проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару,—какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно,—отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: —

¹ Прошло его время (франц.).

Ступай за нами, ступай! — У моего отца здесь дело, — продолжал он, перепрыгивая через канавку, — ну, так он меня просил... Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас... (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой — славянской вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора?

— Не надейтесь, мы прямо от него.

— А! в таком случае, и я к нему пойду... Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим... с ними...

— Ситников, Кирсанов, — проворчал, не останавливаясь, Базаров.

— Мне очень лестно, — начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. — Я очень много слышал... Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать — его ученик. Я ему обязан моим перерождением...

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое напряжение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

— Поверите ли, — продолжал он, — что, когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! «Вот, — подумал я, — наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слышали о ней?

— Кто такая? — произнес нехотя Базаров.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, *éтансіrée*¹ в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

— Нет еще.

— Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

— Хорошенькая она? — перебил Базаров.

— Н...нет, этого нельзя сказать.

— Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

— Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.

¹ Свободная от предрассудков (франц.).

— Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка все по откупам?

— По откупам,— торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся.— Что же? идет?

— Не знаю, право.

— Ты хотел людей смотреть, ступай,— заметил вполголоса Аркадий.

— А вы-то что ж, господин Кирсанов? — подхватил Ситников.— Пожалуйста и вы, без вас нельзя.

— Да как же это мы все разом нагрянем?

— Ничего! Кукшина — человек чудный!

— Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров.

— Три! — воскликнул Ситников.— За это я ручаюсь!

— Чем?

— Собственной головою.

— Лучше бы мощною батюшки. А впрочем, пойдем.

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия*) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?

— Это вы, Victor? — раздался тонкий голос из соседней комнаты.— Войдите.

Женщина в чепце тотчас исчезла.

— Я не один,— промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.

— Все равно,— отвечал голос.— Entrez¹.

Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые номера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала

¹ Войдите (франц.).

с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor»,— и пожала Ситникову руку.

— Базаров, Кирсанов,— проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

— Милости просим,— отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: — Я вас знаю,— и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружисься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети говорят, нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю вас, Базаров,— повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам,— с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) — Хотите сигару?

— Сигарку сигаркой,— подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху,— а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

— Сибарит,— промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) — Не правда ли, Базаров, он сибарит?

— Я люблю комфорт жизни,— произнес с важностью Ситников.— Это не мешает мне быть либералом.

— Нет, это мешает, мешает! — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского.— Как вы об этом думаете?— прибавила она, обращаясь к Базарову.— Я уверена, вы разделяете мое мнение.

— Ну нет,— возразил Базаров,— кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения.

— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали

вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят со своими няньками.

— Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов,— проговорил Аркадий,— и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

— Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

— За что?

— Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина, и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время—как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисеви́ч! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господин; вы такой критик. Ах боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей—удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

— Город как город,—хладнокровно заметил Базаров.

— Всё такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве... но теперь там обитает мой благовверный, мсье Кукшин. Да и Москва теперь... уж я не знаю—тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

— В Париж, разумеется? — спросил Базаров.

— В Париж и в Гейдельберг.

— Зачем в Гейдельберг?

— Помилуйте, там Бунзен!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

— Pierre Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте. Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

— Я и ее не знаю.

— Ну, вот он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна, у меня нет детей... Что это я сказала: *слава богу!* Впрочем, это все равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

— А, вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей,— пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

— Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку.

— Есть,— отвечала Евдоксия,— да все они такие пустые. Например, *mon amie*¹ Одинцова — недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

— Ничего вы с ними не сделаете,— подхватил Ситников.— Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да им совсем не нужно понимать нашу беседу,— промолвил Базаров.

— О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия.

— О хорошеньких женщинах.

— Как? Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?

Базаров надменно выпрямился:

— Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.

— Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

— Но сам Маколей,— начала было Кукшина.

— Долой Маколей! — загремел Ситников.— Вы заступаете за этих бабенок?

— Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

¹ Моя приятельница (франц.).

— Долой! — Но тут Ситников остановился. — Да я их не отрицаю, — промолвил он.

— Нет! Я вижу, вы славянофил!

— Нет, я не славянофил, хотя, конечно...

— Нет, нет, нет. Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя**. Вам бы плетку в руки!

— Плетка дело доброе, — заметил Базаров, — только мы вот добрались до последней капли...

— Чего? — перебила Евдоксия.

— Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского — не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин, — продолжала Евдоксия. — Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле: *De l'amour*¹. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви, — прибавила Евдоксия, темнo уронив руку на емятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

— Нет, зачем говорить о любви, — промолвил Базаров, — а вот вы упомянули об Одинцовой... Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть! прелесть! — запищал Ситников. — Я вас представляю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!»

— Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первую бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая... Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак — предрассудок или преступление, и какие рождаются люди — одинаковые или нет? и в чем собственно состоит индивидуальность? Дело дошло наконец до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец. «Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало», — заметил он вслух.

¹ «О любви» (франц.).

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово,— он занимался больше шампанским,— громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегаая то справа, то слева,— ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она, в своем роде, высоконравственное явление.

— А это заведение твоего отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабака, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал, собственно, из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «*en vrai chevalier français*»¹ перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссыма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал «*Enchanté*»². Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «*Zut*», «*Ah fichtrrre*», «*Pst, pst, mon bibi*»³ и т. п. Он

¹ «Как истинный французский рыцарь» (франц.).

² «Очарован» (франц.).

³ «Зют», «Черт возьми», «Пст, пст, моя крошка» (франц.).

произносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком*, и в то же время говорил «*si j'aurais*» вместо «*si j'avais*»¹, «*absolument*»² в смысле: «непременно», словом, выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «*comme des anges*».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста, в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.

— Коротко. Хотите, я вас представлю?

— Пожалуй... после этой кадрили.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

— Это что за фигура? — проговорил он. — На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

— Точно так.

— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, — продолжала она, — я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадрили. Она согласилась.

— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

¹ Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего: «если б я имел» (франц.).

² «Безусловно» (франц.).

— Помиауйте, как можно... Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

— Извольте,— сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда при первых звуках мазурки он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры. Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастьем находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое...

— С кем вы это стояли? — спросила она его, — когда господин Ситников подвел вас ко мне?

— А вы его заметили? — спросил, в свою очередь, Аркадий. — Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».

Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным... но молодые сердца не тягостятся этим чувством.

Музыка умолкла.

— Merci,— промолвила Одинцова, вставая.— Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!) и, подумав: «В это мгновение она уже забыла о моем существовании»,— почувствовал на душе какое-то изящное смирение...

— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок,— получил удовольствие? Мне сейчас рассказывал один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?

— Я этого определенья не совсем понимаю,— отвечал Аркадий.

— Вот еще! Какой невинный!

— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...

— В тихом омуте... ты знаешь! — подхватил Базаров.— Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

— Может быть,— пробормотал Аркадий,— я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица или «эманципé» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покорило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? — проговорил он вполголоса.

— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

— Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа,— говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова.— Чувствует мой нос, что тут что-то не ладно.

— Я тебе удивляюсь!— воскликнул Аркадий.— Как? Ты, ты, Базаров, придержишься той узкой морали, которую...

— Экой ты чудака!— небрежно перебил Базаров.— Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова осталась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» — подумал он и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошеч-

ное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х....., скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, — к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х.....ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслью увянуть в глуши... Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудака, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем, не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, — а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города ***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила даром, а из необходимости скрыть несчастные последствия.. «Вы понимаете чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду», — говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу,

что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости — и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Приятеля наконец поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошою улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергеевна, — воскликнул Аркадий, — я за особенное счастье почту...

— А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился — и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

— Ну? — говорил он ему на улице, — ты все того же мнения, что она — ой-ой-ой?

— А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: — Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

— Наши герцогини так по-русски не говорят, — заметил Аркадий.

— В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала

— А все-таки она прелесть, — промолвил Аркадий.

— Этакое богатое тело! — продолжал Базаров, — хоть сейчас в анатомический театр.

— Перестань, ради бога, Евгений! Это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, неженка. Сказано — первый сорт. Надо будет поехать к ней.

— Когда?

— Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда недалеко. Ведь это Никольское по***дороге?

— Да.

— Optime¹. Нечего мешкать; мешкают одни дураки — да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

— Поздравь меня, — воскликнул вдруг Базаров, — сегодня двадцать второе июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут, — прибавил он, понизив голос... — Ну, подождут, что за важность!

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недалеком расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью *al fresco*² над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилежали темные деревья старинного сада, аллея стриженных елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий,

¹ Превосходно (лат.).

² Фреской (итал.).

толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок: все было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

— Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса, — доложил дворецкий. — Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?

— Никаких приказаний не будет, почтеннейший, — ответил Базаров, — разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-с, — промолвил дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанр!¹ — заметил Базаров, — кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня, — возразил Аркадий, — с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

— Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..

— Как Сперанский, — прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы. — А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины — и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, сам, — шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил: — Аль удрать?» Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое баржевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово, — начала она, — погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсье Базаров, это все равно; но вы, мсье Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и все наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенною

¹ Высший, торжественный стиль (франц. *grand genre*).

отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смиренный стал», — думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

— Вот вам и моя Катя, — проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

— Это ты всё сама нарвала? — спросила Одинцова.

— Сама, — отвечала Катя.

— А тетушка придет к чаю?

— Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

— Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильич, — начала она. — Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

— О чем прикажете-с? — промолвил он.

— О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

— Вы?

— Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный; а для спора нужно увлечение.

— Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

— Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить, — извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного

смысла,—да во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

— Извините; как геолог, вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

— Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

— И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? — промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизила свое лицо к Базарову.— Как же вы это без него обходитесь?

— А на что он нужен, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

— Во-первых, на это существует жизненный опыт; а во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова — и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

— Деревья в лесу,— повторила она.— Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

— Нет, есть; как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне все едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бежали по углам.

— И вы полагаете,— промолвила Анна Сергеевна,— что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

— По крайней мере, при правильном устройстве общест-

ва совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию:

— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

— Я согласен с Евгением,— отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа,— промолвила Одинцова,— но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х.....я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седую накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на котором никто, кроме нее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтую шалью, покрывавшею почти все ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

— Как вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысив голос.

— Опять эта собака здесь,— проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: — Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон, в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти...

— Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова.— Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйста чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

— А что пишет кнесь Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «Для ради важности держат, потому что княжеское отродье»,— подумал Базаров... После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и все общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал

сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенный седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала все больше с Базаровым, спросила его — не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

— Берегитесь, — заметила Анна Сергеевна, — мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя, — прибавила она, — сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати слушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий, хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накопало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

— Что же вам сыграть?

— Что хотите, — равнодушно ответил Аркадий.

— Вы какую музыку больше любите? — повторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую, — тем же голосом ответил Аркадий.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, среди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее — сама ли она выбрала эту сонату или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случилось, она нескоро выходила наружу, самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что,

подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу¹, с благо-склонною улыбкой, гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

— Пойдемте гулять завтра поутру,— сказала она ему,— я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

— На что вам латинские названия? — спросил Базаров.

— Во всем нужен порядок,— отвечала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

— Да,— отвечал Базаров,— баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

— В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

— В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим именем отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та — тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видала в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не уступала и никуда не шла. Она многое ясно видала, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда

¹ Для вида (франц. *contenance* — осанка, вид).

они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если бы она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» — думала она, лежа в своей великолепной постели, на кружевных подушках, под легким шелковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его склонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась, наконец, когда он увидел ее — сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по саду несколько усталою походкой; щеки ее алели, и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел

сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» — Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй,— подумал Аркадий...— Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, все общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься», — уверял он: ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения вы правы — и, может быть, в этом случае я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет», — и продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что все в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться не бывавшая прежде тревога, он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало

ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня она не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает», — думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней sentimentальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внутреннее Базарову Одинцовой, — чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами. «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином

сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуй, что эти умные глаза с нежностью — да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он порастил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съёженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич,— начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде).— В город по господским делам ехали да про вашу милость услышали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври,— перебил его Базаров.— В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло, на родителей на ваших глядячи.

— Ну хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с,— со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она раздражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь,— начала она,— а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешать. Впрочем, вы можете прочесть *Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie*; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

— Что делать-с! — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно.— Базаров продолжал сидеть неподвижно.— Евгений Васильевич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется,— заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно,— повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

— И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробыет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного чистого воздуха.

— Спустите штору и сядьте,— промолвила Одинцова,— мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Все это несколько не занимательно,— произнес он вслух,— особенно для вас; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да,— промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало,— повторил Базаров.— Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова.— С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

— Это все равно,— пробормотал он,— я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне.

— Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй; но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись...— глухо промолвил Базаров.

— Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся штору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодой прекрасною женщиной...

— Куда вы? — медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустился на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом,— продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна.— А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу,— повторила Одинцова и вздохнула.— Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара,— прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела.— Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди, передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет,— промолвила с расстановкой Одинцова,— но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

— Вам хочется полюбить,— перебил Базаров,— а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастье.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почему это знаете?

— Понаслышке,— сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь,— подумал он,— ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом вы, может быть, слишком требовательны,— промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

— Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров,— это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так,— начала она,— как будто все это испытывали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это всё, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет,— заметила Одинцова. Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите,— шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто, поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графинем на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темною змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложишься? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл... — начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее... Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотри-

те, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— *Pelouse et Frémy, Notions générales...* — отвечал Базаров. — Впрочем, можно вам также порекомендовать *Canot, Traité élémentaire de physique expérimentale*. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку:

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

— Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастье». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Иль вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет», — возразил Базаров, — притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете?

— Как? я вас не понимаю.

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, — вам это самим известно, — что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

— Да чем же Аркадий...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бедна и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Все это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние...

— Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

— Да и, кроме того, — перебил Базаров, — что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет, — по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней... Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

— Происходит! — повторил Базаров, — точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе.

— Вы можете? — спросил Базаров.

— Могу, — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите, — продолжала она, — а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись даром, что мы будем хорошими

друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да,— повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиной.— Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич,— проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

— Вы меня не поняли,— прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли», — ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата,— промолвила она вслух,— но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидела себя в зеркале; ее назад закинута голо-

ва с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

«Нет,— решила она наконец,— бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленной: она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет... нет... нет...» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

— Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

— Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич,— отвечала Одинцова,— но я огорчена.

— Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

— Евгений Васильич, зачем вы...

— Зачем я уезжаю?

— Нет, я не то хотела сказать.

— Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог

остаться; но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека», — мелькнуло у ней в голове.

— Прощайте-с, — проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозревая Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственной ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать полчасом раньше обыкновенного.

— Я могу тебе теперь повторить, — говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, — то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного недовольства или невысказанных подозрений.

— Я завтра к батьке уезжаю,— проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

— А! — промолвил он.— И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

— Много будешь знать, состареешься.

— А как же Анна Сергеевна? — продолжал Аркадий.

— Что такое Анна Сергеевна?

— Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

— Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

— Евгений! — воскликнул вдруг Аркадий.

— Ну?

— Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

— Только я домой поеду,— продолжал Аркадий.— Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

— Я у вас свои вещи оставил,— отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? — подумал Аркадий.— В самом деле, зачем я еду и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло,— рассуждал он сам с собою,— зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? Я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это,— мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге-ге!.. — подумал про себя Аркадий, и тут только откры-

лась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.— Мы, стало быть, с тобою боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?»

— Да,— повторил угрюмо Базаров,— ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонимый заяц на опушке леса,— и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска,— прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию,— я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

— Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

— По откупам? — спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

— Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная,— пробормотал он,— и всем место будет.

— Не огорчайте мсье Ситникова отказом,— промолвила Анна Сергеевна...

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Как прикажете,— ответил Базаров.

— В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоянного двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

— Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

— Садись,— произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покати и скоро исчез из вида... Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» — потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день, у Кукшиной, сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

— Что, брат,— проговорил он наконец,— дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

— Желтый,— отвечал Аркадий.

— Ну да... вот и сигарка не вкусна. Расклеилась машина.

— Ты действительно изменился в это последнее время,— заметил Аркадий.

— Ничего! поправимся. Одно скучно — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить,— прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

— До твоего имения двадцать пять верст? — спросил Аркадий.

— Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает — версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

— Да, да,— заговорил Базаров,— урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

— Ты на что намекаешь? — спросил Аркадий.

— Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в

клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно ее победит.

— Я тебя не совсем понимаю,— промолвил Аркадий,— кажется, тебе не на что было пожаловаться.

— А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё...— Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал: — вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество — все равно что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчины некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты,— прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику,— ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Как не быть жене?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задержал вожжами.

— Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы все шутить...— Он, видимо, обиделся.

— Слышишь, Аркадий Николаич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась наконец небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенной крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья,— говорил один другому,— а хуже малого поросенка». — «А твоя жена — колдунья», — возражал другой.

— По непринужденности обращения, — заметил Аркадию Базаров, — и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он — узнаю его фигуру. Эге, ге! как он, однако, поседел, бедняга!

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопыбив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

— Наконец пожаловал,— проговорил отец Базарова, все продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами.— Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... «Енюшка, Енюша»,— раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и все замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипывания.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

— Ну, полно, полно, Ариша! Перестань,— заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся.— Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

— Ах, Василий Иванович,— пролепетала старушка,— в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку...— И, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

— Ну да, конечно, это все в натуре вещей,— промолвил Василий Иванович,— только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините,— прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой,— вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери...

А у самого и губы и брови дергало и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

— Пойдемте, матушка, в самом деле,— промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

— Душевно рад знакомству,— проговорил Василий Иванович,— только уж вы не взыщите: у меня здесь все по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

— Батюшка,— сквозь слезы проговорила старушка,— имени и отчества не имею чести знать...

— Аркадий Николаич,— с важностью, вполголоса, подсказал Василий Иванович.

— Извините меня, глупую.— Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого.— Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го...о...о...лубчика.

— А вот и дождалась, сударыня,— подхватил Василий Иванович.— Танюшка,— обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери,— принеси барыне стакан воды,— на подносе, слышишь?.. а вас, господа,— прибавил он с какою-то старомодною игривостью,— позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

— Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка,— просто-нала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней.— Да какой же ты красавчик стал!

— Ну, красавчик не красавчик,— заметил Василий Иванович,— а мужчина, как говорится: *оммфе*¹. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

— Сию минуту, Василий Иванович, стол накрыт будет, сама в кухню сбегая и самовар поставить велю, все будет, все. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяйюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос?.. Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились

¹ Настоящий мужчина (*франц. homme fait*).

книги, коробочки, птичьи чучела, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

— Я вас предупредил, любезный мой посетитель,— начал Василий Иванович,— что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

— Да перестань, что ты извиняешься? — перебил Базаров.— Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос?

— Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комнатка: им там очень хорошо будет.

— Так у тебя и флигелек завелся?

— Как же-с; где баня-с,— вмешался Тимофеич.

— То есть рядом с баней,— поспешно присовокупил Василий Иванович.— Теперь же лето... Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставляю мой кабинет. *Suum cuique*¹.

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший,— прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел.— Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина,— заметил Аркадий.

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

— Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли,— промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

— И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

— Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий.

— Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

— И все двадцать две,— с неудовольствием заметил Тимофеич.

Послышалось шлепанье туфель, и снова появился Василий Иванович.

— Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас,— воскликнул он с торжественностью,— Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга,— прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко стриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах.— Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

— Я курю больше сигары,— ответил Аркадий.

¹ Всякому свое (лат.).

— И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс¹ сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебе лазаря петь,— перебил опять Базаров.— Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и уже, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностью.

— «Лазаря петь»! — повторил Василий Иванович.— Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере, я стараюсь, по возможности, не зарости, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

— Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя жертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

— Да; вот я вижу у тебя — «Друг здоровья» на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год,— заметил Базаров.

— Мне его по знакомству старый товарищ высылает,— поспешно проговорил Василий Иванович,— но мы, например, и о френологии имеем понятие,— прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники,— нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Радемахер.

— А в Радемахера еще верят в *** губернии? — спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

— В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

¹ Здесь: предпочтение (франц. *préférence*).

— Скажу тебе в утешение,— промолвил Базаров,— что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

— Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, может быть, может быть — спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*¹; теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил,— обратился он опять к Аркадию,— да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

— Сознайся, дубина была порядочная,— лениво промолвил Базаров.

— Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

— Ну, брось его,— перебил Базаров.— Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

Василий Иванович оживился:

— А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельский святую правду изрек: *in herbis, verbis et lapidibus*...² Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом — нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии... Ха-ха, из филантропии! а? каково! Ха-ха! ха-ха!

— Федька! набей мне трубку! — сурово проговорил Базаров.

— А то здесь другой доктор приезжает к больному,— продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович,— а больной уже *ad patres*³; человек и не пускает доктора, говорит: теперь

¹ Вот и всё (франц. *voilà tout*).

² В травах, словах и камнях... (лат.)

³ Отправился к праотцам (лат.).

больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» — «Икали-с». — «И много икал?» — «Много». — «А, ну — это хорошо», — да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа. Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся:

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленой веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещивать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и все вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить она его боялась. «Ну как скажет на два дня», — думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полбутылкой шампанского. «Вот, — воскликнул он, — хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий,

не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отвесть от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотой вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

— На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустынножику. А там, подалее, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.

— Что за деревья? — спросил, вслушиваясь, Базаров.

— А как же... акации.

Базаров начал зевать.

— Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею, — заметил Василий Иванович.

— То есть пора спать! — подхватил Базаров. — Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иванович проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой, Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став как вкопанная перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шепотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресенье на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что черт любит быть

там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и черных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи; а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболела голова; не прочла ни одной книги, кроме *Алексиса, или Хижины в лесу*, писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить, — а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови все выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул.

— Здравия желаем! Как почивать изволили?

— Прекрасно, — отвечал Аркадий.

— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время, — да

и слава богу! — что каждый должен собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это по-ихнему, а по-нашему — дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Все это я делаю *gratis*¹ — *анаматёр*². Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, *homo novus*³ — не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову. — Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

— Помилуйте, — возопил Аркадий, — какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

— Позвольте, позвольте, — возразил с любезной ужимкой Василий Иванович. — Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать, — вы давно с моим Евгением знакомы?

— С нынешней зимы.

— Так-с. И позвольте вас еще спросить, — но не присесть ли нам? — Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался, — с живостью ответил Аркадий.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

— Итак, вы полагаете... — начал он.

— Я уверен, — подхватил Аркадий, — что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

¹ Бесплатно (лат.).

² Даром (лат.), по-любительски (франц. *en amateur*).

³ Новый человек (лат.).

— Как... как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

— Вы хотите знать, как мы встретились?

— Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с большим жаром, с большим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и наконец не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили, — промолвил он, не переставая улыбаться, — я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! но я не смею при нем выказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излишней; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

— Он бескорыстный, честный человек, — заметил Аркадий.

— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и все мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — Голос старика прервался.

Аркадий стиснул ему руку.

— Как вы думаете, — спросил Василий Иванович после некоторого молчания, — ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

— На каком же, Аркадий Николаич?

— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.

— Арина Власьевна приказали просить чай кушать, — проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

— А холодные сливки к малине будут?

— Будут-с.

— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

— Я здесь,— раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал *amice*¹, и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

— То есть желтухой?

— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это всё *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим.

На ра... на ра... на радости пожить!

— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Все молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Аркадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина,— заговорил Базаров,— напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует

— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.

— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всё по городам шлялись.

— А дом этот давно стоит?

— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

— Кто он был, твой дед?

¹ Дружище (лат.).

— Черт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

— Лампадным маслом отзывает да донником,— произнес, зевая, Базаров.— А что мух в этих милых домиках... Фа!

— Скажи,— начал Аркадий после небольшого молчания,— тебя в детстве не притесняли?

— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

— Ты их любишь, Евгений?

— Люблю, Аркадий!

— Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чем?

— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!

— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

— Ты прав,— подхватил Базаров.— Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

— Я помню всё, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.— Он повернулся на бок.— Эге! вон молодец

муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову:

— Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля лежали некоторое время в молчании.

— Да,— начал Базаров,— странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолевает. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно,— произнес задумчиво Аркадий.

— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дразги, дразги, это беда.

— Дразги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

— Гм... это ты сказал *противоположное общее место*.

— Что? Что ты называешь этим именем?

— А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это *противоположное общее место*. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.

— Да правда-то где, на какой стороне?

— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

— В таком случае не худо вздремнуть,— заметил Аркадий.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

— А тебе не все равно, что о тебе думают?

— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

— Странно! я никого не ненавижу,— промолвил, подумавши, Аркадий.

— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...

— А ты,— перебил Аркадий,— на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,— проговорил он с расстановкой,— тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Всё от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Еще бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров.— Нет, брат! Решился все косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал,— промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета, наконец!

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием,— ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.

— О, друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно, намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует, — идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, — это выше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой — и не гений... возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, — возразил запальчиво Аркадий. — Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нем.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, — преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

— Ах, Аркадий! Сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

— Что подеремся? — подхватил Базаров. — Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение

голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенной, тоже домоделанною, шляпой на голове.— Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!

— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.

— Ну, полно,— шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку.— Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

— Смотрю я на вас, мои юные собеседники,— говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника,— смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс!

— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров.— Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

— Диоскуры, Диоскуры! — повторил Василий Иванович.

— Однако полно, отец, не нежничай.

— В кои-то веки разик можно,— пробормотал старик.— Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

— Поп?

— Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна... Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

— Помилуй, что ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

— Я был наперед уверен,— промолвил он,— что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть и даже... но это между нами... трубочку курит.

— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

— А что? Разве стариной трянешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

— Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

— Нисколько,— ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено

— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои,— начал он,— мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава богу.— Он вздохнул.— Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

— За который ты получил Владимира? — подхватил Базаров.— Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков,— пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы.— А ведь он заснул,— шепнул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув.— Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъятием удовольств-

вия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович при-советовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники», — твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственной персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

— Что, — спросила она, погода немного, — не помогло?

— Еще хуже пошло, — отвечал он с небрежною усмешкой.

— Очинно они уже рискуют, — как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.

— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское, — подхватил Василий Иванович и пошел с туза.

— Оно же и довело его до острова святых Елены, — промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.

— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.

Базаров только плечами пожал.

— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию, — уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запирается. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, — промолвил Аркадий, — да и он тоже.

— Я к ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.

— Верно, обо мне все распространялась?

— Не о тебе одном была речь.

— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.

— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они всё рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.

— Нелегко. Черт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да, не гляди на меня с таким ужасом, — очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

— Да... чуть было не забыл тебе сказать... Велика завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

— Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

— Ты уезжаешь?

— Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

— Хорошо... — залепетал старик, — на подставу... хорошо... только... только... Как же это?

— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время... Хорошо. — Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. — Что ж? это... все будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

— Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела

комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило... не надо стесняться... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

— Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.

— Я, матушка!

— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных, — продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладала бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись, — и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме, — Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас, — залепетал он, — бросил; скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и,

прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

— Евгений, — спросил он, — налево?

Базаров отвернулся.

— Это что за глупость? — пробормотал он.

— Я знаю, что глупость, — ответил Аркадий. — Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

— Как знаешь, — проговорил он наконец.

— Пошёл налево! — крикнул Аркадий.

Тарантас покати в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость*, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своею любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше, в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездорово-

вилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он, по крайней мере, столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

— На меня теперь нашла хандра, — сказала она, — но вы не обращайтесь на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и все глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он все смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи все еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток, лошади заболели; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого раза испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду

пошла с головешкой окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше все спал. Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и все вдруг поднималось на ноги, как по команде, все сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг попеременно с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет грозитя и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович. — Самому драться невозможно, посылать за становым — не позволяют принципы а без страха наказания ничего не поделаешь!

— *Du calme, du calme*¹, — замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и все возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностью если не помогать отцу, то, по крайней мере, показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет, не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем

¹ Спокойно, спокойно (франц.).

отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым,— и еще под каким! — под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю,— беспрестанно шептал он,— сама прибавила. Поеду, поеду, черт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастье, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства — одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоня ямщика, несясь он туда, как молодой офицер на сражение: и страшно ему было, и весело, нетерпение его душило. «Главное, не надо думать»,— твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?», но зато, чкнувши, не жалел лошадей. Вот наконец показалась высокая крыша знакомого дома... «Что я делаю? — мелькнуло вдруг в голове Аркадия.— Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженных елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить раскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! — промолвила она, и понемножку вся покраснела,— пойдете к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Все так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

— Я вам, Анна Сергеевна, — начал он, — привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с нигилистом по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодной вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я, по крайней мере, не имею чести вас понимать.

— Еще бы! — воскликнул Базаров. — Человек все в состоянии понять — и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову

нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьино. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» — отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?» Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не заходил, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить его — купать ли ей Митю, или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный, и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком, и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем сьюте, с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст», — жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался жестоким тираном ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Все к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одета в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во все ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили

на колени. Она едва ходила и все охала да жаловалась с забавным бессилием.

— Ты бы чаще купалась,— говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

— Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назад пойдешь — умрешь. Ведь тени-то в саду нету.

— Это точно, что тени нету,— отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

— А! Евгений Васильевич! — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тут делаете? — промолвил Базаров, сядя подле нее.— Букет вяжете?

— Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

— Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

— Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать.— Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов.— Сто лет проживете,— промолвил он, выпуская ее руку.

— Ах, сохрани бог! — воскликнула она.

— А что? Разве вам не хочется долго пожить?

— Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет — так уж что это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, все кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

— Так лучше быть молодою?

— А то как же?

— Да чем же оно лучше? Скажите мне!

— Как чем? Да вот я теперь, молодая, все могу сделать — и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

— А вот мне все равно: молод ли я или стар.

— Как это вы говорите — все равно? Это невозможно, что вы говорите.

— Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

— Это от вас всегда зависит.

— То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

— Это что у вас за книга? — спросила она, погода немного.

— Это-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы всё учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, всё знаете.

— Видно, не всё. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? — спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том. — Какая толстая!

— Русская.

— Все равно я ничего не пойму.

— Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте», засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смеетесь, — промолвил Базаров.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.

— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цветам. — И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

— Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

— Ну, вот еще что выдумали! — шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

— Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

— Лекарская? — повторила Фенечка и повернулась к нему. — А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему надо лекарям платить, — заметил с усмешкой Базаров. — Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала, — шутит ли он или нет.

— Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

— Да вы думаете, я денег хочу? — перебил ее Базаров. — Нет, мне от вас не деньги нужны

— Что же? — проговорила Фенечка.

— Что? — повторил Базаров. — Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула — до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенной. Базаров пристально смотрел на нее.

— Извольте, извольте, — промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы. — Какую вам, красную или белую?

— Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

— Вот возьмите, — сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

— Что такое? — спросил Базаров. — Николай Петрович?

— Нет... Они в поле уехали... да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

— Что?

— Мне показалось, что они тут ходят. Нет... никого нет. Возьмите. — Фенечка отдала Базарову розу.

— С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня всё пугают. Говорить — не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы всё с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет, а вижу, что вы его и так вертите, и так...

Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

— А если б он меня побеждать стал, — спросил он, — вы бы за меня заступились?

— Где ж мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

— Какая такая рука?

— А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

— Пойдите, я хочу понюхать с вами, — промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какою-то злобною унылостью: «Вы здесь»,— удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки. «Грешно вам, Евгений Васильевич»,— шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шепоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из сада и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи,— спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях,— начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости),— но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

— Все мое время к вашим услугам,— ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение,— сказал он.— С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это все равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы мог объяснить вам причину,— начал Павел Петрович.— Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с,— проговорил он.— Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан,— ответил Павел Петрович,— и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров.— Это совершенно справедливо. Вам несколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно,— промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол.— Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет,— ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах...

— В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь,— заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен,— промолвил Базаров.— Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избежать этого грустного нареkania. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*¹.

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить,— произнес, вставая со стула, Павел Петрович.— Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, все устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой,— промолвил Базаров, провожая гостя.

¹ Как подобает (*франц. comme il faut*).

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, черт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня,— думал он,— но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец,— скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьяча, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да разорвал его и бросил под стол. «Умру,— подумал он,— узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду».

Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная, темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался на смерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем,— прибавил он,— подумай, какая предстоит тебе важная

роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьино огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно поглядывал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал,— подумал Базаров,— да, по крайней мере, за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с,— шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать,— промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта.— Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с,— ответил Базаров,— мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом.— Никого не видать, никто не помешает... Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать? — спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее,— прибавил Базаров с усмешкой.— Раз, два, три...

— Евгений Васильич,— с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке),— воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь... — Базаров остановился.— Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу,— или еще два шага накинуть?

— Как угодно,— проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинем еще два шага.— Базаров провел носком сапога черту по земле.— Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов

каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять,— ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета.— Соболаговолите выбрать.

— Соболаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только на физиономию нашего секунданта.

— Вам все желательно шутить,— ответил Павел Петрович.— Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. *A bon entendeur, salut!*¹

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить *utile dulci*?² Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно,— повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит,— подумал Базаров,— и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего»,— успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру,— проговорил Павел Петрович,— а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза,— отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть.— Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Все это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи,— промолвил с расстановкой Павел Петрович,— и... надо... опять...—

¹ Имеющий уши да слышит! (франц.)

² Полезное с приятным? лат.)

Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву. — Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны... — Кость цела, — бормотал он сквозь зубы, — пуля прошла неглубоко насквозь, один мускул, *vastus externus*, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая.

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорей, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственной улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, черт! — крикнул Базаров.

— Не нужно... это был минутный *vertige*...¹ Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем, — возразил Базаров, — а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а все лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай, — сказал ему Павел Петрович, — не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет, по крайней мере, здесь торчать, — успокаивал он себя, — и на том спасибо» Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Другим это

¹ Головокружение (франц.)

сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объяснить, ни разойтись.

— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно, — отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо, — промолвил Базаров. — Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что́ думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

— Кто ж его знает! — ответил Базаров, — всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидел бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом. — Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

— Ничего, — отвечал Павел Петрович, — напрасно тебя тревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым, и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего все вышло, ради бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помогите мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади...

— Я должен вас просить заняться братом, — сказал ему Николай Петрович, — пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постели с искусно

забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала.) Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!» — но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «*Couchez-vous*»¹, и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгиней Р... Особенно в верхней части лица. *C'est de la même famille*².

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло», — подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову. — Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться... — лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он

¹ «Ложитесь» (франц.).

² В том же роде (франц.).

успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избежать этого поединка, который... который... до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

— Я вам оставляю свой адрес на случай, если выйдет история, — заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Аркадий...

— Я, должно быть, с ним увижусь, — возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство, — в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу... — ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! — сказал он про себя... — Ну, выдержится как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?» — а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и, когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», — плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему полежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо, только уж очень возился с

туалетом и всё приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку; но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиной, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

— Куда вы так спешите, Федосья Николавна? — начал он. — Разве у вас дело есть?

— Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

— Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

— Послушайте, — промолвил Павел Петрович и подергал свои усы, — я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

— Я-с?..

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всем сердцем?

— Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

— Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее...) Вы знаете — большой грех лгать!

— Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

— И ни на кого вы его не променяете?

— На кого ж могу я его променять?

— Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

— Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

— Фенечка, — промолвил печальным голосом Павел Петрович, — ведь я видел...

— Что вы видели-с?

— Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

— А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

— Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду! — проговорила с внезапной силой Фенечка, между тем как рыдания так и поднимали ее горло, — а что вы видели, так я на Страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

— Фенечка! — сказал он каким-то чудным шепотом, — любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что случилось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! — подумала она, — уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница закрипела под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь го-

лыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвинив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

— Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

— Нет... так... ничего... Напротив, мне гораздо лучше.

— Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь. — Я было принес показать тебе моего богатыря; он соскучился по своему дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

— Брат, — повторил Павел Петрович, — дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе... Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

— Что ты хочешь сказать, Павел?

— Женись на Фенечке... Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

— Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае, — возразил с унылою улыбкой Павел Петрович. — Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смиренные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

— Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он. —

Я не даром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.

— Тише, тише,— перебил его Павел Петрович.— Не разбреди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею... *belle-soeur*¹.

— Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

— Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его принципах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты *au dix-neuvième siècle*?²

— Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович.

— К чему спешить? — возразил Николай Петрович.— Разве у вас был разговор?

— Разговор, у нас? *Quelle idée!*³

— Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить...

— Но ведь ты решился?

— Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставляю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно... Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один.— Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием: на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полужкой».

¹ Свояченицей (франц.).

² В девятнадцатом веке? (франц.)

³ Что за мысль! (франц.)

И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение; каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей.

— Не находите ли вы,— начал Аркадий,— что ясень по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и ясно не сквозит, на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь».

— Я не люблю Гейне,— заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках,— ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

— А мне нравится, когда он смеется,— заметил Аркадий.

— Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления... («Старые следы! — подумал Аркадий.— Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

— Кто меня переделает? Вы?

— Кто? — Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

— Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

— Сестра находилась тогда под его влиянием, так же как и вы.

— Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

— Я знаю,— продолжал Аркадий,— он вам никогда не нравился.

— Я не могу судить о нем.

— Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю... Нет такого человека, о

котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой...

— Это почему?

— Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

— Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это в сущности обидно.

— Разве вы хотели бы быть хищным?

— Хищным нет, но сильным, энергичным.

— Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

— Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

— Да. Но над ней никто долго взять верх не может,— прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда... я не то хотела сказать... она очень дорожит своею независимостью.

— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?» — «На что она?» — мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом:

— Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь.

— Кого?

— Ее,— значительно повторил Аркадий.

— А вы? — в свою очередь, спросила Катя.

— И я; заметьте, я сказал: и я.

Катя погрозила ему пальцем.

— Это меня удивляет,— начала она,— никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

— Вот как!

— А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

— Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

— И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.

— Это почему?

— Не скажу.

— О! я знаю: вы очень упрямы.

— Упряма.

— И наблюдательны.

Катя посмотрела сбоку на Аркадия.

— Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?

— Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь...

— Я много жила одна: поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?

Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.

— Все это прекрасно,— продолжал он,— но люди в вашем положении, я хочу сказать с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.

— Да ведь я не богатая.

Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то все сестрино!» — пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.

— Как вы это хорошо сказали! — промолвил он.

— А что?

— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.

— Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.

— Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.

— Например?

— Например, ведь вы,— извините мой вопрос,— вы бы не пошли замуж за богатого человека?

— Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла.

— А! вот видите! — воскликнул Аркадий и, погодя немного, прибавил: — А отчего бы вы за него не пошли?

— Оттого, что и в песне про нерóвнюшку поется.

— Вы, может быть, хотите властвовать или...

— О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование... Нет, довольно и так.

— Довольно и так,— повторил за Катей Аркадий.— Да, да,— продолжал он,— вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято...

— Да как же иначе? — спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней...

— Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста, — поспешно перебила Катя, — это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

— Что значит это: вам в особенности, — и из чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убежден в том, что я говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я вас не понимаю.

— В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

— Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

— Катерина Сергеевна! — заговорил вдруг Аркадий, — вам это, вероятно, все равно: но знайте, что я вас не только на вашу сестру, — ни на кого на свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

— Ты одна? — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. — Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу, — отвечала та со смехом, — он, стало быть, ушел к себе?

— Да.

— Вы вместе читали?

— Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

— Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет, — сказала Катя и тихо отвела сестрину руку

— Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольна этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже — только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки,— думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы,— прелестные ножки, говорите вы... Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

— Евгений! — пробормотал почти с испугом Аркадий, — давно ли он приехал?

— Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

— Вот неожиданно! Какими судьбами! — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. — Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

— Все у вас благополучно, но не все здоровы, — проговорил Базаров. — А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? и, получив ответ, что она — самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

— Да, брат, — промолвил он, — вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам», — так

заклучил Базаров,— и на дороге завернул сюда.. чтобы все это передать, сказал бы я, если б не почитал бесполезную ложь — глупостью. Нет, я завернул сюда — черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях... Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту грядку, где я сидел.

— Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся,— возразил с волнением Аркадий,— я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

— Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

— Какие мои дела с Анной Сергеевной?

— Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы? Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

— Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово,— заметил вполголоса Базаров.— Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

— Евгений...

— Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

— Помилуйте, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

— Ну, в этом ты ошибаешься.

— А я, напротив, уверен, что я прав,— возразил Аркадий.— И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

— Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

— Анна Сергеевна, — поторопился сказать Базаров, — прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, — сказала она, — тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напускное.

— В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров; они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и по-давно. Но беседа у них завязалась такая, как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых? Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал.

— А я, — промолвила Анна Сергеевна, — сперва хандрила, бог знает отчего, даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

— В какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

— Он все так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.

— А разве... — начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: — Теперь он доверчивее стал, говорит со

мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» — подумал он.

— Вы говорите, он избегал вас, — произнес он с холодною усмешкой, — но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

— Как? и он? — сорвалось у Анны Сергеевны.

— И он, — повторил Базаров с смиренным поклоном. — Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгений Васильевич.

— Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. «А ты вперед не хитри», — прибавил он про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

— Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеяннo и предложила ему наконец перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» — спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение

вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или галереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи должны были изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошной зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас, и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

— Катерина Сергеевна, — заговорил он с какою-то застенчивою развязностью, — с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня... вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, — прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати. — Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого, — вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменой.

— Я?.. Мне?.. — проговорила Катя.

— Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал,— продолжал Аркадий,— недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам... Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

— Я полагаю,— заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку,— я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми, а потому я... я намерен...

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю вас,— начал Аркадий, снова собравшись с силами,— тем более что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте,— до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности,— продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться,— этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности... («Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться...

— Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите,— раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

— Вот видите ли,— продолжала Анна Сергеевна,— мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба,— к чему церемониться? — умны: сначала мы интересовали друг друга, любопытство было возбуждено... а потом...

— А потом я выдохся,— подхватил Базаров.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было... как бы это сказать... однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...

— Вы в нем нуждаетесь? — спросил Базаров.

— Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он равнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...

— Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях, — перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. — Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре... Это симптом важный.

— Он с Катей совсем как брат, — промолвила Анна Сергеевна, — и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

— Это в вас говорит... сестра? — произнес протяжно Базаров.

— Разумеется... Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что, в сущности, вы очень добры.

— Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр... Это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

— Евгений Васильич, мы не властны... — начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листьями и унес ее слова.

— Ведь вы свободны, — произнес немного погодя Базаров.

Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... все затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергеевна, — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, — я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы... Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что все другое — поймите меня, — все, все другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово.. Я люблю... я люблю вас... поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

— Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите... Или... или... я не смею докончить...

— Да,— повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

— Вот как,— проговорил он,— а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

— Что вы мне посоветуете? — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

— Да, я полагаю,— ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей,— я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошла по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

— Вы думаете? — промолвила она.— Что ж? я не вижу препятствий... Я рада за Катю... и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди... Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.

— Нынешняя молодежь больно хитра стала,— заметил Базаров и тоже засмеялся.— Прощайте,— заговорил он опять после небольшого молчания.— Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

— Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Оставайтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Оставайтесь.

— Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуться в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» — подумала она — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

— Нет! — сказал он и отступил на шаг назад. — Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

— Я убеждена, что мы не в последний раз видимся, — произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

— Чего на свете не бывает! — ответил Базаров, поклонился и вышел.

— Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. — Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого оγοшило?

— Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою, — ответил Аркадий, — но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

— Эх, друг любезный! — проговорил Базаров, — как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только оттого и слывет умною, что умно вздыхает, а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет, — ну, да это так и следует. — Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. — А теперь повторяю тебе на прощанье... потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не дере-

тесь — и уж воображаете себя молодцами, — а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любишься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич, — э волату, как выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений? — печально промолвил Аркадий, — и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

— Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм, — это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился... Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров. — Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе! изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров, — подумала она, — любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм...»

— Дети! — промолвила она громко, — что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей нетрудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал без всякого шума.

— Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина,— сказал ему Базаров,— я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя,— говорил он ей,— в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» — бывало, скажет она, — а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так», — а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» — «Да что ж ты у него сама не спросила?» — «А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираяться: лихорадка работы с него соскочила и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталось замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает,— жаловался он втихомолку жене,— он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен —

вот что ужасно. Все молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший». — «Господи, господи! — шептала старушка, — надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты все около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней». — «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приходит, сердце чувствует любовь...* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, — говорил он ему, — излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории, — вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы можем... тоже, потому, значит... какой положон у нас, примерно, придел». — «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров, — и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, — успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик, — а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым. — О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость, — так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом

Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел наконец себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, все твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге. — Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да, — говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку Гулярдовой воды или банку беленной мази, — ты, голубушка, должна ежеминутно бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила, у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил наконец отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъясил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи

медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого бога,— промолвил Василий Иванович,— позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно...— едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! С тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты,— промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспо-

коиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, все скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он все посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение. — Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетита нету? А голова? — прибавил он робким голосом, — болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений, — продолжал Василий Иванович, — но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял, — промолвила Арина Власьевна.

— Простудился, — повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чая из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампы бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратно глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше», — и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусил губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Все в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то

горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина,— начал Базаров сиплым и медленным голосом,— дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он,— что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно,— не спеша перебил его Базаров.— Врачу не позволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?.. помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,— сказал он наконец,— положим... Если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии,— подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии.

— *Пиэмии*,— сурово и отчетливо повторил Базаров.— Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу.— Он отпил еще немного воды.— А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не

совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу,— подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаевич? — проговорил Базаров как бы в раздумье.— Ах, да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! Хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он, — наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила,— промолвил он,— вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот, по крайней мере, успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он, походя немного.— Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стойком, что ли? Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ. — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравках. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить,— шептал он, сжимая кулаки,— что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычешь десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание»,— говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки.

Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчало. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава богу! — твердил он. — Наступил кризис... прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров. — Слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Bravo! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему, — промолвил он, — кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует, — отвечал Василий Иванович.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле База-

рова. Казалось, какая-то особенная му́ка терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений, — продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. — Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь, но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец, — но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспмятных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно замечен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже слышалось фыркание лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не давая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

— Я Одинцова, — промолвила она. — Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торо-

паясь из кареты.— Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала как безумная целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— *Wo ist der Kranke?*¹ И где же есть пациент? — проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

— Здесь, здесь, пожалуйста за мной, *wertester herr kollega*², — прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, — сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына, — и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами.

— Она здесь... я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца.

— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: *jam moritur*³.

— *Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein*⁴, — начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их... habe...*⁵ Говорите уж лучше по-русски, — промолвил старик.

— А, а! так это фот как это... Пошалуй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

¹ Где больной? (нем.)

² Уважаемый коллега (нем. *wertester Herr Kollega*).

³ Уже умирает (лат.).

⁴ Сударь, по-видимому, владеет немецким языком (нем.).

⁵ Я... имею... (нем. *ich habe*).

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сзеринула у ней в голове.

— Спасибо, — усиленно заговорил он, — я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра... — начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо, — повторил Базаров. — Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильевич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить! (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что — какая вы славная! И теперь вот стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он. — Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете, — начал он опять, — мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуберяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкай-

те. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь. Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте,— проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском.— Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложила губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустился на подушку.— Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович.

— Он заснул,— отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу,— хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то,— и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так,— рассказывала потом в людской Анфисушка,— рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым...

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и

хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностью накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошело и возмужало; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шелковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она сидела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностью, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

— Ты нас покидаешь... ты нас покидаешь, милый брат, — начал он, — конечно, ненадолго; но все же я не могу не выразить тебе, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить речи! Аркадий, скажи ты.

— Нет, папаша, я не приготавливался.

— А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте

счастливы, друзья мои! Farewell!¹» Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

— В память Базарова,— шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова,— человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви. Княжна Х.....я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о *мунципации* (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту *мунципацию*». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегают молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю*: *тюпюрь*, *обюспючюн*, но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших

¹ Прощайте! (англ.)

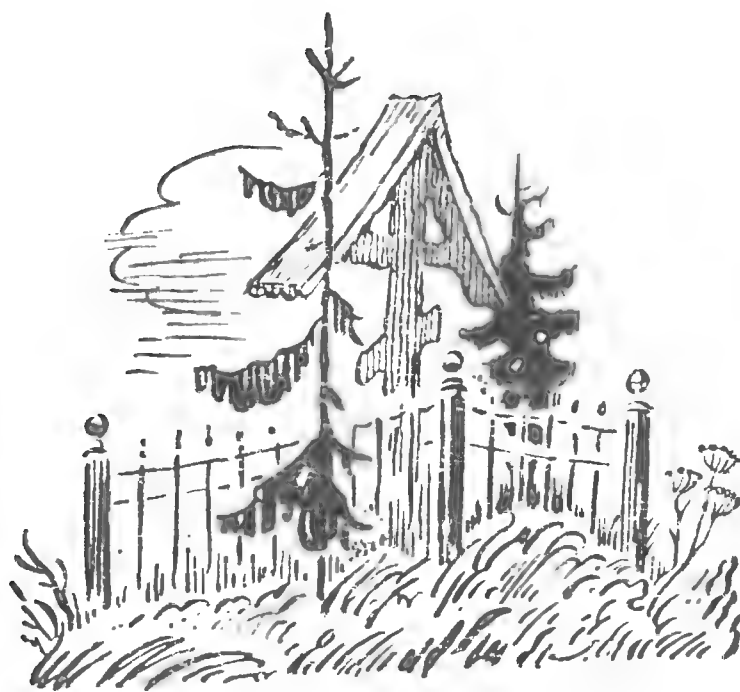
слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «a perfect gentleman». С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но все это выходит у него очень мило, и небрежно и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *trés distingue*¹. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу*, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff*². Он все делает добро, сколько может; он все еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает... Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься...

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором.

¹ Весьма почтенным (франц.).

² Господин барон фон Кирсанов (нем.).

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ошипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...



Н. С. ЛЕСКОВ



Леди МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА
Очарованный СТРАННИК
Повести,

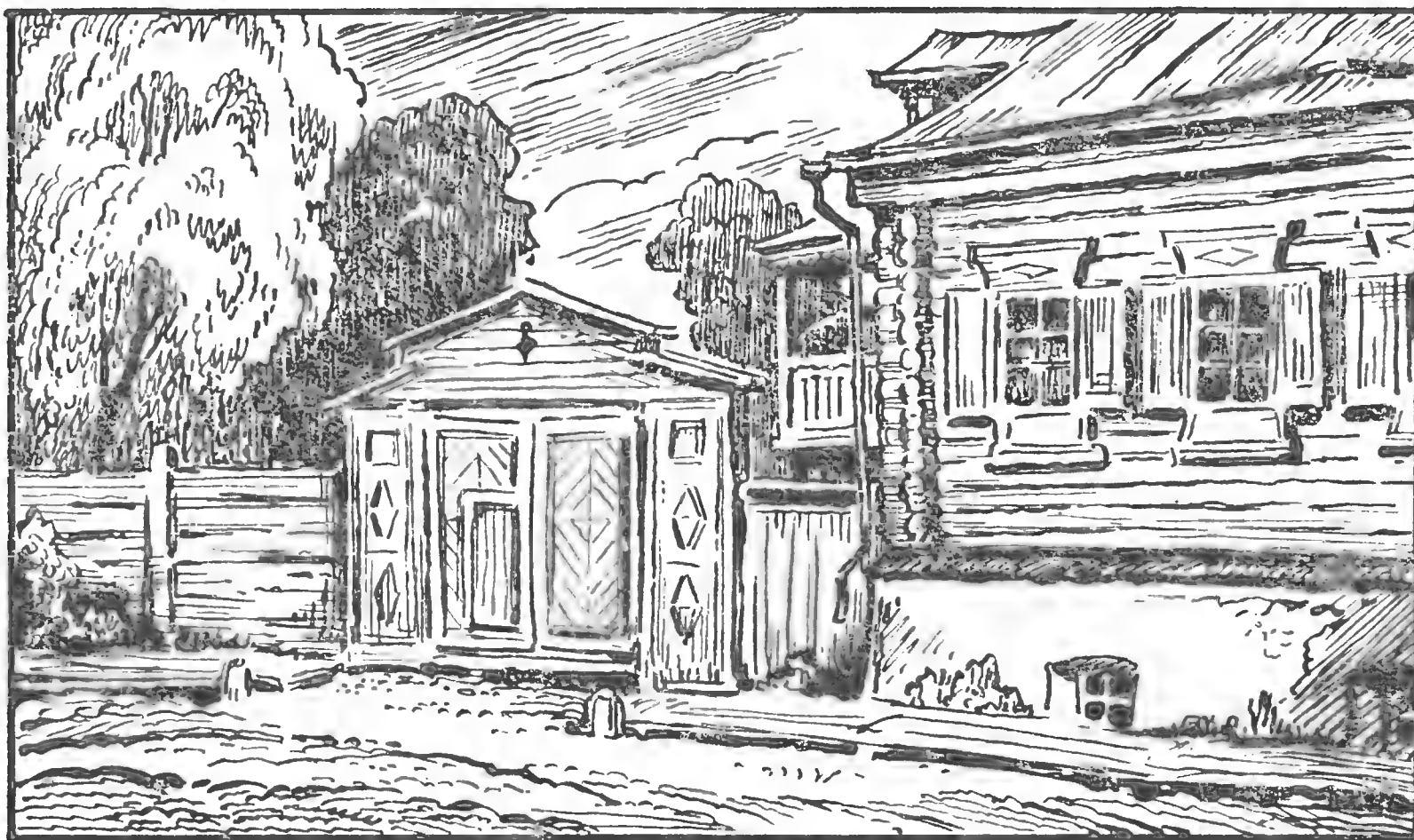


ЛЕВША
Путейный ХУДОЖНИК
Рассказы

Текст печатается по изданию:

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений в одиннадцати томах,
«Художественная литература», М., 1956



ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

О черк

Первую песенку зардевшись спеть.

Поговорка

Глава первая

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *леди Макбет Мценского уезда*.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высо-

кий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уж лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое — и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, нерóдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампы сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую

опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пенку вешают или крупчатку ссыпают,— опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется — опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, окромя киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

Глава вторая

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Сигнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него по крайней мере одним командиром над ней стало меньше.

Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думая, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? — подумала Катерина Львовна.— Сем-ну я хоть встану, по двору погуляю или в сад пройду».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

— Чего это вы так радуетесь? — спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

— А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали,— отвечал ей старый приказчик.

— Какую свинью?

— А вот свинью Аксиною, что родила сына Василья да не

позвала нас на крестины,— смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксины.

— Черти, дьяволы гладкие,— ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

— Восемь пудов до обеда тянет, а пихтёр сена съест, так и гирь не останется,— опять объяснял красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

— Ну-ка, а сколько во мне будет? — пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

— Три пуда семь фунтов,— отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму.— Диковина!

— Чему ж ты дивишься?

— Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо — и то не уморишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

— Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь,— ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

— Ни боже мой! В Аравию счастливую занес бы,— отвечал ей Сергей на ее замечание.

— Не так ты, молодец, рассуждаешь,— говорил ссыпавший мужичок.— Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет — не тело!

— Да, я в девках страсть сильна была,— сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна.— Меня даже мужчина не всякий одолевал.

— А ну-с, позвольте ручку, если так это правда,— попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

— Ой, пусти кольцо: больно! — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

— Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина,— удивился мужичок.

— Нет, а вы позвольте так взяться, на-борки,— относился, раскидывая кудри, Серега.

— Ну, берись,— ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевелинула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своею хваленою силою. Красная-раскрасная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

— Ну, вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребля не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что́ сейчас было.

— Девичур этот проклятый Сережка! — рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Акси́нья. — Всем вор взял — что ростом, что лицом, что красотой. Какую ты хочешь женчину, сейчас он ее, подлец, улестит, и улестит и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

— А ты, Акси́нья... того,— говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка,— мальчик-то твой у тебя жив?

— Жив, матушка, жив — что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

— И откуда это он у тебя?

— И-и! так, гулевой — на народе ведь живешь-то — гулевой.

— Давно он у нас, этот молодец?

— Кто это? Сергей-то, что ли?

— Да.

— С месяц будет. У Копчиновых допреж служил, так прогнал его хозяин. — Акси́нья понизила голос и досказала: — Сказывают, с самой с хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанакфемская его душа, какой смелый!

Глава третья

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с поспрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерела, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сарай, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по

двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

— Здравствуй,— тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

— Сударыня! — произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

— Кто это? — испугавшись, спросила Катерина Львовна.

— Не извольте пугаться: это я, Сергей,— отвечал приказчик.

— Что тебе, Сергей, нужно?

— Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуту.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

— Что тебе? — спросила она, сама отходя к окошку.

— Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

— У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их,— отвечала Катерина Львовна.

— Такая скука,— жаловался Сергей.

— Чего тебе скучать!

— Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

— Чего ж ты не женишься?

— Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь.

— Да, мне скучно,— сорвалось у Катерины Львовны.

— Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

— Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало.

— Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству гляючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу

столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

— Что это ты мне тут про свое сердце рассказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...

— Нет, позвольте, сударыня,— произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне.— Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь,— произнес он одним придыханием,— теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

— Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь,— говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносною властью неопишемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

— Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? — развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

— Ох! ох! пусти,— тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

— Иди,— говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

— Чего я таперича отсюдова пойду,— отвечал ей счастливым голосом Сергей.

— Свекор двери запрет.

— Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя — везде двери,— отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

Глава четвертая

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал домой, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено,

и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хватъ молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

— Сказывай,— говорит Борис Тимофеич,— где был, вор ты эдакой?

— А где был,— говорит,— там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету,— отвечал Сергей.

— У невестки ночевал?

— Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого ублаготворения желаешь?

— Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить,— отвечал Борис Тимофеич.

— Моя вина — твоя воля,— согласился молодец.— Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стона не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугун спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запер его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже ~~нельзя~~ ~~нельзя~~ стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея»,— пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

— Что ты это, такая-сякая,— начал он срамить Катерину Львовну.

— Пусти,— говорит,— я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

— Худого,— говорит,— не было! — а сам зубами так и скрипит.— А чем вы там с ним по ночам занимались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристаёт: пусти его да пусти.

— А коли так,— говорит Борис Тимофеич,— так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

Глава пятая

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками приготавливала особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из стариковской каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла,— смекали,— у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым кречетом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

Глава шестая

На дворе после обеда стоял пёклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и омаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала. «Самовар,— говорит,— под яблонью глохнет». Катерина Львовна насилиу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстющий-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? — думает Катерина Львовна.— Сливки тут-то я на окне поставила: беспрременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его»,— решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? — рассуждает в кошмаре Катерина Львовна.— Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?» — подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице — никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

— Заспалась я,— говорила Аксиные Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущею яблонью чай пить.— И что это такое, Аксинышка, значит? — пытала она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

— Что, матушка?

— Не то что во сне, а вот совсем вот наяву кот ко мне все какой-то лез.

— И, что ты это?

— Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот.

— И зачем тебе его было ласкать?

— Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

— Чудно, право! — восклицала кухарка.

— Я и сама надивиться не могу.

— Это беспрременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

— Да что ж такое именно?

— Ну именно что — уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.

— Месяц все во сне видела, а потом этот кот, — продолжала Катерина Львовна.

— Месяц это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

— Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? — попытала ее напрашивающаяся в наперсницы Аксинья.

— Ну что ж, — отвечала Катерина Львовна, — и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

— То-то, я говорю, что послать его, — порешила Аксинья и закачалась уткою к садовой калитке.

Катерина Львовна и Сергею про кота рассказала.

— Мечтанье одно, — отвечал Сергей.

— С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

— Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Сергей обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

— Ух, голова закружилась, — заговорила Катерина Львовна. — Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, — позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

— А ты сох же по мне, Сережа?

— Как же не сох.

— Как же ты сох? Расскажи мне про это.

— Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

— Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Сергей промолчал.

— А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел, — продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

— Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, — отвечал сухо Сергей.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Сергея.

Ей хотелось говорить, а Сергей скупился и молчал.

— Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! — воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Сергей тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

— Ах, Сережечка, прелесть-то какая! — воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна.

Сергей равнодушно повел глазами.

— Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

— Что пустое говорить! — отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

— Изменщик ты, Сережа, — ревновала Катерина Львовна, — обстоятельный.

— Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, — отвечал спокойным тоном Сергей.

— Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

— Это только мужья с женами,— продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна,— так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот,— шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

— Слушай, Сережа, что́ я тебе скажу,— начала Катерина Львовна спустя малое время,— с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

— Кому ж это про меня брехать охота?

— Ну уж говорят люди.

— Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

— А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

— Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблаз действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

— Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, столько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня,— живая не расстанусь.

Сергей встрепенулся.

— Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! — заговорил он.— Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон так теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

— Говори, говори, Сережа, свое горе.

— Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови господи, муж твой наедет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

— Этого не будет! — весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

— Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем

даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

— Да ну, полно тебе все об этом. —

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

— А повторительно,— продолжал Сергей, тихонько высвобождая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны,— повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

— Что ты это мне все про такое толкуешь? — перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

— Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и написано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу, ни паху на этом дворе не останется?

— Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась,— успокоивала его все с теми же ласками Катерина Львовна.— Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

— Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать,— отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою.— Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой — полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней — желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь

готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

— Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобою совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом слышались плевки, сердитое фырканье, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатались по приставленному к крыше пуку теса.

— Пойдем спать,— сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

Глава седьмая

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давишний кот.

— Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? — рассуждает усталая Катерина Львовна.— Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину,— собиралась-встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова

человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет,— думает она,— больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудренный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает: «Какой же,— говорит,— я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрепались от невестушкиного от угощения. С того,— мурлычит,— я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что́ я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел — и кстати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли,— должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта»,— подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

— Слушай, Сережа,— сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаячи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

— Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко,— прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стучает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня», — думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновий Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

— Кто там? — не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

— Свой, — отозвался Зиновий Борисыч.

— Это ты, Зиновий Борисыч?

— Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

— Чтой-то перед зарей холодно становится, — произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

— Как живешь-можешь? — спросил он супругу.

— Ничего, — отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

— Самовар небось поставить? — спросила она.

— Ничего, вскричите Аксиною, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

— Сиди тут, — шепнула она.

— Докуда же сидеть? — также шепотом спросил Сережа.

— О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова вошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

— Что ты там возилась долго? — спрашивает жену Зиновий Борисыч.

— Самовар ставила, — отвечает она спокойно.

Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

— Ну как же это вы тятеньку схоронили? — осведомляется муж.

— Так,— говорит жена,— они померли, их и схоронили.

— И что это за удивительность такая!

— Бог его знает,— отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

— Ну, а вы тут как свое время провождали? — спрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

— Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по театрам столько ж.

— А словно радости-то у вас и к мужу немного,— искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

— Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит: «Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

— Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? — как-то мудрено вдруг спросил он жену.

— А вас все дожидала,— спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

— И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами. Катерина Львовна нимало не задумалась.

— В саду,— говорит,— нашла да юбку себе подвязала.

— Да! — произнес с особым ударением Зиновий Борисыч,— мы тоже про ваши про юбки кое-что слышали.

— Что ж это вы слышали?

— Да всё про дела ваши про хорошие.

— Никаких моих дел таких нету.

— Ну, это мы разберем, все разберем,— отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

— Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все въявь произведем,— проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

— Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается,— ответила та.

— Что! что! — повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

— Ничего — проехали, — отвечала жена.

— Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

— А с чего мне и речистой не быть? — отозвалась Катерина Львовна.

— Больше бы за собой смотрела.

— Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

— Не длинные языки, а тут верно про ваши амурь-то известно.

— Про какие-такие мои амурь? — крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

— Знаю я, про какие.

— А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

— Видно, и говорить-то не про что, — отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюде мужу чайную ложечку. — Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? кто такой есть мой перед вами любовник?

— Узнаете, не спешите очень.

— Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

— Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

— И-их! терпеть я этого не могу, — скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

— Ну вот он, — произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. — Расспрашивайте и его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

— Что ты это, змея, делаешь? — насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

— Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, — отвечала дерзко Катерина Львовна. — Ты меня бойлом задумал пужать, — продолжала она, значительно моргнув глазами, — так не бывать же тому никогда; а что я, может, и допреж твоих этих обещаний знала, что над тобой сделать, так я то сделаю.

— Что это? вон! — крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

— Как же! — передразнила Катерина Львовна.

Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

— Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, — поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

— Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! — вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

— Что? Иль не любо? Глянь-ка, глянь, мой ясен сокол, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

Глава восьмая

— А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! — вскрикнула Катерина Львовна. — Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.

Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

— Подержи его, — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего

обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

— Попа,— тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея.— Исповедаться,— произнес он еще невнятное, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

— Хорош и так будешь,— прошептала Катерина Львовна.

— Ну полно с ним копать,— сказала она Сергею,— перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирали самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

— Ну-ка, свети,— сказала она Сергею, идучи к двери.— Ниже, ниже свети,— говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошеч-

ных пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потеряла их мочалкою, и они исчезли.

— Вот тебе, не лазь к жене вором, не подкарауливай,— произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

— Теперь шабаш,— сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

— Ну вот ты теперь и купец,— сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.

Глава девятая

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечером с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, рассказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в

воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.

Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

— Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, — сказала она Сергею и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что — беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уж Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац — из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

— Я, — говорит, — покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это — мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приезжим, побледнел как плат.

— Чего ты? — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

— Ничего, — отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. — Думаю, сколь эти Ливны дивны, — договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

— Ну, а как же теперь быть? — спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. — Теперь, Катерина Львовна, выходит все наше с вами дело прах.

— Отчего так прах, Сережа?

— Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

— Неш с тебя, Сережа, мало будет?

— Да не о том, что с меня; а я в тем только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

— Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

— Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили,— отвечал Сергей Филипыч.— А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

— Да неш мне это, Сережечка, нужно?

— Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастьем их конца-меры не будет.

Глава десятая

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла,— думает Катерина Львовна,— а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило, Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все нерóдица была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

— Ну, Федор Игнатьич! ну, купецкий сын! — кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья.— Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копать?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликком и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветрянную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

— Потрудись,— скажет,— Катеринушка,— ты, мать, сама человек грузный, сама суда божьего ждешь; потрудись.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уж обмогался.

Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

— Что ты это читаешь, Федя? — спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

— Житие, тетенька, читаю.

— Занятно?

— Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что,— думалось Катерине Львовне,— ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

— Пора тебе, Федя, лекарства?

— Пожалуйста, тетенька,— отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил: — очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

— Ну читай,— проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

— Надо окна велеть закрыть,— сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сер-

гей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

— Закрыли окна? — спросила его Катерина Львовна.

— Закрыли, — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки.

Водворилось молчание.

— Нонче всенощная не скоро кончится? — спросила Катерина Львовна.

— Праздник большой завтра: долго будут служить, — отвечал Сергей.

Опять вышла пауза.

— Сходить к Феде: он там один, — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

— Один? — спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

— Один, — отвечала она ему шепотом, — а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампы спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

— Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту, с образника, пожалуйста.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

— Ты не заснул ли бы, Федя?

— Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

— Чего тебе ее ждать?

— Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынувшие руки.

— Ну! — шепнула она, тихо взойдя в спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

— Что? — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

— Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

— Пойдем, — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

— Что ж взять?

— Ничего, — одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

Глава одиннадцатая

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз вошла Катерина Львовна.

— Что ты, Федя?

— Ох, я, тетенька, чего-то испугался,— отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

— Чего ж ты испугался?

— Да кто это с вами шел, тетенька?

— Где? Никто со мной, миленький, не шел.

— Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

— Это мне, верно, так показалось,— сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

— Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю.— Вот угождал богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

— Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? — ласкался к ней племянник.

— Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю,— ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной слышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

— Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? — вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик.— Идите сюда, тетенька: я боюсь,— еще слезливее позвал он через секунду, и ему слышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

— Чего боишься? — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом.— Ляг,— сказала она ему вслед за этим.

— Я, тетенька, не хочу.

— Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг,— повторила Катерина Львовна.

— Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

— Нет, ты ложись, ложись,— проговорила Катерина Львов-

на опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидал входящего бледного босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своею ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

— А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкою и сама навалилась на нее своей крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

— Кончился,— прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтобы, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

— Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! — бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую им с ног Катерину Львовну.

— Где? — спросила она.

— Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! — закричал Сергей, — гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

— Дурак! вставай, дурак! — крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное, Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покои.

Глава двенадцатая

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двенадесятый праздник во всех церквях хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, мальчики, молодцы, мастеровые с фабрик, с заводов и сами хозяева с своими половинами,— все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пёклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки¹.

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь введения во храм пресвятыя богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

— А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают,— заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу,— сказывают,— говорил он,— будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

— Это уж всем известно,— отвечал тулуп, крытый синей нанкой.— Ее нонче и в церкви, знать, не было.

— Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

— А ишь, у них вот светится,— заметил машинист, указывая на светлую полосу между ставнями.

— Глянь-ка в щелочку, что там делают? — цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что

¹ В Орловской губернии певчие так называют форшляги. (Примеч. автора.)

приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

— Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

— Видел сам, собственными моими глазами видел, — свидетельствовал над мертвым Федей машинист, — младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феде лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не токмо в убийстве Феде, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немим изумлением, но без гнева и потом равнодушно сказала:

— Если ему охота была это сказывать, так мне запираюсь нечего: я убила.

— Для чего же? — спрашивали ее.

— Для него, — отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетью на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерине Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и

заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» и, отворотясь к стене, без всякого стога, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

Глава тринадцатая

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспособливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет;

тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

— Ты замест того, чтоб углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

— Четвертачок всего, Сереженька, я дала,— оправдывалась Катерина Львовна.

— А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж, чай, немало.

— За то же, Сережа, видались.

— Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

— А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

— Глупости все это,— отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады наворачивались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна — солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая — семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

— Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет,— говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

— Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантною, пряною приправою, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает

только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединенной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

Глава четырнадцатая

С первых же дней совместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит; все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепую площадкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей слышался сдержанный хохот.

— Ишь жируют,— буркнул провожатый Катерины Львовны и, придерживав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

— Кто это? — спросил вполголоса Сергей.

— А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

— Злодей! — прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из муж-

ской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против доски и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

— Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

— Ну, иначе, дай же ты мне мою повязку,— побудила ее утром солдатка Фióна.

— А, так это ты?..

— Отдай, пожалуйста!

— А ты зачем разлучаешь?

— Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фióне, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

— Тыпфу,— сказала она себе,— неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

— А ты, Катерина Ильвовна, вót что,— говорил, идучи на-завтра дорогою, Сергей,— ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается ей «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» — рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все

неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

— Вот ты на меня плакалась,— сказала как-то Катерине Львовне Фина,— а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь»,— решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

— Ильвовна! — позвал он ее на привале.— Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

— Что ж, может, сердишься еще — не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

— Как только соберу, я вам додам гривну,— упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

— Ладно.

Сергей, кончились эти переговоры, крикнул и подмигнул Сонетке.

— Ах ты, Катерина Ильвовна! — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома.— Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

— Катя моя! — произнес, обняв ее, Сергей.

— Ах ты, злодей ты мой! — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору, и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

— Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут,— жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

— Что же делать-то, Сережечка? — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.

— Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?

— Ох, чтой-то ты, Сережа?

— А что ж, когда смерть моя больно.

— Как же ты останешься, а меня погонят?

— А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще,— проговорил Сергей спустя минуту.

— Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.

— Ну, на что! — отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парюю толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

— Эдак теперь ничего будет,— произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

Глава пятнадцатая

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

— погоди ж ты! — произнес он и обтерся.

— Ничего, однако, отважно она с тобой поступает,— трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

— Ну, это ж тебе так не пройдет,— грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитою душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этап-

ном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одною суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

— Пятьдесят, — сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только недалеко кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!.. подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплавав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татаринном.

Все скучились, потом выравниались кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довер-

шают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

— Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здорье? — нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.

С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.

Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.

Я полою тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

— Не троньте ее, — заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною. — Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

— Должно, ножки промочила, — острил молодой арестант.

— Известно, купеческого роду: воспитания нежного, — отзывался Сергей.

— Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, — продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

— Змей подлый! — произнесла она, не стерпев, — насмехайся, подлец, насмехайся!

— Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я только думал: не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших

небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

— На этом пароме, рассказывают, кто-то водку держит, — заметил какой-то арестант, когда осыпаемый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

— Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, — отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: — Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный покой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

— Ну а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, — прозвенела Сонетка.

— Купчиха, да угости, что ль! — мозолил Сергей.

— Эх ты, совесть! — выговорила Фиона, качая с упреком головою.

— Не к чести твоей совсем это, — поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

— Хошь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

— Ну ты, мирская табакерка! — крикнул на Фиону Сергей. — Тоже — совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит; а то... — он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: — а то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой по крайности дождем не пробирает.

— И все б офицершей звать стали, — прозвенела Сонетка.

— Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала,— поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту — и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

— Багор! бросай багор! — закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.



ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Ва-лааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас любопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае

непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно жилали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал,— откликнулся философ.

— Прекрасно?— переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ремненным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лапти-

щах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит,— начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов.— Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с,— отвечал богатырь-черноризец,— есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли,— так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница,— пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попики в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место за-

ступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил действительно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души,— куда потом моя душа пойдёт?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оното течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, воронные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте,— говорит,— их: теперь нет их молитвенника»,— и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач

тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и спрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват,— говорит,— в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси,плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай,— изволили сказать,— и к тому не согрешай, а за кого молился — молись»,— и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же «должен»?

— А потому, что «толцываете»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают,— отозвался на это купец,— но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я конэсер.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководства.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрах вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбилась и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, — «бешеный усми-

ритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам»*. В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в

глаза и в ноздри. Он испугался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пARDону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так... он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то



Н. С. Лесков
«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»

давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он покраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно страшнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно

противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужас! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог эти «ддиди-и-и-тт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своим силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы

раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «ддди-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значит, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко

мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты,— говорит,— меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет,— отвечаю.— Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем,—говорю,— тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то,— говорит,— это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленный сын?*»

«Как же,— говорю,— слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли,— говорит,— ты еще и то, что ты сын *обещанный?*»

«Как это так?»

«А так,— говорит,— что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же,— говорю,— она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я,— говорит,— не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так,— говорит,— потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь,— говорит,— так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу,— отвечаю,— только какое же знамение?»

«А вот,— говорит,— тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно,— отвечаю,— согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж,— к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли,— и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор всегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводками держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли,— говорит,— что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же,— говорит,— тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь,— говорит,— если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот,— говорит,— мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь,— я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию,— говорит,— ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

— На,— говорит,— играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы

к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сем благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этогодохлого откуда ни возмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну,— думаю,— нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал,— так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня

опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силочек, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо,— думаю,— теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегают графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты,— говорит,— Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколотен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколотен?

— А как же ты,— говорит,— это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что,— говорю,— за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала,— да с этим ручкою хватить меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, что меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы

мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это,— говорит,— ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или,— пристаёт,— тебе жить худо?

— Видно,— говорю,— не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем,— говорит,— лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры,— говорит,— мы и воры и мошенники.

— Да; вот видишь,— говорю,— а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается,— говорит,— и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого ремесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеваются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще,— говорят,— спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я,— говорит,— тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того

сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шею, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как,— говорю,— я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому,— отвечает,— что такая выросла.

— Это,— говорю,— глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять,— говорит,— потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что,— говорю,— ученик,— ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет,— говорю,— у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть серебряный крест на шее или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да,— говорю,— это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный.

— Ну, скидавай,— говорит,— их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу,

чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай,—говорит,— и кому еще нужно —ко мне посылай.

«Ладно,— думаю,— хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор,— говорит,— или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты,— говорит,— верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как,— говорю,— в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки,— говорит,— пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте,— отвечаю,— тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки,— говорит,— ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я,— говорит,— на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только

все бы,—говорю,—кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста,— отвечает,— не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать,— и коза-то, и та к нам привыкла, бывало за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я,— говорит,— тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься,

инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! оглянись кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдём, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, фореитором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдём! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну,— думаю,— опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай,— говорит,— мне ее.

— С чего же ты это,— говорю,— взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе,— плачет,— ее не жаль? видишь, как она ко мне жметя.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жметса, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо,— говорит,— ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай,— говорит,— моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело,— это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завила, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

— Кури,— говорит,— пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?... с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай,— говорит,— что я тебе скажу: нынче,— говорит,— он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого,— говорю,— никогда не будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристаёт.— Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки,— отвечаю,— это не мое дело.

— Неужто же,— вскрикивает она,— неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же,— говорю,— если ты, презрев закон и религию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги,— говорит,— раскинем, у него глаза разбежались; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка,— и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот,— говорит,— тут ровно тысяча рублей,— ~~отдай~~ нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, ~~откинул~~нулся и тогда молвил:

— Нет,— говорю,— это твое средство, ваше благородие, не подействует,— а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо,— пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию,— что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе,— говорю,— и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачонками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хват за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чью половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подле́ц, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и

ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же,— думаю себе,—так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Нате вам этого пострела! только уже теперь и меня,— говорю,— увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будешь с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому,— отвечает,— что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был,— говорю,— паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь,— отвечает,— а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужась как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте,— говорю,— покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что,— спрашивает,— такое?

— А то,— отвечаю,— что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это,— отвечаю,— мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это,— отвечает,— правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать».

— Ну, позвольте же,— говорю,— я этого никак дальше снести не могу...

— А что же,— говорит,— теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть,— говорю,— нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить,— и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит,— за что же я тебя стану бить?

— Да так,— отвечаю,— для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте,— говорю,— меня с обеих сторон ударить,— и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш,— думаю,— пойду в полицию и объявлюсь, но только,— думаю,— опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дальше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку,

все стоят, трубки курят, а посередине их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты,— говорит,— его не знаешь: это хан Джангар.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар,— говорит,— первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве,— говорю,— эта степь не под нами?

— Нет, она,— отвечает,— под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине,— говорит,— хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуя великолепная, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателем, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы

не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе,— ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты,— думаю,— милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел,— но где было о том и думать, чтобы этакое летуна достать, когда за нее между господами и ремонтёрами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этаким огромным и пузатым, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

— Это,— говорит,— дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он,— говорит,— не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого по-

следыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

— Диво,— говорю,— какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того,— отвечает,— что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет.

— Что же они,— спрашиваю,— очень, что ли, богаты?

— И богатые,— отвечает,— и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худощавый, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев,— оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значит пять лошадей),— а другой вопит:

— Врет твоя морда, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню»,— и Бакшей

тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь,— говорит,— этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же,— спрашиваю,— можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же,— отвечает,— азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчиев оба будто стихали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите,— говорит,— обе штуки ровные».

— Ровные,— кричат татарва,— все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомого:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да,— отвечает,— тоже такой поединок, только это,— говорит,— не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же,— говорю,— они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им,— говорит,— похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшею перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшею, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшею держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшею собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то,— говорит,— они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же,— говорю,— по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то,— отвечает,— и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это,— думаю,— такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же,— размышляю,— должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи,— говорю,— милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди,— говорит,— какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь,— говорит,— как он бьет?

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же,— спрашиваю,— стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно,— отвечает,— надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь,— говорю,— понимаю,— и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное,— указывает мой знакомец,— замечай,— говорит,— как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет,— это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать

Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот,— думаю,— все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову ползет»,— а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нет,— говорит,— не кончено, ты смотри,— говорит,— как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит,— по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны,— настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой неся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этаким легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому

его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как заporоли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало,— отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите,— продолжал он,— это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тыфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как,— говорят,— ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он,— говорят,— тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя,— говорят,— по христианству надо судить. Пойдем,— говорят,— в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас скрыли?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не

допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь,— коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было,— в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетилен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетилены*?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно

больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это,— говорю,— вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что́ ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же,— говорю,— это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты,— говорят,— присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«ТЬфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал,— скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нисколько не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскиали меня и взяли и подщетишили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетишивания, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо,— отвечал Иван Северьяныч,— да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь,— говорят,— тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери,— говорят,— брат, себе теперь Наташу,— мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все

как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да,— отвечал он,— эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же,— запытал опять один из слушателей,— как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и шихзады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы,— отвечаю ему,— ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья,— говорю,— слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так,— говорит,— и видел, что из них,— говорит,— настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетилят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом при-выкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригнали со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что,— говорят,— тебе там, Иван, с Емгурчевыми жить,— Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.



Н. С. Лесков

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»

«На что,— говорю,— мне их больше? мне больше не надо».

«Нет,— говорят,— ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну,— говорю,— легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парюю принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нисколько и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке

его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росой садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточ-

ки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохлятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется *тюбенькуют*... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нет, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропа-

даешь, ото всего этого счастья отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку заставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганных не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полной откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего,— говорят,— из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги, и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет,— я говорю,— я, точно, русский! Отцы,— говорю,— духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись»,— и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте,— говорю,— их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я,— говорю,— здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что,— говорят,— сыне: выкупу в нас нет, а пугать,— говорят,— нам неверных не позволено, потому что и без того

люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же,— говорю,— стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же,— говорят,— все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты,— говорят,— не отчаявайся, потому что это большой грех!

— Да я,— говорю,— не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет,— отвечают,— ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да,— отвечают,— все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,— говорят,— рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь,— говорят,— видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано,— это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятка, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкурку и снимет,— а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх,— думаю,— не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый боже» над ним пропел,— а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азиат смирного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытаться станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Йовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Йовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготавливал себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где

деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:
«Стой,— говорят,— давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодезь кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрощенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригнали к нам два человека, ежели только можно их за человекoв считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? —

лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подушают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шальник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужась как интересно, и все мы хотя немножко этой ужаси боимся, а рады посмотреть: что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю: «Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слышать этого, разумеется, никому нельзя этаким пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз

вздрагнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуместь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегали, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Аллах! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши ба́тыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге,— думаю себе,— да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали»,— да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначально сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости,— говорят,— Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего бога не верили».

«Ага,— думаю,— вон оно как я их пугнул»,— да говорю: «Ну уж нет, братцы, врите, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи,— отвечают,— мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, умираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретишь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись,— кричит,— веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как,— говорит,— нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же,— говорю,— твой бог?»

«А у меня,— говорит,— всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос,— говорю,— стало быть, тебе не бог?»

«Нет,— говорит,— и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой,— говорю,— Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда,— говорю,— его почитай, потому что он русский»,— и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же,— говорит,— я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же,— говорю,— ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь,— говорю,— не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют,— ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего,— говорят,— здесь своя нация, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят,— ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если,— говорит,— нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я,— говорю,— я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить,— говорит,— у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же,— говорит,— тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду,— говорит,— тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я,— говорит,— над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня,

которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащавшись... ждал...»

«Ну, мало ли,— говорит,— что; ты ждал, а зачем ты,— говорит,— татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли,— говорит,— что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты,— говорит,— этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же,— думаю,— делать: останусь хоть так, без причастия, дома проживу, отдохну после плена»,— но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я,— говорят,— не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная гибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так, пожалуйста.

Глава десятая

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь прееет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею

дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой,— говорит,— братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристаёт:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь,— вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и несколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело,— говорю,— если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной сокол или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную лато́ху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показывать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой,— барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ра́щенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще

больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подыметя и глаз освежает, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: на-завтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуяся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты,— будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет»,— и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечаю, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои,— говорит,— так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднишнему?»

«Вы,— отвечает,— изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько,— спрашиваю,— вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаяю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты,— говорит,— лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это,— отвечаю,— покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста,— говорит,— не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда,— отвечал он.— Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйста мой паспорт».

«Хорошо-с,— говорит,— извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час

он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы*?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпускаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покорооче удастся, в части посидишь или в канаве выплывешь, и доволен, и отойдет. В таких случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч совершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздрики субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на такого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попускаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целью прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному че-

ловеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятая и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послуживши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, служащие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он рассказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он

будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробой жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не поуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

— Верно,— говорит,— ты происхождения из господских людей?

— Да,— говорю,— из господских.

— Сейчас,— говорит,— и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси,— говорит,— тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с богом.

— Нет,— отвечает,— я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал рассказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мной пей.

— Спасибо,— отвечает,— только я чай пить не могу.

— Отчего?

— А оттого,— говорит,— что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..— И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды рассказывает, а все-то куражится и неведь что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

— Подумай,— говорит,— ты, какой я человек? Я,— говорит,— самим богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я,— говорит,— нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем.— И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмеются, и в конце говорит:

— Они,— говорит,— необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих

даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же,— рассуждаю,— этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает.— А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же,— говорю,— нельзя?

— А нельзя,— отвечает,— по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этакую вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты,— отвечает,— не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: ради он этому будет или нет?

— Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит.— Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

— Оно,— говорит,— это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я,— говорит,— хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же,— спрашиваю,— теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу,— отвечает,— потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так,— отвечает,— что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я,— говорит,— теперь все равно что Иов

на гноище, и в этом,— говорит,— все мое счастье и спасение,— и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же,— говорю,— возможно такого человека найти! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает,— да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как,— говорю,— я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь,— я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевши и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет?

А он отвечает:

— Это,— говорит,— не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля,— говорит,— особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспять, потому что она дарована. Я,— говорит,— это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи,— говорю,— сделай милость, с меня!

— А ты,— говорит,— разве пьешь?

— Пью,— говорю,— и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же,— говорит,— это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь,— говорит,— любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму,— и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна,— говорит,— для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! сиянс! молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я,— говорит,— лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство,— и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай,— думаю,— ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли,— спрашивает,— вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит,— говорит,— что ты мало принял,— и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче,— и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, сиянс... атанде,— и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь *принимать*, как сказано.

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю,

что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследствии всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь.

А он говорит:

— Шу, сиянс! любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйста вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминях нет.

Глава двенадцатая

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премыгкие: по небу звезды как лампы навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и

ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь ты? — говорю, — магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой до вечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет,— говорит,— я тебе такое пти-ком-пё представляю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань,— говорю,— пожалуйста, врать.

— Истинно,— говорит,— истинно: такое пти-ком-пё...

— Да не болтай ты,— говорю,— черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!

— Я,— отвечает,— тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое,— говорит,— что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем,— говорит,— сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это,— говорит,— и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пушу.

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне влезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты... кто ты такой! что ты там роешься?

— погоди,— отвечает,— стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо,— говорю,— что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасти хочешь?

От отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор,— а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот,— думаю,— штуку он со мной сделал! — а где же теперь,— спрашиваю,— мое зрение?»

— А твоего,— говорит,— теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так,— отвечает,— своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара поет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпся.

А он мне на это отвечает:

— погоди,— говорит,— еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того,— говорит,— что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты,— говорит,— чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет,— думаю,— да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похожи, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так,— говорит,— купно струнам, художне соударяемым

единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозить и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись,— говорит,— и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси,— говорит,— смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь,— все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять такие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно,

что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная, претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам от него польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бежит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйста наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух,— думаю,— да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи,— только одних белых

лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничками... ей-богу, вот такие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощение, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожей, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатеете, то у вас и чувства больше? Нет уже, что будет, то будет: после

князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красоты скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пускают, и зовут: — Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли,— говорю,— кому обидеть можно,— и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но со́лу не делает, и мне ее голоса не слышать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты,— думаю,— доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелось ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигающее и за сердца трогает, а я как услышал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет»: Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвеща-

тельница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором.

Джа-ла'-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла'-ла прингала!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, милáя,
Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватают: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше, с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те

все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтёр, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актеры в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалею: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще заваялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя все мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилась, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалее, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норovit за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пушаю, что-

бы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десятков остался... «Тьфу ты,— думаю,— черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Стронись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая

— Ну, и что же далее? — спросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а вместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже

не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уж это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять,— а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

«Что,— говорит,— это значит?»

«Да оттрепите же,— прошу,— меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте,— говорю,— как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как,— говорю,— это так?»

«Так,— отвечает,— так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист».

«И понять,— говорю,— не могу».

«Ты,— говорит,— не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это,— думаю,— понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты,— отвечает,— очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как,— говорю,— полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это,— отвечает,— вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да,— говорит,— и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы,— говорю,— плюнуть и больше ничего».

«Не мог,— говорит,— братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотой и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

«Правда, мол, правда!»

«Мне,— говорит князь,— знаешь, мне ведь за женщину хоть

умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же,— говорю,— тут непонятного, краса, природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так,— отвечаю,— и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец,— отвечает мой князь,— молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как,— говорю,— будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли,— говорю,— это быть?»

«А вот ты,— говорит,— постой, я ее сейчас приведу. Ты артист,— от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти реснички черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклат. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё»,— говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной»,— да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливое». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, умиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — спросил некто рассказчика.

— Нет-с; еще не тут, а позже,— отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая

— Видите,— начал Иван Северьяныч,— мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его

домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее имение, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись,— говорит,— послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты,— говорит,— холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как,— говорит,— вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня есть?

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда,— говорит,— я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот,— думаю,— что тебя огорчает»,— и говорю:

— Ну, если когда вина не достача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты,— говорит,— братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю,— вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай,— говорит,— станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало,— говорит,— его вижу»,— а перемогаёт себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы,— говорит,— изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги,— говорит,— ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное,— отвечает,— да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович,— возговорит,— ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего,— говорю,— очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ,— говорю,— у соседей или в городе.

— А нет ли,— говорит,— там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он, лиходея мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает»,— потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал неспроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, и люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней зааживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же,— говорит,— ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве,— говорю,— он здесь в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! мол, еще что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

«Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несатым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья

Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешанная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом,— говорит,— после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать,— и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова,— говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется,— говорит,— выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же,— отвечает,— с удовольствием,— и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите,— говорит,— нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдо на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди,— а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленях и говорит:

— Хочешь, мой анфан, в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при,— говорит,— пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поедит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно нужно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти

нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

Глава шестнадцатая

Пустившись на такое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнялся, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком прикинул к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же,— говорит,— ты: я прошу,— мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому,— и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это,— спрашивает князь,— стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?

— Конечно,— говорит,— объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы,— церемониться нечего.

— Мне деньги нужны,— говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег,— молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать,— что: «Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно». Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...

И он замолк, а барыня помолчала, вздохнула и начинает:

— Расчет,— говорит,— ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен,— говорит,— верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты,— говорит,— все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить.

— Нам?

— Конечно,— говорит,— тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

— Ах, полноте,— говорит,— князь, то ли я вам,— говорит,— верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да,— говорит,— ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте,— говорит,— я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет,— говорит,— я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет,— говорит,— кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай,— и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоём уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы,— говорит,— будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу,— говорит,— позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте,— отвечает Евгенья Семеновна,— только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего,— отвечает,— как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгенья Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался

и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастье так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменялось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: скрыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге все новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни спрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может случиться; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снести и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою.

А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя,— говорю,— Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне; покажись мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится...

Глава семнадцатая

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

— Родная моя! — говорю,— голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилась? Ничего,— говорю,— не потайся, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, богу.

— Только я,— говорит,— сюда умереть вырвалась.

— Что ты,— говорю,— бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи вместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоём слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т,— отвечает,— я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платице, какое на ней надето, а платице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи,— говорю,— мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулась и говорит:

— Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошусь и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил,— говорит,— любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!.. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина,— и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать.— Он,— говорит,— платьев мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идет тебе»; не надену их, в распашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я,— говорит,— давно это чужала, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

Глава восемнадцатая

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое моревое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не за-

стегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я,— говорит,— у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была,— говорит,— со мною ужасная слабость,— и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие,— говорит,— такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

— На счастье,— говорит,— мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезнял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу»,— заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однودворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однودворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это,— спрашиваю его,— какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал ме-

ня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-одинодворки стерегут и глаз не спускают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте,— говорю,— ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз,— говорю,— станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричат, а я, хоть тягостная, ударилась быстрее коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать,— вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая,— а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори,— отвечаю,— что тебе хочется?

— Нет; ты,— говорит,— прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты,— говорит,— страшной поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же,— говорит,— за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не слушаешь.

— Хорошо,— говорю,— и взял да ее душу проклял.

— Ну, так послушай же,— говорит,— теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих,— говорит,— больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку.. Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат; ударь меня раз ножом против сердца.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пчусь, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты,— говорит,— поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла...— Н... н... н... у...

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь,— говорит,— меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась,— отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнися же я где-то на большой дороге, под раки-точкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далекомько так покатила, покатила, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и не вмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе,— говорят,— у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же,— отвечаю,— мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно»

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни

настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог, — говорит, — как вода тепла все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьею парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в зем-

лю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог,— говорит,— какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я,— говорю,— на своем веку много неповинных душ погубил»,— да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо,— говорит,— и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я,—говорит,—очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем,—говорят,—тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно,—и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал.—Ступай,—говорит,—он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливилось мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту*? что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благород-

ством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в середине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчатся и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутики выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и

этого принца от моих рук спасти должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так и взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут),— я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай»,— я откладываю.

— Позвольте,— говорим,— так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших спутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и спросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользоваться. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу, и победит от вас», и ты,— говорит,— противустань». И тут наставил меня так делать, что ты,— говорит,— как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумеешь, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на

колени. Колени у человека,— говорит,— первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягивание на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакое, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом он понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... он-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросенок издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам,— хоть это против правила,— а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просят на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждают?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшóму: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву,— нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийцу молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я идю к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось,— говорит,— и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги,— я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно»,— отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то,— говорит,— и самое важное есть *ключи*: ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопасности еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну,— думаю,— так тебе и надо»,— а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и порубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда наперед у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди

храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать,— две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же,— думаю,— если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что,— говорит,— вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молот. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?!

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершенствуюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожи-

дать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случилось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай,— говорит,— и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда,— говорит,— все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапно всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сблизается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапно всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что,— говорят,— наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевести и поставить мне образ «Благое молчание», пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах вместо венца, а ручки у груди смиренно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все «Благому молчанию» молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий,— говорит,— ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я,— говорит,— его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это,— говорит,— по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же мое такое: прогоните,— говорит,— его куда-нибудь подалее пробегаться, может быть, он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам *«Благое молчание»* не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше спрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.



ЛЕВША

(Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе)

Глава первая

Когда император Александр Павлович окончил венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели, но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть,— и чем-нибудь ответит.

Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить; но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки,

которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, Платов сказал себе:

— Ну, уж тут шабаш. До этих пор еще я терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам.

И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит:

— Так и так, завтра мы с тобою едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там,— говорит,— такие природы совершенства, что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся.

Платов ничего государю не ответил, только свой грабоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было.

Думал: утро ночи мудренее.

Глава вторая

На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную.

Приезжают в пребольшое здание — подъезд неописанный, коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну, и, наконец, в самом главном зале разные громадные бюстры и посередине под валдахином стоит Аболон полведерский.

Государь оглядывается на Платова: очень ли он удивлен и на что смотрит; а тот идет глаза опустивши, как будто ничего не видит,— только из усов кольца вьет.

Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приновлено для военных обстоятельств: буреметры морские, мерблюзы и мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит.

Государь говорит:

— Как это возможно — отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничто не удивительно?

А Платов отвечает:

— Мне здесь то одно удивительно, что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадцать язык прогнали.

Государь говорит:

— Это безрассудок.

Платов отвечает:

— Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать.

А англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболону полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой пистолю.

— Вот,— говорят,— какая у нас производительность,— и подают ружье.

Государь на Мортимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в Царском Селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят:

— Эта пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства — ее наш адмирал у разбойничьего атамана в Канделабрии из-за пояса выдернул.

Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно.

— Ах, ах, ах,— говорит,— как это так... как это даже можно так тонко сделать! — И к Платову по-русски оборачивается и говорит: — Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал.

А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется», а он, внимания не обращая, ну замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынул. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

Англичане удивляются и друг дружку поталкивают:

— Ох-де, мы маху дали!

А государь Платову грустно говорит:

— Зачем ты их очень сконфузил, мне их теперь очень жалко. Поедем.

Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали, и государь в этот день на бале был, а Платов еще больший стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном.

Было ему и радостно, что он англичан оконфузил, а тульского мастера на точку вида поставил, но было и досадно: зачем государь под такой случай англичан сожалел!

«Через что это государь огорчился? — думал Платов, — совсем того не понимаю», — и в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел.

А англичане же в это самое время тоже не спали, потому что

и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.

Глава третья

На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит:

— Пусть сейчас заложат двухсестную карету, и поедem в новые кунсткамеры смотреть.

Платов даже осмелился доложить, что не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть и не лучше ли к себе в Россию собираться, но государь говорит:

— Нет, я еще желаю другие новости видеть: мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают

Поехали.

Англичане всё государю показывают: какие у них разные первые сорта, а Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит:

— А покажите-ка нам ваших заводов сахар *молво*?

А англичане и не знают, что это такое *молво*. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молво, молво», а понять не могут, что это у нас такой сахар делается, и должны сознаться, что у них все сахара есть, а «молва» нет.

Платов говорит:

— Ну, так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам, мы вас напоим чаем с настоящим *молво* Бобринского завода.

А государь его за рукав дернул и тихо сказал:

— Пожалуйста, не порть мне политики.

Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфозории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазам видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.

Государь поехал.

Осмотрели керамиды и всякие чучелы и выходят вон, а Платов думает себе:

«Вот, слава богу, все благополучно: государь ничему не удивляется».

Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос.

— Что это такое значит? — спрашивает; а аглицкие мастера отвечают:

— Это вашему величеству наше покорное поднесение.

— Что же это?

— А вот,— говорят,— извольте видеть сориночку?

Государь посмотрел и видит: точно, лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка.

Работники говорят:

— Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять.

— На что же мне эта соринка?

— Это,— отвечают,— не соринка, а нимфозория.

— Живая она?

— Никак нет,— отвечают,— не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть: она сейчас начнет дансе танцевать.

Государь залюбовался и спрашивает:

— А где же ключик?

А англичане говорят:

— Здесь и ключ перед вашими очами.

— Отчего же,— государь говорит,— я его не вижу?

— Потому,— отвечают,— что это надо в мелкоскоп.

Подали мелкоскоп, и государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.

— Извольте,— говорят,— взять ее на ладошечку — у нее в пузичке заводная дырка, а ключ семь поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе...

Насилу государь этот ключик ухватил и насилу его в щепотке мог удержать, а в другую щепотку блошку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а наконец вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две верояции в сторону, потом в другую, и так в три верояции всю кадрили станцевала.

Государь сразу же велел англичанам миллион дать, какими сами захотят деньгами,— хотят серебряными пяточками, хотят мелкими ассигнациями.

Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают; а потом сейчас и другую свою хитрость показали: блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли: без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются и в сору их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха — и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя — нельзя жертвовать.

Платов было очень рассердился, потому что, говорит:

— Для чего такое мошенничество! Дар сделали и миллион за то получили, и все еще недостаточно! Футляр,— говорит,— всегда при всякой вещи принадлежит.

Но государь говорит:

— Оставь, пожалуйста, это не твое дело — не порть мне политики. У них свой обычай.— И спрашивает: — Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?

Англичане положили за это еще пять тысяч.

Государь Александр Павлович сказал: «Выплатить», а сам спустил блошку в этот орешек, а с нею вместе и ключик, а чтобы не потерять самый орех, опустил его в свою золотую табакерку, а табакерку велел положить в свою дорожную шкатулку, которая вся выстлана преламутом и рыбьей костью. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди супротив вас сделать ничего не могут».

Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп да, ничего не говоря, себе в карман спустил, потому что «он сюда же,— говорит,— принадлежит, а денег вы и без того у нас много взяли».

Государь этого не знал до самого приезда в Россию, а уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота¹. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались: государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши на что взглянут — всё могут сделать, но только им полезного ученья нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл.

Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт Жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял.

— Ты,— говорит,— к духовной беседе неводержен и так

¹ «Поп Федот» не с ветра взят: император Александр Павлович перед своею кончиною в Таганроге исповедовался у священника Алексея Федотова-Чеховского, который после того именовался «духовником его величества» и любил ставить всем на вид это совершенно случайное обстоятельство. Вот этот-то Федотов-Чеховской, очевидно, и есть легендарный «поп Федот». (Примеч. автора.)

очень много куришь, что у меня от твоего дыму в голове копоть стоит.

Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку да так все и лежал да покуривал Жуков табак без перестачи.

Глава четвертая

Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыне, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины верояции и усмехнулась, но заниматься ею не стала.

— Мое,— говорит,— теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны,— а вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю.

Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая.

Государь посмотрел и удивился.

— Что это еще за пустяковина и к чему она тут у моего брата в таком сохранении!

Придворные хотели выбросить, но государь говорит:

— Нет, это что-нибудь значит.

Позвали от Аничкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали, а тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую холод, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил:

— Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория, и она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская.

Государь велел сейчас разузнать: откуда это и что такое означает?

Бросились смотреть в дела и в списки,— но в делах ничего не записано. Стали того, другого спрашивать,— никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он как услышал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит:

— Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?

А Платов отвечает:

— Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью-ем что хочу и всем доволен, а я,— говорит,— пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскиали: это,— говорит,— так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии,— и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузичко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны верояции делать.

Завели, она и пошла прыгать, а Платов говорит:

— Это,— говорит,— ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке,— тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали,— не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались.

Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил, он и ответил Платову:

— Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю поверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил, а я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают.

Глава пятая

Платов взял стальную блоху и, как поехал через Тулу на Дон, показал ее тульским оружейникам и слова государевы им передал, а потом спрашивает:

— Как нам теперь быть, православные?

Оружейники отвечают:

— Мы, батюшка, милостивое слово государево чувствуем и никогда его забыть не можем за то, что он на своих людей надеется, а как нам в настоящем случае быть, того мы в одну минуту сказать не можем, потому что аглицкая нация тоже не глупая, а довольно даже хитрая, и искусство в ней с большим

смыслом. Против нее,— говорят,— надо взяться подумавши и с божьим благословением. А ты, если твоя милость, как и государь наш, имеешь к нам доверие, поезжай к себе на тихий Дон, а нам эту блошку оставь, как она есть, в футляре и в золотой царской табакерочке. Гуляй себе по Дону и заживляй раны, которые принял за отечество, а когда назад будешь через Тулу ехать,— остановись и спылай за нами: мы к той поре, бог даст, что-нибудь придумаем.

Платов не совсем доволен был тем, что туляки так много времени требуют и притом не говорят ясно: что такое именно они надеются устроить. Спрашивал он их так и иначе и на все манеры с ними хитро по-донски заговаривал; но туляки ему в хитрости нимало не уступали, потому что имели они сразу же такой замысел, по которому не надеялись даже, чтобы и Платов им поверил, а хотели прямо свое смелое воображение исполнить, да тогда и отдать.

Говорят:

— Мы еще и сами не знаем, что учиним, а только будем на бога надеяться, и авось слово царское ради нас в постыждении не будет.

Так и Платов умом виляет, и туляки тоже.

Платов вилял, вилял, да увидал, что туляка ему не перевилять, подал им табакерку с нимфозорией и говорит:

— Ну, нечего делать, пусть,— говорит,— будет по-вашему; я вас знаю, какие вы, ну, одначе, делать нечего,— я вам верю, но только смотрите, бриллиант чтобы не подменить и аглицкой тонкой работы не испортить, да недолго возитесь, потому что я шибко езжу: двух недель не пройдет, как я с тихого Дона опять в Петербург поворочу,— тогда мне чтоб непременно было что государю показать.

Оружейники вполне его успокоили:

— Тонкой работы,— говорят,— мы не повредим и бриллианта не обменим, а две недели нам времени довольно, а к тому случаю, когда назад возвратишься, будет тебе что-нибудь государеву великолепию достойное представить.

А что именно, этого так-таки и не сказали.

Глава шестая

Платов из Тулы уехал, а оружейники три человека, самые искусные из них, один косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, ничего никому не сказывая, взяли сумочки, положили туда что нужно съестного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли не в Московскую заставу, а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев почивающим угодникам поклониться или посоветовать там с кем-нибудь из живых святых мужей, всегда пребывающих в Киеве в изобилии.

Но это было только близко к истине, а не самая истина. Ни время, ни расстояние не позволяли тульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да еще потом успеть сделать посрамительную для аглицкой нации работу. Лучше бы они могли сходить помолиться в Москву, до которой всего «два девяносто верст», а святых угодников и там почивает немало. А в другую сторону, до Орла, такие же «два девяносто», да за Орел до Киева снова еще добрых пять сот верст. Этакого пути скоро не сделаешь, да и сделавши его, не скоро отдохнешь — долго еще будут ноги остекливши и руки трястись.

Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым, а потом как пообдумались, то и струсили и теперь совсем сбежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку, и бриллиант, и наделавшую им хлопот аглицкую стальную блоху в футляре.

Однако такое предположение было тоже совершенно неосновательно и недостойно искусных людей, на которых теперь почивала надежда нации.

Глава седьмая

Туляки, люди умные и сведущие в металлическом деле, известны также как первые знатоки в религии. Их славою в этом отношении полна и родная земля, и даже святой Афон: они не только мастера петь с вавилонами, но они знают, как пишется картина «вечерний звон», а если кто из них посвятит себя большому служению и пойдет в монашество, то таковые слынут лучшими монастырскими экономами, и из них выходят самые способные сборщики. На святом Афоне знают, что туляки — народ самый выгодный, и если бы не они, то темные уголки России, наверно, не видали бы очень многих святостей отдаленного Востока, а Афон лишился бы многих полезных приношений от русских щедрот и благочестия. Теперь «афонские туляки» обвозят святости по всей нашей родине и мастерски собирают сборы даже там, где взять нечего. Туляк полон церковного благочестия и великий практик этого дела, а потому и те три мастера, которые взялись поддержать Платова и с ним всю Россию, не делали ошибки, направлясь не к Москве, а на юг. Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской губернии, в котором стоит древняя «камнесеченная»

икона св. Николая, приплывшая сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона эта вида «грозного и претрашного» — святитель Мир-Ликийских изображен на ней «в рост», весь одет сребропозлащенной одеждой, а лицом темен и на одной руке держит храм, а в другой меч — «военное одоление». Вот в этом «одолении» и заключался смысл вещи: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а «мценский Никола» в особенности, и ему-то туляки и пошли поклониться. Отслужили они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились домой «нощию» и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете. Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.

День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют — ничего неизвестно.

Всем любопытно, а никто ничего не может узнать, потому что работающие ничего не сказывают и наружу не показываются. Ходили к домику разные люди, стучались в двери под разными видами, чтобы огня или соли попросить, но три искусника ни на какой спрос не отпираются, и даже чем питаются — неизвестно. Пробовали их пугать, будто по соседству дом горит, — не выскочут ли в перепуге и не объявится ли тогда, что ими выковано, но ничто не брало этих хитрых мастеров; один раз только левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда, — и опять свою щипаную голову спрятал, ставню захлопнул и за свое дело принялся.

Только сквозь малые щелочки было видно, как внутри дома огонек блестит, да слышно, что тонкие молоточки по звонким наковальням вытюкивают.

Словом, все дело велось в таком страшном секрете, что ничего нельзя было узнать, и притом продолжалось оно до самого возвращения казака Платова с тихого Дона к государю, и во все это время мастера ни с кем не видались и не разговаривали.

Глава восьмая

Платов ехал очень спешно и с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам из коляски ногою ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни у одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо оста-

новочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возвратятся.

Так они и в Тулу прикатили, — тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.

Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.

Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит — все ему еще не скоро показывается.

Так в тогдашнее время все требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской пользы не пропадала.

Глава девятая

Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики — те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалились, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.

Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалились, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного разу нельзя было продохнуть.

Послы закричали:

— Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибаться смее! Или в вас после этого бога нет!

А те отвечают:

— Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.

А послы говорят:

— Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.

Но мастера отвечают:

— Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.

Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.

Глава десятая

Свистовые подбежали к Платову и говорят:

— Вот они сами здесь!

Платов сейчас к мастерам:

— Готово ли?

— Всё,— отвечают,— готово.

— Подавай сюда.

Подали.

А экипаж уже запряжен, и ямщик и фореитор на месте. Казаки сейчас же рядом с ямщиком уселись и нагайки над ним подняли и так замахнувши и держат.

Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех,— видит: аглицкая блоха лежит там какая была, а кроме ее ничего больше нет.

Платов говорит:

— Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?

Оружейники отвечали:

— Тут и наша работа.

Платов спрашивает:

— В чем же она себя заключает?

А оружейники отвечают:

— Зачем это объяснять? Всё здесь в вашем виду,— и предусматривайте.

Платов плечами вздвигнул и закричал:

— Где ключ от блохи?

— А тут же,— отвечают.— Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.

Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него были куцапые: ловил, ловил,— никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.

Кричал:

— Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!

А туляки ему в ответ:

— Напрасно так нас обижаете,— мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны,— мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти — он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.

А Платов крикнул:

— Ну, так врите же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.

И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами за шивороток косого левшу, так что у того все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.

— Сиди,— говорит,— здесь до самого Петербурга вроде пубеля,— ты мне за всех ответишь. А вы,— говорит свистовым,— теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтра я в Петербурге у государя был.

Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента увозите? ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак — такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся — и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:

— Гайда, ребята!

Казаки, ямщики и кони — все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскававшись как следует, мимо колонн проехали.

Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.

Глава одиннадцатая

Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без срока посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.

Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же и спрашивает:

— А что же, как мои тульские мастера против аглицкой нимфозории себя оправдали?

Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.

— Нимфозория, — говорит, — ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не могли.

Государь ответил:

— Ты — старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.

Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:

— Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.

Глава двенадцатая

Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, — а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.

Государь посмотрел и сказал:

— Что за лихо! — Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:

— У тебя на руках персты тонкие — возьми маленький

ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.

Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.

Платов весь позеленел и закричал:

— Ах, они шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.

С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:

— У меня и так волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь, за какую надобность надо мною такое повторение?

— Это за то,— говорит Платов,— что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.

Левша отвечает:

— Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили,— возьмите, в самый сильный мелкоскоп смотрите.

Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:

— Я тебе,— говорит,— такой-сякой-этакой, еще задам.

И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов и сейчас его из дворца вон погонят,— потому что его терпеть не могли за храбрость.

Глава тринадцатая

Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостью говорит:

— Я знаю, что мои русские люди меня не обманут.— И приказал подать мелкоскоп на подушке.

В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом боком, потом пузичком,— словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть нечего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:

— Привести сейчас ко мне сюда этого оружейника, который внизу находится.

Платов докладывает:

— Его бы приодеть надо — он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.

А государь отвечает:

— Ничего — ввести как он есть.

Платов говорит:

— Вот, иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.

А левша отвечает:

— Что ж, такой и пойду, и отвечу.

Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький, крючочки не застегаются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.

«Что же такое? — думает. — Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен, и скажу, отчего так дело было».

Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:

— Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?

А левша отвечает:

— Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть?

Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто.

Государь говорит:

— Оставьте над ним мудрить, — пусть его отвечает, как он умеет.

И сейчас ему пояснил:

— Мы, — говорит, — вот как клали. — И положил блоху под мелкоскоп. — Смотри, — говорит, — сам — ничего не видно.

Левша отвечает:

— Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.

Государь спросил:

— А как же надо?

— Надо, — говорит, — всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.

— Помилуй, скажи, — говорит государь, — это уже очень сильно мелко!

— А что же делать, — отвечает левша, — если только так нашу работу и заметить можно: тогда все и удивление окажется.

Положили, как левша сказал, и государь как только глянул

в верхнее стекло, так весь и просиял — взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, неумытый, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:

— Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!

Глава четырнадцатая

Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное.

— Если бы,— говорит,— был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы,— говорит,— увидеть, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.

— И твое имя тут есть? — спросил государь.

— Никак нет,— отвечает левша,— моего одного и нет.

— Почему же?

— А потому,— говорит,— что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,— там уже никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:

— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивленье?

А левша ответил:

— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.

Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:

— Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал.

Левша отвечает:

— Бог простит,— это нам не впервые такой снег на голову.

А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию — вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.

Платов его перекрестил.

— Пусть,— говорит,— над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.

Так и сделал — прислал.

А граф Кисельвроде велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, дабы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.

Как его таким манером обформировали, напоили на дорожку чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.

Глава пятнадцатая

Ехали курьер с левшой очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу русские песни пел, только припев делал по-иностранному: *«Ай люли — се тре жули»*.

Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.

Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить — не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, — англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг в огне, — он говорит: *«Это я не знаю, чтобы такое можно есть»*, и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая — вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.

А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публикейские ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон вышел.

— А самого этого мастера, — говорят, — мы сейчас хотим видеть.

Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша порядочно уже подрумянился, и говорит: *«Вот он!»*

Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как ровного себе — за руки. «Камрад,— говорят,— камрад — хороший мастер,— разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».

Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает,— может быть, отравить с досады хотите.

— Нет,— говорит,— это не порядок: и в Польше нет хозяина больше,— сами вперед кушайте.

Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.

Они заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера:

— Что он — лютеранец или протестантист?

Курьер отвечает:

— Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.

— А зачем же он левой рукой крестится?

Курьер сказал:

— Он — левша и все левой рукой делает.

Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходились, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освежившись, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?

Левша отвечает:

— Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Англичане переглянулись и говорят:

— Это удивительно.

А левша им отвечает:

— У нас это так повсеместно.

— А что же это,— спрашивают,— за книга в России «Полусонник»?

— Это,— говорит,— книга, к тому относящаяся, что если в Псалтыри что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо полезнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точ-

ность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом,— говорит,— спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас; мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.

Но на это левша не согласился.

— У меня,— говорит,— дома родители есть.

Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.

— Мы,— говорит,— к своей родине привержены, и тятенька мой уже старичок, а родительница — старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.

— Вы,— говорят,— обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

— Этого,— ответил левша,— никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому,— отвечает,— что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы,— говорят англичане,— нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое евангелие содержим.

— Евангелие,— отвечает левша,— действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

— Почему вы так это можете судить?

— У нас тому,— отвечает,— есть все очевидные доказательства.

— Какие?

— А такие,— говорит,— что у нас есть и благотворные иконы и гроботочивые главы и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресения, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине — мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.

— Отчего же так? — спрашивают.— Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

А левша говорит:

— Я их не знаю.

Англичане отвечают:

— Это не важно суть — узнать можете: мы вам грандеву сделаем.

Левша застыдился.

— Зачем,— говорит,— напрасно девушек морочить.— И от-

некался.— Грандеву,— говорит,— это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надо мною большую насмешку сделают.

Англичане любопытствовали:

— А если,— говорят,— без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?

Левша им объяснил наше положение.

— У нас,— говорит,— когда человек хочет насчет девушки обстоятельное намерение обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.

Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:

— Это тем и приятнее, потому что таким делом если и заняться, то надо с обстоятельным намерением, а как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?

Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятством ладошками хлопывать, а сами спрашивают:

— Мы бы,— говорят,— только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?

Тут левша им уже откровенно ответил:

— Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности; тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки. Совсем точно обезьяна-сапажу — плисовая тальма.

Англичане засмеялись и говорят:

— Какое же вам в этом препятствие?

— Препятствия,— отвечает левша,— нет, а только опасаясь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего этого разбираться станет.

— Неужели же,— говорят,— ваш фасон лучше?

— Наш фасон,— отвечает,— в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.

Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:

— Для чего вы морщитесь?

Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.

Тогда ему по-русски вприкуску подали.

Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:

— На наш вкус этак вкуснее.

Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погос-

тить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.

— А потом,— говорят,— мы его на своем корабле привезем и *живого в Петербург доставим.*

На это он согласился.

Глава шестнадцатая

Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались,— и пошли они левшу водить и все ему показывать.

Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень нравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них постоянно в сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые шиглеты с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом, а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает,— на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цыфрях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.

Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:

— Это и мы так можем.

А как до старого ружья дойдет,— засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет:

— Это,— говорит,— против нашего не в пример превосходнейше.

Англичане никак не могли отгадать, что такое левша замечает, а он спрашивает:

— Не могу ли,— говорит,— я знать, что наши генералы это когда-нибудь глядели или нет?

Ему говорят:

— Которые тут были, те, должно быть, глядели.

— А как,— говорит,— они были: в перчатке или без перчатки?

— Ваши генералы,— говорят,— парадные, они всегда в перчатках ходят; значит, и здесь так были.

Левша ничего не сказал. Но вдруг начал беспокойно сучать. Затосковал и затосковал и говорит англичанам:

— Покорно благодарствуйте на всем угощении, и я всем у вас очень доволен и все, что мне нужно было видеть, уже видел, а теперь я скорее домой хочу.

Никак его более удержать не могли. По суше его пустить нельзя, потому что он на все языки не умел, а по воде плыть нехорошо было, потому что время было осеннее, бурное, но он пристал: отпустите.

— Мы на буреметр,— говорят,— смотрели: буря будет, потонуть можешь; это ведь не то, что у вас Финский залив, а тут настоящее Твердиземное море.

— Это все равно,— отвечает,— где умереть,— все единственно, воля божия, а я желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать.

Его силом не удерживали: напители, деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь дали байковое пальто с ветряной нахлобучкою на голову. Очень тепло одели и отвезли левшу на корабль, который в Россию шел. Тут поместили левшу в лучшем виде, как настоящего барина, но он с другими господами в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйдет на палубу, под презент сядет и спросит: «Где наша Россия?»

Англичанин, которого он спрашивает, рукою ему в ту сторону покажет или головою махнет, а он туда лицом оборотится и нетерпеливо в родную сторону смотрит. Как вышли из буфты в Твердиземное море, так стремление его к России такое сделалось, что никак его нельзя было успокоить. Водопление стало ужасное, а левша все вниз в каюты нейдет — под презентом сидит, нахлобучку надвинул и к отечеству смотрит.

Много раз англичане приходили его в теплое место вниз звать, но он, чтобы ему не докучали, даже отлыгаться начал.

— Нет,— отвечает,— мне тут наружи лучше; а то со мною под крышей от колтыхания морская свинка делается.

Так все время и не сходил до особого случая и через это очень понравился одному полшкиперу, который, на горе нашего левши, умел по-русски говорить. Этот полшкипер не мог надивиться, что русский сухопутный человек и так все непогоды выдерживает.

— Молодец,— говорит,— рус! Выпьем!

Левша выпил.

А полшкипер говорит:

— Еще!

Левша и еще выпил, и напилсь.

Полшкипер его и спрашивает:

— Ты какой от нашего государства в Россию секрет везешь?

Левша отвечает:

— Это мое дело.

— А если так,— отвечал полшкипер,— так давай держать с тобой аглицкое парей.

Левша спрашивает:

— Какое?

— Такое, чтобы ничего в одиночку не пить, а всего пить заровно: что один, то непременно и другой, и кто кого перепьет, того и горка.

Левша думает: небо тучится, брюхо пучится,— скука большая, а путина длинная, и родного места за волною не видно — пари держать все-таки веселее будет.

— Хорошо,— говорит,— идет!

— Только чтоб честно.

— Да уж это,— говорит,— не беспокойтесь.

Согласились и по рукам ударили.

Глава семнадцатая

Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского Динаминде, но шли всё наравне и друг другу не уступали и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин.

Левша говорит:

— Перекрестись и отворотись — это черт из пучины.

А англичанин спорит, что «это морской водоглаз».

— Хочешь,— говорит,— я тебя в море швырну? Ты не бойся — он мне тебя сейчас назад подаст.

А левша отвечает:

— Если так, то швыряй.

Полшкипер его взял на закорки и понес к борту.

Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить и есть и свое пари выдержать,— а горячего студингу с огнем им не подавать, потому что у них в нутре может спирт загореться.

Так их и привезли взаперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл; а тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Глава восемнадцатая

Англичанина как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. Дождались лекарь с аптекарем, пока полшкипер заснул, и тогда другую гуттаперчевую пилюлю ему приготовили, возле его изголовья на столик положили и ушли.

А левшу свалили в квартале на пол и спрашивают:

— Кто такой и откудава и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его сейчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепетиром, и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить.

Повел городской левшу на санки сажать, да долго ни одного встречника поймать не мог, потому извозчики от полицейских бегают. А левша все это время на холодном парате лежал; потом поймал городской извозчика, только без теплой лисы, потому что они лису в санях в таком разе под себя прячут, чтобы у полицейских скорей ноги стыли. Везли левшу так непокрытого, да как с одного извозчика на другого станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — ухи рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городовому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Тут велели расписку дать, а левшу до разборки на полу в коридор посадить.

А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, ерфиксом запил и говорит:

— Где мой русский камрад? Я его искать пойду.

Оделся и побежал.

Глава девятнадцатая

Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел, только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину.

— Мне бы,— говорит,— два слова государю непременно надо сказать.

Англичанин побежал к графу Клейнмихелю и зашумел:

— Разве так можно! У него,— говорит,— хоть и шуба овечкина, так душа человеческина.

Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человеческину. А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову — он простые чувства имеет».

Англичанин достиг Платова, который теперь опять на укушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил.

— Как же, братец,— говорит,— очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь; потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил — теперь меня больше не уважают,— а ты беги скорее к коменданту Скобелеву, он в силах и тоже в этой части опытный, он что-нибудь сделает.

Полшкипер пошел и к Скобелеву и все рассказал: какая у левши болезнь и отчего сделалась. Скобелев говорит:

— Я эту болезнь понимаю, только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут; я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын-Сольского.

Но только когда Мартын-Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок о парат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:

— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этою верностью левша перекрестился и помер.

Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:

— Знай,— говорит,— свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.

Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.

Тут Мартын-Сольский Чернышеву о левше и напомнил, а граф Чернышев и говорит:

— Пошел к черту, плезирная трубка, не в свое дело мешайся, а не то я отопрюсь, что никогда от тебя об этом не слыхал,— тебе же и достанется.

Мартын-Сольский подумал: «И вправду отопрется»,— так и молчал.

А доведи они левшины слова в свое время до государя,— в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.

Глава двадцатая

Теперь все это уже «дела минувших дней» и «преданья старины», хотя и не глубокой, но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но как олицетворенный народной фантазией миф он интересен, а его происхождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно.

Таких мастеров, как баснословный левша, теперь, разумеется, уже нет в Туле: машины сравнивали неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности. Благоприятствуя возвышению заработка, машины не благоприятствуют артистической удали, которая иногда превосходила меру, вдохновляя народную фантазию к сочинению подобных нынешней баснословных легенд.

Работники, конечно, умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки, но о прежней старине они вспоминают с гордостью и любовью. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душой».



ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Рассказ на могиле

(Светлой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)

Души их во благих водворятся.

Погребальная песнь.

Глава первая

У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет-Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал

над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные «утешительные выражения», свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, — я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

Глава вторая

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела, как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она несомненно была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услышал историю «тупейного художника».

Глава третья

Он был собрат нашей няни по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, кото-

рый всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями,— словом, художник.

Лучше его, по словам Любви Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

— Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

— Страшное, няня.

— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

Глава четвертая

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда на «мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

— Призовут его, бывало,— говорила Любовь Онисимовна,— и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хо-

холок прекрасно с головы на глаза свешивался, — так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец и «всем нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того *всегда* держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил¹.

Граф же, по словам Любви Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и не доставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, — он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любви Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глазу на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы.

— Нас, актрис, — говорила Любовь Онисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилиц; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам», — тот, кто его уставлял.

Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слышал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шлятся». За это его Каменский помиловал. (Примеч. автора.)

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красоты, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою*».

В каких именно было годах — точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

— Тут,— говорила Любовь Онисимовна,— я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал — заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

— За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизированную *innocence*¹ доставляли на графскую половину.

— Это,— говорила няня,— по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об

Невинность (франц.).

Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и, как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

Глава шестая

А в эти самые роковые часы другое — тоже роковое и иску-
сительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

А требовалось много.

— Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, — говорила няня. — Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритве и в прическе, — как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, — от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали — от них только требовался вид посмирнее, а от военных требовалось — чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

Глава седьмая

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирюльников и говорит:

— Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь — бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, — то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили — рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали, и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, — думают, — и с твоим золотом».

— Мы, — говорят, — этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужны бритвы английские. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

— Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют.

Граф отвечает брату:

— Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь — разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

— А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.

— После того, — говорит, — если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержание всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, — я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

— Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.

— Хорошо,— говорит граф,— пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

— И это,— говорит,— последнее твое слово, брат?

— Да, последнее.

— И в этом только все дело?

— Да, в этом.

— Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего *пуделя* остричь. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

— Хорошо,— говорит,— пуделя остричь я его пришлю.

— Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

Глава восьмая

А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

— Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя.

Аркадий спрашивает:

— Только ли будет всего приказания?

— Ничего больше,— говорит граф,— но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

— Что это с тобой?

А Аркадий отвечает:

— Виноват, на ковре оступился.

Граф намекнул:

— Смотри, к добру ли это?

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

Глава девятая

Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

— Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной mine, и получай десять золотых, а если обрежешь,— убью.

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг,— господь его знает, что с ним сделалось,— стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

— Прощайте.

Тот отвечает:

— Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?

А Аркадий говорит:

— Отчего я решился — это знает только моя грудь да подоплека.

— Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?

— Пистолеты — это пустяки,— отвечает Аркадий,— об них я и не думал.

— Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.

Аркадий, как ему графа напоянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

— Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:

— Не бойся, увезу.

Глава десятая

Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.

Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. — Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся.

— Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть пощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

— Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так — чего никогда с ним не бывало — столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

— Тро боку, тро боку! — и щеточкой лишнее с меня считил.

Глава одиннадцатая

А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, — терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях как медведи сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтоб об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут,— говорит,— змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вокруг — тьма промежуная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят,— один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании,— понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

— Любушка голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособолил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз пропало.

Аркадий говорит:

— Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица — тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.

Глава двенадцатая

Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущук, окрутимся.

Тот говорит:

— Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, — я вас здесь окручу.

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

— Ох, светы мои, все бы это ничего — не таких, мне случилось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, — прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, — она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

Глава тринадцатая

У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не пасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

— А ты, свет, вот сюда.

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать.

А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в который я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропиленный, решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо,— весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько:

— Ох, светы мои, ох, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцем через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я»,— думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

— Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукой:

— Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл!

А с этим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

— Вылезай,— говорит,— соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

— Да,— говорит,— видно, нечего делать, ваша взяла,— везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

— Светы мои, видите еще, какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

— Ничего, не беспокойся, все это ему причтется,— и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней: на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такую же охраною повезли на задних, а на средних излишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается,— думают, может быть, свадьба.

Глава четырнадцатая

Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась?

Я всем говорю:

— Ах, даже нисколечко!

Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым,— той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...

Как почуяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бежать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней... И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косой и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти,— такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает — мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было», — поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

Глава пятнадцатая

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, как убралася перед вечером,— продолжала няня,— сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала,— на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись...»

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

«Что это?»

А она отвечает:

«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».

Я говорю:

«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».

Она говорит:

«Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу,— очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: его господь уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу, не мои волосы,— белые... Что это!

А она мне говорит:

«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было — я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу... Отсосаться надо... жжет сердце».

И все сосала, все сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

«Спит горе или не спит?»

Я отвечаю:

«Горе не спит».

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал:

«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что

ты брата моего, графа и дворянина; с пистолетами его не боялся, я тебе путь чести открою,— я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».

«Ему,— говорила пестрядинная старушка,— теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть,— что пасть в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер,— потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпойшь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

Глава шестнадцатая

Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно,— думаю,— это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу

догадаться и тайну про себя утаю, а записку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать и глазам своим не верю...

Глава семнадцатая

Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе, на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

— А дальше,— продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством,— писал так, что, «какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а всё за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

Глава восемнадцатая

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

— Что такое они говорили, того я,— сказывала она,— ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:

«Это,— говорит,— они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Со всем,— говорит,— горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется,— указала она на мрачные и седые развалины,— а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

Глава девятнадцатая

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:

— А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

— Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер,— его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоянного дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал — жив остался и в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил всё только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелкнул, так всю позвонцовую кость и растрошил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли, — дорогой умер. А тульский, рассказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить — всех орловских убью».

— Ну, а вы же,— говорю,— на похоронах были или нет?

— Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

— И прощались с ним?

— Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный,— говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько это он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

— А вы,— говорю,— сами после это каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

— Поначалу не помню,— говорит,— как домой пришла... Со всеми вместе ведь — так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя,— ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо — ты плачь, чтобы из сердца исток был».

Я говорю:

«Не могу, теточка,— сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».

А она говорит:

«Ну, значит теперь плакона не миновать».

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь — соси».

Я говорю:

«Не хочется».

«Дурочка,— говорит,— да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом — на минуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди всё ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

— Спасибо, голубчик,— не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется

на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальни мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, — юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать — фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.



А.Н.ОСТРОВСКИЙ



П Р О З А

Л Е С

БЕСПРИДАНИЦА



Песни

Текст печатается по изданию:
А. Н. ОСТРОВСКИЙ
Полное собрание сочинений в двенадцати томах
М., «Искусство», 1974

ГРОЗА

Драма в пяти действиях

ЛИЦА¹:

Савел Прокофьевич Дикой, купец, значительное лицо в городе.
Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный.
Марфа Игнатьевна Кабанова (Кабаніха), богатая купчиха, вдова.
Тихон Иванович Кабанов,
Катерина, жена его.
Варвара, сестра Тихона.
Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле.
Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикого.
Шапкин, мещанин.
Феклуша, странница.
Глаша, девка в доме Кабановой.
Барыня с двумя лакеями, старуха 70-ти лет, полусумасшедшая.
Городские жители обоего пола.

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом.
Между 3-м и 4-м действиями проходит 10 дней.

¹ Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. (Примеч. автора.)



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Общественный сад на высоком берегу Волги; за Волгой сельский вид.
На сцене две скамейки и несколько кустов.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку,
Кудряш и Шапкин прогуливаются.

Кулигин (*поет*). «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» (*Перестает петь.*) Чудеса, истинно надобно сказать, что чудеса! Кудряш! Вот, братец ты мой, пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш. А что?

Кулигин. Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется.

Кудряш. Нешто!

Кулигин. Восторг! А ты «нешто́»! Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита.

Кудряш. Ну, да ведь с тобой что толковать! Ты у нас антик, химик.

Кулигин. Механик, самоучка-механик.

Кудряш. Все одно.

Молчание.

Кулигин (показывает в сторону). Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?

Кудряш. Это? Это Дикой племянника ругает.

Кулигин. Нашел место!

Кудряш. Ему везде место. Боится, что ль, он кого! Достался ему на жертву Борис Григорьич, вот он на нем и ездит.

Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.

Кудряш. Пронзительный мужик!

Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.

Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!

Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!

Кудряш. Мало у нас парней-то на мою статью, а то бы мы его озорничать-то отучили.

Шапкин. А что бы вы сделали?

Кудряш. Постраждали бы хорошенько.

Шапкин. Как это?

Кудряш. Вчетвером этак, впятером в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался.

Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать.

Кудряш. Хотел, да не отдал, так это все одно, что ничего. Не отдаст он меня: он чует носом-то своим, что я свою голову дешево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею.

Шапкин. Ой ли?

Кудряш. Что тут: ой ли! Я грубиян считаюсь; за что ж он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь, а пускай же он меня боится.

Шапкин. Уж будто он тебя и не ругает?

Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не спускаю и я: он слово, а я десять; плюнет, да и пойдет. Нет, уж я перед ним рабствовать не стану.

Кулигин. С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть.

Кудряш. Ну вот, коль ты умен, так ты его прежде учили-вости-то выучи, да потом и нас учи! Жаль, что дочери-то у него подростки, больших-то ни одной нет.

Шапкин. А то что ж бы?

Кудряш. Я б его уважил. Больно лих я на девок-то!

Проходят Дикой и Борис. Кулигин снимает шапку.

Шапкин (*Кудряшу*). Отойдем к сторонке: еще привяжется, пожалуй.

Отходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Дикой и Борис.

Дикóй. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади ты пропадом!

Борис. Праздник; что дома-то делать!

Дикóй. Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не смей мне навстречу попадаться»; тебе все неймется! Мало тебе места-то? Куда ни поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты, как столб, стоишь-то! Тебе говорят аль нет?

Борис. Я и слушаю, что ж мне делать еще!

Дикой (*посмотрев на Бориса*). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не хочу, с езуитом. (*Уходя.*) Вот навязался! (*Плует и уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин.

Кулигин. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не пойдем мы никак. Охота вам жить у него да брань переносить.

Борис. Уж какая охота, Кулигин! Неволя.

Кулигин. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить? Коли можно, сударь, так скажите нам.

Борис. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?

Кулигин. Ну, как не знать!

Кудряш. Как не знать!

Борис. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней, уж очень ей дико казалось.

Кулигин. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, сударь, иметь.

Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба вдруг и умерли в холеру, мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придем в совершеннолетие, только с условием.

Кулигин. С каким же, сударь?

Борис. Если мы будем к нему почтительны.

Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда.

Борис. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, надругается всячески, как его душе угодно, а кончит все-таки тем, что не даст ничего или так, какую-нибудь малость. Да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало.

Кудряш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны?

Борис. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен!»

Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело.

Борис. Кабы я один, так бы ничего! Я бы бросил все да уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал, да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Какова бы ей здесь жизнь была — и представить страшно.

Кудряш. Уж само собой. Нешто они обращение понимают?

Кулигин. Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?

Борис. Да ни на каком. «Живи, говорит, у меня, делай, что прикажут, а жалованья, что положу». То есть через год разочтет, как ему будет угодно.

Кудряш. У него уж такое заведение. У нас никто и пикнуть не смей о жалованье, изругает на чем свет стоит. «Ты, говорит, почем знаешь, что я на уме держу? Нешто ты мою душу можешь знать! А может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам». Вот ты и поговори с ним! Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил.

Кулигин. Что ж делать-то, сударь! Надо стараться угождать как-нибудь.

Борис. В том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно. На него и свои-то никак угодить не могут; а уж где ж мне?

Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. Другой рад от своего отступить, только бы унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается.

Борис. Тетка каждое утро всех со слезами умоляет: «Батюшки, не рассердите! Голубчики, не рассердите!»

Кудряш. Да нешто убережешься! Попал на базар, вот и

конец! Всех мужиков переругает. Хоть в убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.

Шапкин. Одно слово: воин!

Кудряш. Еще какой воин-то!

Борис. А вот беда-то, когда его обидит такой человек, которого не обругать не смеет; тут уж домашние держись!

Кудряш. Батюшки! Что смеху-то было! Как-то его на Волге на перевозе гусар обругал. Вот чудеса-то творил!

Борис. А каково домашним-то было! После этого две недели все прятались по чердакам да по чуланам.

Кулигин. Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?

Проходят несколько лиц в глубине сцены.

Кудряш. Пойдем, Шапкин, в разгул! Что тут стоять-то?

Кланяются и уходят.

Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь, без привычки-то. Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здешних не знаю. Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак.

Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь.

Борис. Отчего же?

Кулигин. Жестокые нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтоб на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка, Савел Прокофьич, городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий и стал ему говорить: «Послушай, говорит, Савел Прокофьич, рассчитывай ты мужиков хорошенько! Каждый день ко мне с жалобой ходят!» Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит: «Стоит ли, ваше высокоблагородие, нам с вами об таких пустяках разговаривать! Много у меня в год-то народу перебывает; вы то поймите: не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо!» Вот как, сударь! А между собой-то, сударь, как живут! Торговлю друг у друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга; залучают в свои высокие-то хоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличье-то человеческое истеряно. А те им, за малую благодать, на гербовых листах зlostные кляузы

строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело, и несть конца мучениям. Судятся-судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: водят их, водят, волочат их, волочат; а они еще и рады этому волоченью, того только им и надобно. «Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку». Я было хотел все это стихами изобразить...

Б о р и с. А вы умеете стихами?

К у л и г и н. По-старинному, сударь. Поначитался-таки Ломоносова, Державина... Мудрец был Ломоносов, испытатель природы... А ведь тоже из нашего, из простого звания.

Б о р и с. Вы бы и написали. Это было бы интересно.

К у л и г и н. Как можно, сударь! Съедят, живого проглотят. Мне уж и так, сударь, за мою болтовню достается; да не могу, люблю разговор рассыпать! Вот еще про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать; да когда-нибудь в другое время. А тоже есть что послушать.

Входят Феклуша и другая женщина.

Ф е к л у ш а. Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Да что уж говорить! В обетованной земле живете! И купечество все народ благочестивый, добродетелями многими украшенный! Щедростью и подаениями многими! Я так довольна, так, матушка, довольна, по горлушко! За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых.

Уходят.

Б о р и с. Кабановых?

К у л и г и н. Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем.

Молчание.

Только б мне, сударь, перпету-мобиль найти!

Б о р и с. Что ж бы вы сделали?

К у л и г и н. Как же, сударь! Ведь англичане миллион дают; я бы все деньги для общества и употребил, для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего.

Б о р и с. А вы надеетесь найти перпетуум-мобиле?

К у л и г и н. Непременно, сударь! Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Борис (один). Жаль его разочаровывать-то! Какой хороший человек! Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет! Ну, к чему пристало! мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит, а тут еще сдуру-то влюбляться вздумал. Да в кого! В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся! (Молчание.) А все-таки нейдет она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она! Идет с мужем, ну и свекровь с ними! Ну не дурак ли я! Погляди из-за угла, да и ступай домой. (Уходит.)

С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.

Кабанова. Если ты хочешь мать послушать, так ты, как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала.

Кабанов. Да как же я могу, маменька, вас послушаться!

Кабанова. Не очень-то нынче старших уважают.

Варвара (про себя). Не уважишь тебя, как же!

Кабанов. Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг.

Кабанова. Поверила бы я тебе, мой друг, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтение родителям от детей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят.

Кабанов. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажет, так, я думаю, можно бы перенести! А! как ты думаешь?

Кабанов. Да когда же я, маменька, не переносил от вас?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать.

Кабанов (вздыхая, в сторону). Ах ты, господи. (Матери.) Да смеем ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, все думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не дает, со свету сживает. А сохрани господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну, и пошел разговор, что свекровь заела совсем.

Кабанов. Нешто, маменька, кто говорит про вас?

К а б а н о в а. Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы я слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. *(Вздыхает.)* Ох, грех тяжкий! Вот долго ли согрешить-то! Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори что хочешь про меня. Никому не закажешь говорить: в глаза не посмеют, так за глаза станут.

К а б а н о в. Да отсохни язык...

К а б а н о в а. Полно, полно, не божись! Грех! Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу.

К а б а н о в. В чем же вы, маменька, это видите?

К а б а н о в а. Да во всем, мой друг! Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Аль жена тебя, что ли, отводит от меня, уж не знаю.

К а б а н о в. Да нет, маменька! Что вы, помилуйте!

К а т е р и н а. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит.

К а б а н о в а. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось! Ведь он мне тоже сын; ты этого не забывай! Что ты выскочила в глазах-то поюлить! Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.

В а р в а р а *(про себя)*. Нашла место наставления читать.

К а т е р и н а. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна, ничего я из себя не доказываю.

К а б а н о в а. Да я об тебе и говорить не хотела; а так, к слову пришлось.

К а т е р и н а. Да хоть и к слову, за что ж ты меня обижаешь?

К а б а н о в а. Эка важная птица! Уж и обиделась сейчас.

К а т е р и н а. Напраслину-то терпеть кому ж приятно!

К а б а н о в а. Знаю я, знаю, что вам не по нутру мои слова, да что ж делать-то, я вам не чужая, у меня об вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну, что ж, дождетесь, поживете и на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте что хотите, не будет над вами старших. А может, и меня вспомняете.

К а б а н о в. Да мы об вас, маменька, денно и ночью бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху.

К а б а н о в а. Ну, полно, перестань, пожалуйста. Может быть, ты и любил мать, пока был холостой. До меня ли тебе: у тебя жена молодая.

К а б а н о в. Одно другому не мешает-с: жена само по себе, а к родительнице я само по себе почтение имею.

К а б а н о в а. Так променяешь ты жену на мать? Ни в жизнь я этому не поверю.

К а б а н о в. Да для чего ж мне менять-с? Я обеих люблю.

К а б а н о в а. Ну да, так и есть, размазывай! Уж я вижу, что я вам помеха.

К а б а н о в. Думайте как хотите, на все есть ваша воля; только я не знаю, что я за несчастный такой человек на свет рожден, что не могу вам угодить ничем.

К а б а н о в а. Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя жена бояться после этого?

К а б а н о в. Да зачем же ей бояться? С меня и того довольно, что она меня любит.

К а б а н о в а. Как зачем бояться! Как зачем бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станет бояться, меня и подавно. Какой же это порядок-то в доме будет? Ведь ты, чай, с ней в законе живешь. Али, по-вашему, закон ничего не значит? Да уж коли ты такие дурацкие мысли в голове держишь, ты бы при ней-то, по крайней мере, не болтал да при сестре, при девке; ей тоже замуж идти: этак она твоей болтовни наслушается, так после муж-то нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой еще ум-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить.

К а б а н о в. Да я, маменька, и не хочу своей волей жить. Где уж мне своей волей жить!

К а б а н о в а. Так, по-твоему, нужно все лаской с женой? Уж и не прикрикнуть на нее, и не пригрозить?

К а б а н о в. Да я, маменька...

К а б а н о в а (горячо). Хоть любовника заводи! А? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Ну, говори!

К а б а н о в. Да, ей-богу, маменька...

К а б а н о в а (совершенно хладнокровно). Дурак! (Вздыхает.) Что с дураком и говорить! Только грех один!

Молчание.

Я домой иду.

К а б а н о в. И мы сейчас, только раз-другой по бульвару пройдем.

К а б а н о в а. Ну, как хотите, только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться! Знаешь, я не люблю этого.

К а б а н о в. Нет, маменька, сохрани меня господи!

К а б а н о в а. То-то же! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, без Кабановой.

Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки! Вот жизнь-то моя какая!

Катерина. Чем же я-то виновата?

Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю.

Варвара. Где тебе знать!

Кабанов. То все приставала: «Женись да женись, я хоть бы поглядела на тебя, на женатого!» А теперь поедом ест, проходу не дает — все за тебя.

Варвара. Так нешто она виновата! Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. *(Отворачивается.)*

Кабанов. Толкуй тут! Что ж мне делать-то?

Варвара. Знай свое дело — молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь — переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то.

Кабанов. Ну, а что?

Варвара. Известно, что. К Савелу Прокофьичу хочется, выпить с ним. Что, не так, что ли?

Кабанов. Угадала, брат.

Катерина. Ты, Тиша, скорей приходи, а то маменька опять браниться станет.

Варвара. Ты проворней, в самом деле, а то знаешь ведь!

Кабанов. Уж как не знать!

Варвара. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать.

Кабанов. Я мигом. Подождите! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Катерина и Варвара.

Катерина. Так ты, Варя, жалеешь меня?

Варвара *(глядя в сторону)*. Разумеется, жалко.

Катерина. Так ты, стало быть, любишь меня? *(Крепко целует.)*

Варвара. За что ж мне тебя не любить-то!

Катерина. Ну, спасибо тебе! Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.

Молчание.

Знаешь, мне что в голову пришло?

Варвара. Что?

Катерина. Отчего люди не летают?

Варвара. Я не понимаю, что ты говоришь.



А. Н. Островский
«ГРОЗА»

К а т е р и н а. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь? (Хочет бежать.)

В а р в а р а. Что ты выдумываешь-то?

К а т е р и н а (вздыхая). Какая я была резвая! Я у вас завяла совсем.

В а р в а р а. Ты думаешь, я не вижу?

К а т е р и н а. Такая ли я была! Я жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня, как куклу, работать не принуждала; что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я тебе сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано; коли летом, так схожу на ключок, умоюсь, принесу с собой водицы и все, все цветы в доме полью. У меня цветов было много, много. Потом пойдем с маменькой в церковь, все и странницы,— у нас полон дом был странниц да богомолков. А придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом, а странницы станут рассказывать, где они были, что видели, жития разные, либо стихи поют. Так до обеда время и пройдет. Тут старухи уснуть лягут, а я по саду гуляю. Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. Таково хорошо было!

В а р в а р а. Да ведь и у нас то же самое.

К а т е р и н а. Да здесь все как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить! Точно, бывало, я в рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, как все это в одну секунду было. Маменька говорила, что все, бывало, смотрят на меня, что со мной делается! А знаешь: в солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом столбе ходит дым, точно облако, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе летают и поют. А то, бывало, девушка, ночью встану,— у нас тоже везде лампадки горели,— да где-нибудь в уголке и молюсь до утра. Или рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит, упаду на колена, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила, не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно. А какие сны мне снились, Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то.

В а р в а р а. А что же?

К а т е р и н а (помолчав). Я умру скоро.

В а р в а р а. Полно, что ты!

К а т е р и н а. Нет, я знаю, что умру. Ох, девушка, что-то со мной недоброе делается, чудо какое-то! Никогда со мной этого не было. Что-то во мне такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, или... уж и не знаю.

В а р в а р а. Что же с тобой такое?

К а т е р и н а (*берет ее за руку*). А вот что, Варя, быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня страх! Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, а удержаться мне не за что. (*Хватается за голову рукой.*)

В а р в а р а. Что с тобой? Здорова ли ты?

К а т е р и н а. Здорова... Лучше бы я больна была, а то нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то. И никуда я от нее не уйду. Думать стану — мыслей никак не соберу, молиться — не отмолюсь никак. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши шепчет, да все про такие дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самое себя совестно сделается. Что со мной? Перед бедой перед какой-нибудь это! Ночью, Варя, не спится мне, все мерещится шепот какой-то: кто-то так ласково говорит со мной, точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы; а точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то, и я иду за ним, иду...

В а р в а р а. Ну?

К а т е р и н а. Да что же это я говорю тебе: ты — девушка.

В а р в а р а (*оглядываясь*). Говори! Я хуже тебя.

К а т е р и н а. Ну, что ж мне говорить? Стыдно мне.

В а р в а р а. Говори, нужды нет!

К а т е р и н а. Сделается мне так душно, так душно дома, что бежала бы. И такая мысль придет на меня, что, кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись...

В а р в а р а. Только не с мужем.

К а т е р и н а. А ты почему знаешь?

В а р в а р а. Еще бы не знать!..

К а т е р и н а. Ах, Варя, грех у меня на уме! Сколько я, бедная, плакала, чего уж я над собой не делала! Не уйти мне от этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это страшный грех, Варенька, что я другого люблю?

В а р в а р а. Что мне тебя судить! У меня свои грехи есть.

К а т е р и н а. Что же мне делать! Сил моих не хватает. Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь сделаю над собой!

В а р в а р а. Что ты! Бог с тобой! Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и видаться можно будет.

К а т е р и н а. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!

В а р в а р а. Чего ты испугалась?

К а т е р и н а. Если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете.

В а р в а р а. А вот погоди, там увидим.

К а т е р и н а. Нет, нет, и не говори мне, я и слушать не хочу.

В а р в а р а. А что за охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, тебя! Как же, дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить-то!

Входит барыня с палкой и два лакея в треугольных шляпах сзади.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же и бары

Б а р ы н я. Что, красавицы? Что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то ваша вас радует? Вот красота-то куда ведет. (*Показывает на Волгу.*) Вот, вот, в самый омут.

Варвара улыбается.

Что смеетесь? Не радуйтесь! (*Стучит палкой.*) Все в огне гореть будете неугасимом. Все в смоле будете кипеть неуголимой! (*Уходя.*) Вон, вон куда красота-то ведет! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

К а т е р и н а и В а р в а р а.

К а т е р и н а. Ах, как она меня испугала,— я дрожу вся, точно она пророчит мне что-нибудь.

В а р в а р а. На свою бы тебе голову, старая карга!

К а т е р и н а. Что она сказала такое, а? Что она сказала?

В а р в а р а. Вздор все. Очень нужно слушать, что она городит. Она всем так пророчит. Всю жизнь смолоду-то грешила. Спроси-ка, что об ней порасскажут! Вот умирать-то и боится. Чего сама-то боится, тем и других пугает. Даже все мальчишки в городе от нее прячутся,— грозит на них палкой да кричит (*передразнивая*): «Все гореть в огне будете!»

К а т е р и н а (*зажмурившись*). Ах, ах, перестань! У меня сердце упало.

В а р в а р а. Есть чего бояться! Дура старая...

К а т е р и н а. Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах мерещится.

Молчание.

В а р в а р а (оглядываясь). Что это братец нейдет, вон никак гроза заходит.

К а т е р и н а (с ужасом). Гроза! побежим домой! Поскорее!

В а р в а р а. Что ты, с ума, что ли, сошла? Как же ты без братца-то домой покажешься?

К а т е р и н а. Нет, домой, домой! Бог с ним!

В а р в а р а. Да что ты уж очень боишься; еще далеко гроза-то.

К а т е р и н а. А коли далеко, так, пожалуй, подождем немного: а право бы, лучше идти. Пойдем лучше!

В а р в а р а. Да ведь уж коли чему быть, так и дома не спрячешься.

К а т е р и н а. Да все-таки лучше, все покойнее; дома-то я к образам да богу молиться!

В а р в а р а. Я и не знала, что ты так грозы боишься. Я вот не боюсь.

К а т е р и н а. Как, девушка, не бояться! Всякий должен бояться. Не то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь перед богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то,— вот что страшно. Что у меня на уме-то! Какой грех-то! Страшно вымолвить!

Гром.

Ах!

К а б а н о в входит.

В а р в а р а. Вот братец идет. (*Кабанову.*) Беги скорей!

Гром.

К а т е р и н а. Ах! Скорей, скорей!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Кабановых.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г л а ш а (собирает платье в узлы) и Ф е к л у ш а (входит).

Ф е к л у ш а. Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, милая?

Г л а ш а. Хозяина в дорогу собираю.

Ф е к л у ш а. Аль едет куда, свет наш?

Г л а ш а. Едет.

Ф е к л у ш а. На́долго, милая, едет?

Г л а ш а. Нет, нена́долго.

Ф е к л у ш а. Ну, скатертью ему дорога! А что, хозяйка-то станет выть аль нет?

Г л а ш а. Уж не знаю, как тебе сказать.

Ф е к л у ш а. Да она у вас воет когда?

Г л а ш а. Не слышать что-то.

Ф е к л у ш а. Уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то.

Молчание.

А вы, девушка, за убогой-то присматривайте, не стянула б чего.

Г л а ш а. Кто вас разберет, все вы друг на друга клеплете. Что вам ладно-то не живется? Уж у нас ли, кажется, вам, странным, не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь; греха-то вы не боитесь.

Ф е к л у ш а. Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, милая девушка: вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и надобно их всех побороть. Трудно, милая девушка!

Г л а ш а. Отчего ж к вам так много?

Ф е к л у ш а. Это, матушка, враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть, точно; я сама знаю, что есть. Сладко поестъ люблю. Ну, так что ж! По немощи моей господь посылает.

Г л а ш а. А ты, Феклуша, далеко ходила?

Ф е к л у ш а. Нет, милая. Я, по своей немощи, далеко не ходила; а слышать — много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой — салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему всё напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, где все люди с песьими головами.

Г л а ш а. Отчего ж так, с песьими?

Ф е к л у ш а. За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу: не будет ли чего на бедность. Прощай покудова!

Г л а ш а. Прощай.

Ф е к л у ш а уходит.

Вот еще какие земли есть! Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть; нет, нет да и услышишь, что на белом свету делается; а то бы так дураками и померли.

Входят Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Катерина и Варвара.

Варвара (*Глаше*). Тащи узлы-то в кибитку, лошади приехали. (*Катерине*.) Молоду тебя замуж-то отдали, погулять-то тебе в девках не пришлось: вот у тебя сердце-то и не уходилось еще.

Г л а ш а уходит.

Катерина. И никогда не уходится.

Варвара. Отчего ж?

Катерина. Такая уж я зародилась, горячая! Я еще лет шести была, не больше, так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно; я выбежала на Волгу, села в лодку да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять!

Варвара. Ну, а парни поглядывали на тебя?

Катерина. Как не поглядывать!

Варвара. Что же ты? Неужто не любила никого?

Катерина. Нет, смеялась только.

Варвара. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь.

Катерина. Нет, как не любить! Мне жалко его очень!

Варвара. Нет, не любишь. Коли жалко, так не любишь. Да и не за что, надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься! Давно уж я заметила, что ты любишь другого человека.

Катерина (*с испугом*). По чем же ты заметила?

Варвара. Как ты смешно говоришь! Маленькая я, что ли! Вот тебе первая примета: как ты увидишь его, вся в лице переменишься.

Катерина потупляет глаза.

Да мало ли...

Катерина (*потупившись*). Ну, кого же?

Варвара. Да ведь ты сама знаешь, что́ называть-то?

Катерина. Нет, назови. По имени назови!

В а р в а р а. Бориса Григорьича.

К а т е р и н а. Ну да, его, Варенька, его! Только ты, Варенька, ради бога...

В а р в а р а. Ну, вот еще! Ты сама-то, смотри, не проговоришь как-нибудь.

К а т е р и н а. Обманывать-то я не умею, скрыть-то ничего не могу.

В а р в а р а. Ну, а ведь без этого нельзя; ты вспомни, где ты живешь! У нас ведь дом на том держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало. Я вчера гуляла, так его видела, говорила с ним.

К а т е р и н а (*после непродолжительного молчания, потупившись*). Ну, так что ж?

В а р в а р а. Кланяться тебе приказал. Жаль, говорит, что видеться негде.

К а т е р и н а (*потупившись еще более*). Где же видеться! Да и зачем...

В а р в а р а. Скучный такой...

К а т е р и н а. Не говори мне про него, сделай милость, не говори! Я его и знать не хочу! Я буду мужа любить. Тиша, голубчик мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотела, а ты меня смущаешь.

В а р в а р а. Да не думай, кто же тебя заставляет?

К а т е р и н а. Не жалеешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Разве я хочу об нем думать; да что делать, коли из головы нейдет. Об чем ни задумаю, а он так и стоит перед глазами. И хочу себя переломить, да не могу никак. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять враг смущал. Ведь я было из дому ушла.

В а р в а р а. Ты какая-то мудрёная, бог с тобой! А по-моему: делай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

К а т е р и н а. Не хочу я так. Да и что хорошего! Уж я лучше буду терпеть, пока терпится.

В а р в а р а. А не стерпится, что ж ты сделаешь?

К а т е р и н а. Что я сделаю?

В а р в а р а. Да, что ты сделаешь?

К а т е р и н а. Что мне только захочется, то и сделаю.

В а р в а р а. Сделай, попробуй, так тебя здесь заедят.

К а т е р и н а. Что мне! Я уйду, да и была такова.

В а р в а р а. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

К а т е р и н а. Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру! Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так не стану, хоть ты меня режь!

Молчание.

В а р в а р а. Знаешь что, Катя! Как Тихон уедет, так давай в саду спать, в беседке.

К а т е р и н а. Ну зачем, Варя?

В а р в а р а. Да нешто не все равно?

К а т е р и н а. Боюсь я в незнакомом-то месте ночевать.

В а р в а р а. Чего бояться-то! Глаша с нами будет.

К а т е р и н а. Все как-то робко! Да я, пожалуй.

В а р в а р а. Я б тебя и не звала, да меня-то одну маменька не пустит, а мне нужно.

К а т е р и н а (смотря на нее). Зачем же тебе нужно?

В а р в а р а (смеется). Будем там ворожить с тобой.

К а т е р и н а. Шутишь, должно быть?

В а р в а р а. Известно, шучу; а то неужто в самом деле?

Молчание.

К а т е р и н а. Где ж это Тихон-то?

В а р в а р а. На что он тебе?

К а т е р и н а. Нет, я так. Ведь скоро едет.

В а р в а р а. С маменькой сидят запершись. Точит она его теперь, как ржа железо.

К а т е р и н а. За что же?

В а р в а р а. Ни за что, так, уму-разуму учит. Две недели в дороге будет, заглазное дело. Сама посуди! У нее сердце все изнает, что он на своей воле гуляет. Вот она ему теперь и нада-ет приказов, один другого грозней, да потом к образу поведет, побожиться заставит, что все так точно он и сделает, как при-казано.

К а т е р и н а. И на воле-то он словно связанный.

В а р в а р а. Да, как же, связанный! Он как выедет, так запьет. Он теперь слушает, а сам думает, как бы ему вырваться-то поскорей.

Входит Кабанова и Кабанов.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же. Кабанова и Кабанов.

К а б а н о в а. Ну, ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри ж, помни! На носу себе заруби!

К а б а н о в. Помню, маменька.

К а б а н о в а. Ну, теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с богом.

К а б а н о в. Да-с, маменька, пора.

К а б а н о в а. Ну!

К а б а н о в. Чего изволите-с?

К а б а н о в а. Что ж ты стоишь, разве порядку не знаешь? Приказывай жене-то, как жить без тебя.

Катерина потупила глаза.

К а б а н о в. Да она, чай, сама знает.

К а б а н о в а. Разговаривай еще! Ну, ну, приказывай! Чтоб и я слышала, что ты ей приказываешь! А потом приедешь, спросишь, так ли все исполнила.

К а б а н о в (*становясь против Катерины*). Слушайся маменьки, Катя!

К а б а н о в а. Скажи, чтоб не грубила свекрови.

К а б а н о в. Не груби!

К а б а н о в а. Чтоб почитала свекровь, как родную мать!

К а б а н о в. Почитай, Катя, маменьку, как родную мать!

К а б а н о в а. Чтоб сложа руки не сидела, как барыня!

К а б а н о в. Работай что-нибудь без меня!

К а б а н о в а. Чтоб в окны глаз не пялила!

К а б а н о в. Да, маменька, когда ж она...

К а б а н о в а. Ну, ну!

К а б а н о в. В окны не гляди!

К а б а н о в а. Чтоб на молодых парней не заглядывалась без тебя!

К а б а н о в. Да что ж это, маменька, ей-богу!

К а б а н о в а (*строго*). Ломаться-то нечего! Должен исполнять, что мать говорит. (*С улыбкой.*) Оно все лучше, как приказано-то.

К а б а н о в (*сконфузившись*). Не заглядывайся на парней!

Катерина строго взглядывает на него.

К а б а н о в а. Ну, теперь поговорите промежду себя, коли что нужно. Пойдем, Варвара!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

К а б а н о в и К а т е р и н а (*стоит, как будто в оцепенении*).

К а б а н о в. Катя!

Молчание.

Катя, ты на меня не сердишься?

К а т е р и н а (*после непродолжительного молчания; качает головой*). Нет!

К а б а н о в. Да что ты такая? Ну, прости меня!

К а т е р и н а (*все в том же состоянии, слегка покачав го-*

ловой). Бог с тобой! (*Закрыв лицо рукою.*) Обидела она меня!

К а б а н о в. Все к сердцу-то принимать, так в чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну, и пушай она говорит, а ты мимо ушей пропускай. Ну, прощай, Катя!

К а т е р и н а (*кидаясь на шею мужу*). Тиша, не уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу я тебя!

К а б а н о в. Нельзя, Катя. Коли маменька посылает, как же я не поеду!

К а т е р и н а. Ну, бери меня с собой, бери!

К а б а н о в (*освобождаясь из ее объятий*). Да нельзя.

К а т е р и н а. Отчего же, Тиша, нельзя?

К а б а н о в. Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то; а ты еще навязываешься со мной.

К а т е р и н а. Да неужели же ты разлюбил меня?

К а б а н о в. Да не разлюбил; а с этакой-то неволи от какой хочешь красавицы жены убежишь! Ты подумай то: какой ни на есть, я все-таки мужчина; всю жизнь вот этак жить, как ты видишь, так убежишь и от жены. Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне?

К а т е р и н а. Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?

К а б а н о в. Слова как слова! Какие же мне еще слова говорить! Кто тебя знает, чего ты боишься! Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься.

К а т е р и н а. Не говори ты мне об ней, не тирань ты моего сердца! Ах, беда моя, беда! (*Плачет.*) Куда мне, бедной, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки мои, погибаю я!

К а б а н о в. Да полно ты!

К а т е р и н а (*подходит к мужу и прижимается к нему*). Тиша, голубчик, кабы ты остался, либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого. (*Ласкает его.*)

К а б а н о в. Не разберу я тебя, Катя! То от тебя слова не добьешься, не то что ласки; а то так сама лезешь.

К а т е р и н а. Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде!

К а б а н о в. Ну, да ведь нельзя, так уж нечего делать.

К а т е р и н а. Ну, так вот что! Возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную...

К а б а н о в. Какую клятву?

К а т е р и н а. Вот какую: чтобы не смела я без тебя ни под каким видом ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смела ни о ком, кроме тебя.

К а б а н о в. Да на что ж это?

К а т е р и н а. Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня!

К а б а н о в. Как можно за себя ручаться, мало ль что может в голову прийти.

К а т е р и н а (*падая на колени*). Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...

К а б а н о в (*поднимая ее*). Что ты! Что ты! Какой грех-то! Я и слушать не хочу!

Голос Кабановой: «Пора, Тихон!»
Входят Кабанова, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Кабанова, Варвара и Глаша.

К а б а н о в а. Ну, Тихон, пора. Поезжай с богом! (*Садится.*) Садитесь все!

Все садятся. Молчание.

Ну, прощай! (*Встает и все встают.*)

К а б а н о в (*подходя к матери*). Прощайте, маменька!

К а б а н о в а (*жестом показывает в землю*). В ноги, в ноги!

Кабанов кланяется в ноги, потом целуется с матерью.

Прощайся с женой!

К а б а н о в. Прощай, Катя!

Катерина кидается ему на шею.

К а б а н о в а. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж, глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!

Катерина кланяется в ноги.

К а б а н о в. Прощай, сестрица! (*Целуется с Варварой.*) Прощай, Глаша! (*Целуется с Глашей.*) Прощайте, маменька! (*Кланяется.*)

К а б а н о в а. Прощай! Дальние проводы — лишние слезы.

К а б а н о в уходит, за ним Катерина, Варвара и Глаша.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

К а б а н о в а (*одна*). Молодость-то что значит! Смешно смотреть-то даже на них! Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядку. Проститься-то путем не умеют. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть, ими дом-то

и держится, пока живы. А ведь тоже, глупые, на свою волю хотят, а выйдут на волю-то, так и путаются на покор да на смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя; гостей позовут, посадить не умеют, да еще, гляди, позабудут кого из родных. Смех, да и только! Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь, да вон скорее. Что будет, как старики перемрут, как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть то хорошо, что не увижу ничего.

Входят Катерина и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Кабанова, Катерина и Варвара.

Кабанова. Ты вот похвалялась, что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь-то. Другая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воет, лежит на крыльце; а тебе, видно, ничего.

Катерина. Не к чему! Да и не умею. Что народ-то смешить!

Кабанова. Хитрость-то невеликая. Кабы любила, так бы выучилась. Коли порядком не умеешь, ты хоть бы пример-то этот сделала; все-таки пристойнее; а то, видно, на словах только. Ну, я богу молиться пойду; не мешайте мне.

Варвара. Я со двора пойду.

Кабанова (ласково). А мне что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придет. Еще насидишься!

Уходят Кабанова и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Катерина (одна, задумчиво). Ну, теперь тишина у нас в доме воцарится. Ах, какая скука! Хоть бы дети чьи-нибудь! Эко горе! Деток-то у меня нет: все бы я и сидела с ними да забавляла их. Люблю очень с детьми разговаривать — ангелы ведь это. (Молчание.) Кабы я маленькая умерла, лучше бы было. Глядела бы я с неба на землю да радовалась всему. А то полетела бы невидимо, куда захотела. Вылетела бы в поле и летала бы с василька на василек по ветру, как бабочка. (Задумывается.) А вот что сделаю: я начну работу какую-нибудь по обещанию; пойду в гостиный двор, куплю холста, да и буду шить белье, а потом раздам бедным. Они за меня бога помолят. Вот и засядем шить с Варварой, и не увидим, как время пройдет; а тут Тиша приедет.

Входит Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

К а т е р и н а и В а р в а р а .

В а р в а р а (*покрывает голову платком перед зеркалом*). Я теперь гулять пойду; а ужо нам Глаша постелет постели в саду, маменька позволила. В саду, за малиной, есть калитка, ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На́, вот, может быть, понадобится. (*Подает ключ.*) Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке.

К а т е р и н а (*с испугом отталкивая ключ*). На что! На что! Не надо! Не надо!

В а р в а р а. Тебе не надо, мне понадобится; возьми, не укусит он тебя.

К а т е р и н а. Да что ты затеяла-то, греховодница! Можно ли это! Подумала ль ты! Что ты! Что ты!

В а р в а р а. Ну, я много разговаривать не люблю; да и некогда мне. Мне гулять пора. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

К а т е р и н а (*одна, держа ключ в руках*). Что она это делает-то? Что она только придумывает? Ах, сумасшедшая, право, сумасшедшая! Вот гибель-то! Вот она! Бросить его, бросить далеко, в реку кинуть, чтоб не нашли никогда. Он руки-то жжет, точно уголь. (*Подумав.*) Вот так-то и гибнет наша сестра-то. В неволе-то кому весело! Мало ли что в голову-то придет. Вышел случай, другая и рада, так, очертя голову, и кинется. А как же это можно, не подумавши, не рассудивши-то! Долго ли в беду попасть! А там и плачься всю жизнь, мучайся; неволя-то еще горче покажется. (*Молчание.*) А горька неволя, ох, как горька! Кто от нее не плачет! А пуще всех мы, бабы. Вот хоть я теперь! Живу, маюсь, просвёту себе не вижу! Да и не увижу, знать! Что дальше, то хуже. А теперь еще этот грех-то на меня. (*Задумывается.*) Кабы не свекровь!.. Сокрушила она меня... от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны. (*Задумчиво смотрит на ключ.*) Бросить его? Разумеется, надо бросить. И как он это ко мне в руки попал? На соблазн, на пагубу мою. (*Прислушивается.*) Ах, кто-то идет. Так сердце и упало. (*Прячет ключ в карман.*) Нет!.. Никого! Что я так испугалась! И ключ спрятала... Ну, уж, знать, там ему и быть! Видно, сама судьба того хочет! Да какой же в этом грех, если я взгляну на него раз, хоть издали-то! Да хоть и поговорю-то, так все не беда! А как же я мужу-то!.. Да ведь он сам не захотел. Да может, такого и случая-то еще во всю жизнь не выдет. Тогда

и плачусь на себя: был случай, да не умела пользоваться. Да что я говорю-то, что я себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Перед кем я притворяюсь-то!.. Бросить ключ! Нет, ни за что на свете! Он мой теперь... Будь что будет, а я Бориса увижу! Ах, кабы ночь поскорее!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена 1-я

Улица. Ворота дома Кабановых, перед воротами скамейка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Кабанова и Феклуша (сидят на скамейке).

Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная! Народ-то так и снует, один туда, другой сюда.

Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы и живем не спеша.

Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями, как цветами, украшаются; оттого все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета! Вот хоть бы в Москве: бегают народ взад и вперед неизвестно зачем. Вот она суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот он и бегают. Ему представляется-то, что он за делом бежит; торопится, бедный, людей не узнает, ему мерещится, что его манит некто, а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна. И пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет; а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то, ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этой прекрасной вечер редко кто и за ворота-то выйдет посидеть; а в Москве-то теперь гульбища да игрища, а по улицам-то индо грохот идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змия стали запрягать: все, видишь, для-ради скорости.

Кабанова. Слышала я, милая.

Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела; конечно, другие от суеты не видят ничего, так он им машиной

показывается, они машиной и называют, а я видела, как он лапами-то вот так (*растопыривает пальцы*) делает. Ну, и стон, которые люди хорошей жизни, так слышат.

К а б а н о в а. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови; народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду.

Ф е к л у ш а. Что за крайности, матушка! Сохрани господи от такой напасти! А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу, на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен. Уж сами понимаете кто. И делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевелы сыплет, а народ днем в суете-то своей невидимо и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщины-то у них все такие худые, тела-то никак не нагуляют; да как будто они что потеряли, либо чего ищут, в лице печаль, даже жалко.

К а б а н о в а. Все может быть, моя милая! В наши времена чего дивиться!

Ф е к л у ш а. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умаление приходить.

К а б а н о в а. Как так, милая, в умаление?

Ф е к л у ш а. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались: а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

К а б а н о в а. И хуже этого, милая, будет.

Ф е к л у ш а. Нам-то бы только не дожить до этого.

К а б а н о в а. Может, и доживем.

Входит Д и к о й.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Д и к о й.

К а б а н о в а. Что это ты, кум, бродишь так поздно?

Д и к о й. А кто ж мне запретит!

К а б а н о в а. Кто запретит! Кому нужно!

Д и к о й. Ну и, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ль, у кого? Ты еще что тут! Какого еще тут черта водяного!..

К а б а н о в а. Ну, ты не очень горло-то распускай! Ты най-

ди подешевле меня! А я тебе дорогá! Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. (*Встает.*)

Дикóй. Постой, кума, постой! Не сердись. Еще успеешь дома-то быть: дом-от твой не за горами. Вот он!

Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком.

Дикóй. Никакого дела нет, а я хмелён, вот что!

Кабанова. Что ж ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это?

Дикóй. Ни хвалить, ни бранить. А, значит, я хмелён, ну, и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дела поправить нельзя.

Кабанова. Так ступай, спи!

Дикóй. Куда ж это я пойду?

Кабанова. Домой. А то куда же!

Дикóй. А коли я не хочу домой-то?

Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить.

Дикóй. А потому, что у меня там война идет.

Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть.

Дикóй. Ну так что ж, что я воин? Ну что ж из этого?

Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами. Вот что.

Дикóй. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану!

Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя: столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут.

Дикóй. Вот поди ж ты!

Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня?

Дикóй. А вот что: разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе и умеешь меня разговаривать.

Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь.

Феклуша уходит.

Пойдем в покои!

Дикóй. Нет, я в покои не пойду, в покоях я хуже.

Кабанова. Чем же тебя рассердили-то?

Дикóй. Еще с утра с самого.

Кабанова. Должно быть, денег просили.

Дикóй. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день пристают.

Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.

Дикóй. Понимаю я это; да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что надо

отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать отдам, а обругаю. Потому — только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю разжигать станет; всю внутреннюю вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю человека.

К а б а н о в а. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься.

Д и к о й. Нет, ты, кума, молчи! Ты слушай! Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то, о великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка: за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время! Согрешил-таки: изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня! После прощенья просил, в ноги кланялся, право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи ему и кланялся; при всех ему кланялся.

К а б а н о в а. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо.

Д и к о й. Как так нарочно?

К а б а н о в а. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться; потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не пойдет. Вот что, кум!

Д и к о й. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко!

Г л а ш а входит.

Г л а ш а. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено, пожалуйста!

К а б а н о в а. Что ж, кум, зайди. Закуси, чем бог послал.

Д и к о й. Пожалуй.

К а б а н о в а. Милости просим! (*Пропускает вперед Дикого и уходит за ним.*)

Г л а ш а, сложа руки, стоит у ворот.

Г л а ш а. Никак, Борис Григорьич идет. Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? Должно, так гуляет.

Входит Б о р и с.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г л а ш а, Б о р и с, потом К у л и г и н.

Б о р и с. Не у вас ли дядя?

Г л а ш а. У нас. Тебе нужно, что ль, его?

Б о р и с. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так

пусть сидит: кому его нужно. Дома-то рады-радехоньки, что ушел.

Г л а ш а. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дура, стою-то с тобой! Прощай. (Уходит.)

Б о р и с. Ах ты, господи! Хоть бы одним глазком взглянуть на нее! В дом войти нельзя; здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то! Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то в церкви, либо на дороге, вот и все! Здесь что вышла замуж, что схоронили — все равно.

Молчание.

Уж совсем бы мне ее не видеть; легче бы было! А то видишь урывками, да еще при людях; во сто глаз на тебя смотрят. Только сердце надрывается. Да и с собой-то неладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься всегда здесь у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь. Ну, попал я в городок!

Идет, ему навстречу К у л и г и н.

К у л и г и н. Что, сударь? Гулять изволите?

Б о р и с. Да, так гуляю себе, погода очень хороша нынче.

К у л и г и н. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный, из-за Волги с лугов цветами пахнет, небо чистое...

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне — дна.

Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет.

Б о р и с. Пойдемте!

К у л и г и н. Вот какой, сударь, у нас городишко! Бульвар сделали, а не гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют, а сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, что бы, кажется, им не гулять, не дышать свежим воздухом? Так нет. У всех давно ворота, сударь, заперты и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, либо богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних едят поедом да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых! Да что вам говорить, сударь! По себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного да пьянства! И все шито да крыто — никто ничего не видит и не знает, видит только один бог! Ты, говорит, смотри в людях ме-

ня да на улице, а до семьи моей тебе дела нет; на это, говорит, у меня есть замки, да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное! Знаем мы эти секреты-то! От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные — волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает! Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни об чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну, да бог с ними! А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти у сна воруют часок, другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара.

Показываются К у д р я ш и В а р в а р а.
Целуются.

Б о р и с. Целуются.

К у л и г и н. Это у нас нужды нет.

К у д р я ш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса.
Он подходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Б о р и с, К у л и г и н и В а р в а р а.

К у л и г и н. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду.

Б о р и с. Хорошо, я сейчас приду.

К у л и г и н уходит.

В а р в а р а (*закрываясь платком*). Знаешь овраг за Кабановым садом?

Б о р и с. Знаю.

В а р в а р а. Приходи туда ужо попозже.

Б о р и с. Зачем?

В а р в а р а. Какой ты глупый! Приходи, там увидишь за чем. Ну, ступай скорей, тебя дожидаются.

Б о р и с уходит.

Не узнал ведь! Пущай теперь подумает. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. (*Уходит в ворота.*)

С ц е н а 2-я

Ночь. Овраг, покрытый кустами; наверху забор сада Кабановых и калитка; сверху тропинка.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

К у д р я ш (*входит с гитарой*). Нет никого. Что ж это она там! Ну, посидим да подождем. (*Садится на камень.*) Да со скуки песенку споем. (*Поет.*)

Как донской-то казак, казак вел коня поить,
Добрый молодец, уж он у ворот стоит.
У ворот стоит, сам он думу думает,
Думу думает, как будет жену губить.
Как жена-то, жена мужу возмолилася,
Во скоры́-то ноги ему поклонилася:
«Уж ты, батюшка, ты ли, мил сердечный друг!
Ты не бей, не губи ты меня со вечера!
Ты убей, загуби меня со полуночи!
Дай уснуть моим малым детушкам,
Малым детушкам, всем ближним соседушкам».

Входит Б о р и с.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

К у д р я ш и Б о р и с.

К у д р я ш (*перестает петь*). Ишь ты! Смирен, смирен, а тоже в разгул пошел.

Б о р и с. Кудряш, это ты?

К у д р я ш. Я, Борис Григорьич!

Б о р и с. Зачем это ты здесь?

К у д р я ш. Я-то? Стало быть, мне нужно, Борис Григорьич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда бог несет?

Б о р и с (*оглядывает местность*). Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно, ты можешь идти и в другое место.

К у д р я ш. Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов, а на этой дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег.

Б о р и с. Что с тобой, Ваня?

К у д р я ш. Да что: Ваня! Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела нет. А чужих не трогай! У нас так не

водится, а то парни ноги переломают. Я за свою... да я и не знаю, что сделаю! Горло перерву!

Борис. Напрасно ты сердишься; у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели.

Кудряш. Кто ж велел?

Борис. Я не разобрал, темно было. Девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка.

Кудряш. Кто ж бы это такая?

Борис. Послушай, Кудряш. Можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь?

Кудряш. Говорите, не бойтесь! У меня все одно что умерло.

Борис. Я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев; а дело-то такое...

Кудряш. Полюбили, что ль, кого?

Борис. Да, Кудряш.

Кудряш. Ну что ж, это ничего. У нас насчет этого свободно. Девки гуляют себе как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят.

Борис. То-то и горе мое.

Кудряш. Так неужто ж замужнюю полюбили?

Борис. Замужнюю, Кудряш.

Кудряш. Эх, Борис Григорьич, бросить надоть!

Борис. Легко сказать — бросить! Тебе это, может быть, все равно; ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого! уж я колилюбил...

Кудряш. Ведь это, значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьич!

Борис. Сохрани господи! Сохрани меня господи! Нет, Кудряш, как можно. Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне больше ничего не надо.

Кудряш. Как, сударь, за себя поручиться! А ведь здесь какой народ! Сами знаете. Съедят, в гроб вколотят.

Борис. Ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня!

Кудряш. А она-то вас любит?

Борис. Не знаю.

Кудряш. Да вы видались когда, аль нет?

Борис. Я один раз только и был у них с дядей. А то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел! Какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то будто светится.

Кудряш. Так это молодая Кабанова, что ль?

Борис. Она, Кудряш.

Кудряш. Да! Так вот оно что! Ну, честь имеем проздравить!

Б о р и с. С чем?

К у д р я ш. Да как же! Значит, у вас дело на лад идет, коли сюда приходить велели.

Б о р и с. Так неужто она велела?

К у д р я ш. А то кто же?

Б о р и с. Нет, ты шутишь! Этого быть не может. (*Хватается за голову.*)

К у д р я ш. Что с вами?

Б о р и с. Я с ума сойду от радости.

К у д р я ш. Вот! Есть от чего с ума сходить! Только вы смотрите — себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите! Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта.

В а р в а р а выходит из калитки.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и В а р в а р а, потом К а т е р и н а.

В а р в а р а (*у калитки поет*).

За рекою, за быстрою, мой Ваня гуляет.
Там мой Ванюшка гуляет...

К у д р я ш (*продолжает*).

Товар закупает.

(*Свищет.*)

В а р в а р а (*сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису*). Ты, парень, подожди. Дождешься чего-нибудь. (*Кудряшу.*) Пойдем на Волгу.

К у д р я ш. Ты что ж так долго? Ждать вас еще! Знаешь, что не люблю!

В а р в а р а обнимает его одной рукой и уходят.

Б о р и с. Точно я сон какой вижу! Эта ночь, песни, свиданья! Ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело! Вот и я жду чего-то! А чего жду — и не знаю, и вообразить не могу; только бьется сердце да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей, дух захватывает, подгибаются колени! Вот когда у меня сердце глупое раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет.

К а т е р и н а тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Молчание.

Это вы, Катерина Петровна?

Молчание.

Уж как мне благодарить вас, я и не знаю.

Молчание.

Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! (*Хочет взять ее за руку.*)

Катерина (*с испугом, но не поднимая глаз*). Не трогай, не трогай меня! Ах, ах!

Борис. Не сердитесь!

Катерина. Поди от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем.

Борис. Не гоните меня!

Катерина. Зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски...

Борис. Вы сами велели мне прийти...

Катерина. Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!

Борис. Лучше б мне не видеть вас!

Катерина (*с волнением*). Ведь что я себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли?

Борис. Успокойтесь! (*Берет ее за руку.*) Сядьте!

Катерина. Зачем ты моей гибели хочешь?

Борис. Как же я могу хотеть вашей гибели, когда люблю вас больше всего на свете, больше самого себя!

Катерина. Нет, нет! Ты меня загубил!

Борис. Разве я злодей какой?

Катерина (*качая головой*). Загубил, загубил, загубил!

Борис. Сохрани меня бог! Пусть лучше я сам погибну!

Катерина. Ну, как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе.

Борис. Ваша воля была на то.

Катерина. Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. (*Поднимает глаза и смотрит на Бориса.*)

Небольшое молчание.

Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (*Кидается к нему на шею.*)

Борис (*обнимает Катерину*). Жизнь моя!

Катерина. Знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось!

Борис. Зачем умирать, коли нам жить так хорошо?

Катерина. Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не жить.

Борис. Не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня...

К а т е р и н а. Да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я!..

Б о р и с. Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею!

К а т е р и н а. Э! Что меня жалеть, никто не виноват,— сама на то пошла. Не жалеешь, губи меня! Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю! (*Обнимает Бориса.*) Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься.

Б о р и с. Ну, что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо!

К а т е р и н а. И то! Надуматься-то да наплакаться-то еще успею на досуге.

Б о р и с. А я было испугался; я думал, ты меня прогонишь.

К а т е р и н а (*улыбаясь*). Прогнать! Где уж! С нашим ли сердцем! Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла.

Б о р и с. Я и не знал, что ты меня любишь.

К а т е р и н а. Давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой; иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы.

Б о р и с. Надолго ли муж-то уехал?

К а т е р и н а. На две недели.

Б о р и с. О, так мы погуляем! Время-то довольно.

К а т е р и н а. Погуляем. А там... (*Задумывается.*) Как запрут на замок, вот смерть! А не запрут на замок, так уж найду случай повидаться с тобой!

Входят Кудряш и Варвара.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Кудряш и Варвара.

В а р в а р а. Ну что, сладили?

Катерина прячет лицо у Бориса на груди.

Б о р и с. Сладили.

В а р в а р а. Пошли бы, погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет.

Б о р и с и К а т е р и н а уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень.

К у д р я ш. А это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата очень способно.

В а р в а р а. Все я.

Кудряш. Уж тебя взять на это. А мать-то не хватится?..

Варвара. Э! Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.

Кудряш. А ну, на грех?

Варвара. У нее первый сон крепок; вот к утру, так просыпается.

Кудряш. Да ведь как знать! Вдруг ее нелегкая поднимет.

Варвара. Ну, так что ж! У нас калитка-то, которая со двора, изнутри заперта; из саду; постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слышали. Да и Глаша стережет; чуть что, она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя! Как же можно! Того гляди, в беду попадешь.

Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет.

Варвара (зевая). Как бы это узнать, который час?

Кудряш. Первый.

Варвара. Почему ты знаешь?

Кудряш. Сторож в доску бил.

Варвара (зевая). Пора. Покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так побольше погуляем.

Кудряш (свищет и громко запекает).

Все домой, все домой!
А я домой не хочу.

Борис (за сценой). Слышу!

Варвара (встает). Ну, прощай. (Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого.) Завтра, смотрите, приходите пораньше! (Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина.) Будет вам прощаться-то, не навек расстанетесь, завтра увидите. (Зевает и потягивается.)

Вбегает Катерина, а за ней Борис.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кудряш, Варвара, Борис и Катерина.

Катерина (Варваре). Ну, пойдем, пойдем! (Всходят по тропинке. Катерина оборачивается.) Прощай!

Борис. До завтра!

Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи! (Подходит к калитке.)

Борис. Непременно.

Кудряш (поет под гитару).

Гуляй, млада, до поры,
До вечерней до зари!
Ай-лели, до поры,
До вечерней до зари.

В а р в а р а (у калитки).

А я, млада, до поры,
До утренней до зари,
Ай-лели, до поры,
До утренней до зари!

Уходят.

К у д р я ш.

Как зорюшка занялась,
А я домой поднялась... и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

На первом плане узкая галерея со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки; кой-где трава и кусты; за арками берег и вид на Волгу.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Несколько гуляющих обоего пола проходят за арками.

1 - й. Дождь накрапывает, как бы гроза не собралась?

2 - й. Гляди, сберется.

1 - й. Еще хорошо, что есть где схорониться.

Входят все под своды.

Ж е н щ и н а. А что народу-то гуляет на бульваре! День праздничный, все повышли. Купчихи такие разряженные.

1 - й. Попрячутся куда-нибудь.

2 - й. Гляди, что теперь народу сюда набьется!

1 - й (осматривая стены). А ведь тут, братец ты мой, когда-нибудь, значит, расписано было. И теперь еще местами означает

2 - й. Ну, да, как же! Само собой, что расписано было. Теперь, ишь ты, все впусе оставлено, развалилось, заросло. После пожара так и не поправляли. Да ты и пожару-то этого не помнишь, этому лет сорок будет.

1 - й. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было, довольно затруднительно это понимать.

2-й. Это геенна огненная.

1 - й. Так, братец ты мой!

2 - й. И едут туда всякого звания люди.

1 - й. Так, так, понял теперь.

2 - й. И всякого чину.

1 - й. И арапы?

2 - й. И арапы.

1 - й. А это, братец ты мой, что такое?

2 - й. А это литовское разорение. Битва́ — видишь? Как наши с Литвой бились.

1 - й. Что ж это такое — Литва?

2 - й. Так она Литва и есть.

1 - й. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала.

2 - й. Не умею тебе сказать. С неба так с неба.

Женщина. Толкуй еще! Все знают, что с неба; и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны.

1 - й. А что, братец ты мой! Ведь это так точно!

Входит Дикóй и за ним Кулигин без шапки. Все кланяются и принимают почтительное положение.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Дикóй и Кулигин.

Дикóй. Ишь ты, замочило всего. (*Кулигину.*) Отстань ты от меня! Отстань! (*С сердцем.*) Глупый человек!

Кулигин. Савел Прокофьич, ведь от этого, ваше степенство, для всех вообще обывателей польза.

Дикóй. Поди ты прочь! Кака́ польза! Кому нужна эта польза?

Кулигин. Да хоть бы для вас, ваше степенство, Савел Прокофьич. Вот бы, сударь, на бульваре, на чистом месте, и поставить. А какой расход? Расход пустой: столбик каменный (*показывает жестами размер каждой вещи*), дощечку медную, такую круглую, да шпильку, вот шпильку прямую (*показывает жестом*), простую самую. Уж я все это прилажу, и цифры вырежу уже все сам. Теперь вы, ваше степенство, когда изволите гулять, или прочие, которые гуляющие, сейчас подойдете и видите, который час. А то этакое место прекрасное, и вид, и все, а как будто пусто. У нас тоже, ваше степенство, и проезжие бывают, ходят туда наши виды смотреть, все-таки украшение, — для глаз оно приятней.

Дикóй. Да что ты ко мне лезешь со всяким вздором! Может, я с тобой и говорить-то не хочу. Ты должен был прежде узнать, в расположении ли я тебя слушать, дурака, или нет. Что я тебе — ровный, что ли! Ишь ты — какое дело нашел важное! Так прямо с рылом-то и лезет разговаривать.

Кулигин. Кабы я с своим делом лез, ну, тогда был бы я виноват. А то я для общей пользы, ваше степенство. Ну что значит для общества каких-нибудь рублей десять! Больше, сударь, не понадобится.

Дикóй. А может, ты украсть хочешь; кто тебя знает!

Кулигин. Коли я свои труды хочу даром положить, что

же я могу украсть, ваше степенство! Да меня здесь все знают; про меня никто дурно не скажет.

Д и к о́й. Ну и пушай знают, а я тебя знать не хочу.

К у л и г и н. За что, сударь, Савел Прокофьич, честного человека обижать изволите?

Д и к о́й. Отчет, что ли, я стану тебе давать! Я и поважней тебя никому отчета не даю. Хочу так думать о тебе, так и думаю. Для других ты честный человек, а я думаю, что ты разбойник, вот и все. Хотелось тебе это слышать от меня? Так вот слушай! Говорю, что разбойник, и конец! Что ж ты, судиться, что ли, со мной будешь! Так ты знай, что ты червяк. Захочу — помилую, захочу — раздавлю.

К у л и г и н. Бог с вами, Савел Прокофьич! Я, сударь, маленький человек, меня обидеть недолго. А я вам вот что доложу, ваше степенство: «И в рубище почтенна добродетель!»

Д и к о́й. Ты у меня грубить не смей! Слышишь ты!

К у л и г и н. Никакой я грубости вам, сударь, не делаю; а говорю вам потому, что, может быть, вы и вздумаете когда что-нибудь для города сделать. Силы у вас, ваше степенство, много; была б только воля на доброе дело. Вот хоть бы теперь то возьмем: у нас грозы частые, а не заведем мы громовых отводов.

Д и к о́й (*гордо*). Все суета!

К у л и г и н. Да какая же суета, когда опыты были.

Д и к о́й. Какие такие там у тебя громовые отводы?

К у л и г и н. Стальные.

Д и к о́й (*с гневом*). Ну, еще что?

К у л и г и н. Шесты стальные.

Д и к о́й (*сердясь более и более*). Слышал, что шесты, аспид ты этакой; да еще-то что? Наладил: шесты! Ну, а еще что?

К у л и г и н. Ничего больше.

Д и к о́й. Да гроза-то что такое, по-твоему? а? Ну, говори.

К у л и г и н. Электричество.

Д и к о́й (*топнув ногой*). Какое еще там елестричество! Ну, как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? говори! Татарин?

К у л и г и н. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.

Д и к о́й. А за эти слова тебя к городничему отправить, так он тебе задаст! Эй, почтенные, прислушайте-ка, что он говорит!

Кулигин. Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю. (*Махнув рукой, уходит.*)

Дикóй. Что ж ты, украдешь, что ли, у кого? Держите его! Этакой фальшивый мужичонко! С этим народом какому надо быть человеку? Я уж и не знаю. (*Обращаясь к народу.*) Да вы, проклятые, хоть кого в грех введете! Вот не хотел нынче сердиться, а он, как нарочно, рассердил-таки. Чтоб ему провалиться! (*Сердито.*) Перестал, что ль, дождик-то?

1-й. Кажется, перестал.

Дикóй. Кажется! А ты, дурак, сходи да посмотри. А то: кажется.

1-й (*выйдя из-под сводов*). Перестал!

Дикóй уходит, и все за ним. Сцена несколько времени пуста. Под своды быстро входит Варвара и, притаившись, высматривает.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Варвара и потом Борис.

Варвара. Кажется, он!

Борис проходит в глубине сцены.

Сс-сс!

Борис оглядывается.

Поди сюда. (*Манит рукой.*)

Борис входит.

Что нам с Катериной-то делать? Скажи на милость!

Борис. А что?

Варвара. Беда ведь, да и только. Муж приехал, ты знаешь ли это? И не ждали его, а он приехал.

Борис. Нет, я не знал.

Варвара. Она просто сама не своя сделалась.

Борис. Видно, только я и пожил десяток деньков, пока его не было. Уж теперь не увидишь ее!

Варвара. Ах ты какой! Да ты слушай! Дрожит вся, точно ее лихорадка бьет; бледная такая, мечется по дому, точно чего ищет. Глаза как у помешанной! Давеча утром плакать принялась, так и рыдает. Батюшки мои! Что мне с ней делать?

Борис. Да, может быть, пройдет это у нее!

Варвара. Ну, уж едва ли. На мужа не смеет глаз поднять. Маменька замечать это стала, ходит да все на нее косится, так змеей и смотрит; а она от этого еще хуже. Просто мука глядеть-то на нее! Да и боюсь я.

Борис. Чего же ты боишься?

В а р в а р а. Ты ее не знаешь! Она ведь чудная какая-то у нас. От нее все станется! Таких дел наделает, что...

Б о р и с. Ах, боже мой! Что же делать-то? Ты бы с ней поговорила хорошенько. Неужели уж нельзя ее уговорить!

В а р в а р а. Пробовала. И не слушает ничего. Лучше и не подходи.

Б о р и с. Ну, как же ты думаешь, что она может сделать?

В а р в а р а. А вот что: бухнет мужу в ноги, да и расскажет все. Вот чего я боюсь.

Б о р и с (с испугом). Может ли это быть!

В а р в а р а. От нее все может быть.

Б о р и с. Где она теперь?

В а р в а р а. Сейчас с мужем на бульвар пошли, и маменька с ними. Пройди и ты, коли хочешь. Да нет, лучше не ходи, а то она, пожалуй, и вовсе растеряется.

Вдали удары грома.

Никак, гроза? (*Выглядывает.*) Да и дождик. А вот и народ повалил. Спрячься там где-нибудь, а я тут на виду стану, чтоб не подумали чего.

Входят несколько лиц разного звания и пола.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Разные лица и потом К а б а н о в а, К а б а н о в, К а т е р и н а
и К у л и г и н.

1 - й. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться.

Ж е н щ и н а. Да уж как ни прячься! Коли кому на роду написано, так никуда не уйдешь.

К а т е р и н а (*вбегая*). Ах! Варвара! (*Хватает ее за руку и держит крепко.*)

В а р в а р а. Полно, что ты!

К а т е р и н а. Смерть моя!

В а р в а р а. Да ты одумайся! Соберись с мыслями!

К а т е р и н а. Нет! Не могу! Ничего не могу. У меня уж очень сердце болит.

К а б а н о в а (*входя*). То-то вот, надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему; страху-то бы такого не было.

К а б а н о в. Да какие ж, маменька, у нее грехи такие могут быть особенные! Все такие же, как и у всех у нас, а это так уж она от природы боится.

К а б а н о в а. А ты почему знаешь? Чужая душа потемки.

К а б а н о в (*шутя*). Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажись, ничего не было.

К а б а н о в а. Может быть, и без тебя.

К а б а н о в (шутя). Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешься; нет, шалишь! Все узнаю!

К а т е р и н а (смотрит в глаза Кабанову). Голубчик мой!

В а р в а р а. Ну, что ты пристаешь! Разве не видишь, что ей без тебя тяжело.

Б о р и с выходит из толпы и раскланивается с Кабановым.

К а т е р и н а (вскрикивает). Ах!

К а б а н о в. Что ты испугалась! Ты думала, чужой? Это знакомый! Дядюшка здоров ли?

Б о р и с. Слава богу!

К а т е р и н а (Варваре). Что ему еще надо от меня?.. Или ему мало этого, что я так мучаюсь. (Приклоняясь к Варваре, рыдает.)

В а р в а р а (громко, чтобы мать слышала). Мы с ног сбились, не знаем, что сделать с ней; а тут еще посторонние лезут! (Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу.)

К у л и г и н (выходит на середину, обращаясь к толпе). Ну чего вы боитесь, скажите на милость! Каждая теперь травка, каждый цветок радуется, а мы прячемся, боимся, точно напасти какой! Гроза убьет! Не гроза это, а благодать! Да, благодать! У вас все гроза! Северное сияние загорится, любоваться бы надобно да дивиться премудрости: «С полночных стран встает заря»! А вы ужасаетесь да придумываете, к войне это или к морю. Комета ли идет,—не отвел бы глаз! красота! звезды-то уж пригляделись, всё одни и те же, а это обновка; ну смотрел бы да любовался! А вы боитесь и взглянуть-то на небо, дрожь вас берет! Изо всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь!

Б о р и с. Пойдемте! Здесь страшнее!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же без Бориса и Кулигина.

К а б а н о в а. Ишь, какие рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать! Вот времена-то пришли, какие-то учителя появились. Коли старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать!

Ж е н щ и н а. Ну, все небо обложило. Ровно шапкой, так и накрыло.

1 - й. Эко, братец ты мой, точно клубком туча-то вьется, ровно что в ней там живое ворочается. А так на нас и ползет, так и ползет, как живая!

2-й. Уж ты помяни мое слово, что эта гроза даром не пройдет. Верно тебе говорю: потому знаю. Либо уж убьет кого-нибудь, либо дом сгорит; вот увидишь: потому, смотри, какой цвет необнаковенный!

К а т е р и н а (*прислушиваясь*). Что они говорят? Они говорят, что убьет кого-нибудь.

К а б а н о в. Известно, так городят зря, что в голову придет.

К а б а н о в а. Ты не осуждай постарше себя! Они больше твоего знают. У старых людей на все приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет.

К а т е р и н а (*мужу*). Тиша, я знаю, кого убьет.

В а р в а р а (*Катерине тихо*). Ты уж хоть молчи-то!

К а б а н о в а. Ты почему знаешь?

К а т е р и н а. Меня убьет. Молитесь тогда за меня!

Входит барыня с лакеями. Катерина с криком прячется.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и барыня.

Б а р ы н я. Что прячешься! Нечего прятаться! Видно, боишься: умирать-то не хочется! Пожить хочется! Как не хотеться! видишь, какая красавица! Ха-ха-ха! Красота! А ты молишь богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь! Вертопрахи на поединки выходят, шпагами колют друг друга. Весело! Старики старые, благочестивые, об смерти забывают, соблазняются на красоту-то! А кто отвечать будет? За все тебе отвечать придется. В омут лучше с красотой-то! Да скорей, скорей!

Катерина прячется.

Куда прячешься, глупая! От бога-то не уйдешь!

Удар грома.

Все в огне гореть будете в неугасимом! (*Уходит.*)

К а т е р и н а. Ах! Умираю!

В а р в а р а. Что ты мучаешься-то, в самом деле! Стань к сторонке да помолись, легче будет.

К а т е р и н а (*подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает*). Ах! Ад! Ад! Геенна огненная!

Кабанова, Кабанов и Варвара окружают ее.

Все сердце изорвалось! Не могу я больше терпеть! Матушка! Тихон! Грешна я перед богом и перед вами! Не я ли клялась



А. Н. Островский
«ГРОЗА»

тебе, что не взгляну ни на кого без тебя! Помнишь, помнишь! А знаешь ли, что я, беспутная, без тебя делала! В первую же ночь я ушла из дому...

К а б а н о в (*растерявшись, в слезах, дергает ее за рукав*). Не надо, не надо, не говори! Что ты! Матушка здесь!

К а б а н о в а (*строго*). Ну, ну, говори, коли уж начала.

К а т е р и н а. И все-то десять ночей я гуляла... (*Рыдает.*)

Кабанов хочет обнять ее.

К а б а н о в а. Брось ее! С кем?

В а р в а р а. Врет она, она сама не знает, что говорит.

К а б а н о в а. Молчи ты! Вот оно что! Ну, с кем же?

К а т е р и н а. С Борисом Григоричем.

Удар грома.

Ах! (*Падает без чувств на руки мужа.*)

К а б а н о в а. Что, сынок! Куда воля-то ведет! Говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и дождался!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Декорация первого действия. Сумерки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

К у л и г и н (*сидит на лавочке*), К а б а н о в (*идет по бульвару*).

К у л и г и н (*поет*).

Ночною темнотою покрылись небеса,
Все люди для покою закрыли уж глаза... (*и проч.*)

(*Увидев Кабанова.*) Здравствуйте, сударь! Далеко ли изво-лите?

К а б а н о в. Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся, братец, семья в расстройство пришла.

К у л и г и н. Слышал, слышал, сударь.

К а б а н о в. Я в Москву ездил, ты знаешь? На дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то, а я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил, так это кучу, что на́-поди! Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом-то и не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то, так мне бы и в ум не пришло, что делается. Слышал?

К у л и г и н. Слышал, сударь.

К а б а н о в. Несчастный я теперь, братец, человек! Так ни за что я погибаю, ни за грош!

Кулигин. Маменька-то у вас больно крута.

Кабанов. Ну, да. Она-то всему и причина. А я за что погибаю, скажи ты мне на милость? Я вот зашел к Дикóму, ну, выпили; думал — легче будет, нет, хуже, Кулигин! Уж что жена против меня сделала! Уж хуже нельзя...

Кулигин. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить.

Кабанов. Нет, стой! Уж на что еще хуже этого. Убить ее за это мало. Вот маменька говорит — ее надо живую в землю закопать, чтоб она казнилась! А я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказала. Жаль мне смотреть-то на нее, пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она как тень какая ходит безответная. Только плачет да тает как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее.

Кулигин. Как бы-нибудь, сударь, ладком дело-то сделать! Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай, тоже не без греха!

Кабанов. Уж что говорить!

Кулигин. Да уж так, чтобы и под пьяную руку не прекать! Она бы вам, сударь, была хорошая жена; гляди — лучше всякой.

Кабанов. Да пойми ты, Кулигин: я-то бы ничего, а маменька-то... разве с ней сговоришь!..

Кулигин. Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.

Кабанов. Что ж мне, разорваться, что ли! Нет, говорят, своего-то ума. И, значит, живи век чужим. Я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью; пусть маменька тогда со мной, как с дураком, и нянчится.

Кулигин. Эх, сударь! Дела, дела! Ну, а Борис-то Григорьич, сударь, что?

Кабанов. А его, подлеца, в Тяхту, к китайцам. Дядя к знакомому купцу какому-то посылает туда на контору. На три года его туды.

Кулигин. Ну, что же он, сударь?

Кабанов. Мечется тоже; плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей, уж ругали, ругали — молчит. Точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите, делайте, только ее не мучьте! И он к ней тоже жалость имеет.

Кулигин. Хороший он человек, сударь.

Кабанов. Собрался совсем, и лошади уж готовы. Так тоскует, беда! Уж я вижу, что ему проститься хочется. Ну, да мало ли чего! Будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин! Расказнить его надобно на части, чтобы знал...

Кулигин. Врагам-то прощать надо, сударь!

Кабанов. Поди-ка, поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин, все наше семейство те-

перь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг другу. Варвару маменька точила, точила, а та не стерпела, да и была такова,— взяла да и ушла.

Кулигин. Куда ушла?

Кабанов. Кто ее знает. Говорят, с Кудряшом с Ванькой убежала, и того также нигде не найдут. Уж это, Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки; потому стала ее тиранить и на замок запирает. «Не запирайте, говорит, хуже будет!» Вот так и вышло. Что ж мне теперь делать, скажи ты мне! Научи ты меня, как мне жить теперь! Дом мне опостылел, людей совестно, за дело возьмусь — руки отваливаются. Вот теперь домой иду; на радость, что ль, иду?

Входит Глаша.

Глаша. Тихон Иванович, батюшка!

Кабанов. Что еще?

Глаша. Дома у нас нездорово, батюшка!

Кабанов. Господи! Так уж одно к одному! Говори, что там такое?

Глаша. Да хозяйюшка ваша...

Кабанов. Ну что ж? Умерла, что ль?

Глаша. Нет, батюшка; ушла куда-то, не найдем нигде. Сбились с ног искавши.

Кабанов. Кулигин, надо, брат, бежать искать ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила! Уж так тоскует, так тоскует, что ах! На нее-то глядя, сердце рвется. Чего же вы смотрели-то? Давно ль она ушла-то?

Глаша. Недавнушко, батюшка! Уж наш грех, недоглядели. Да и то сказать: на всякий час не остережешься.

Кабанов. Ну, что стоишь-то, беги!

Глаша уходит.

И мы пойдем, Кулигин!

Уходят.

Сцена несколько времени пуста. С противоположной стороны выходит Катерина и тихо идет по сцене.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Катерина (одна)¹. Нет, нигде нет! Что-то он теперь, бедный, делает? Мне только проститься с ним, а там... а там

¹ Весь монолог и все следующие сцены говорит, растягивая и повторяя слова, задумчиво и как будто в забытьи. (Примеч. автора.)

хоть умирать. За что я его в беду ввела? Ведь мне не легче от того! Погибать бы мне одной! А то себя погубила, его погубила, себе бесчестье, ему вечный покор! Да! Себе бесчестье, ему вечный покор. (*Молчание.*) Вспомнить бы мне, что он говорил-то? Как он жалел-то меня? Какие слова-то говорил? (*Берет себя за голову.*) Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! Все пойдут спать, и я пойду; всем ничего, а мне как в могилу. Так страшно в потемках! Шум какой-то сделается, и поют, точно кого хоронят; только так тихо, чуть слышно, далеко, далеко от меня... Свету-то так рада сделаешься! А вставать не хочется, опять те же люди, те же разговоры, та же мука. Зачем они так смотрят на меня? Отчего это нынче не убивают? Зачем так сделали? Прежде, говорят, убивали. Взяли бы, да и бросили меня в Волгу; я бы рада была. «Казнить-то тебя, говорят, так с тебя грех снимется, а ты живи да мучайся своим грехом». Да уж измучилась я! Долго ль еще мне мучиться?.. Для чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! — а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут (*показывая на сердце*) больно. Еще кабы с ним жить, может быть, радость бы какую-нибудь я и видела... Что ж: уж все равно, уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нем скучно! Ах, как мне по нем скучно! Уж коли не увижу я тебя, так хоть услышь ты меня издали! Ветры буйные, перенесите вы ему мою печаль-тоску! Батюшки, скучно мне, скучно! (*Подходит к берегу и громко, во весь голос.*) Радость моя! жизнь моя, душа моя, люблю тебя! Откликнись! (*Плачет.*)

Входит Б о р и с.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

К а т е р и н а и Б о р и с.

Б о р и с (*не видя Катерины*). Боже мой! Ведь это ее голос! Где же она? (*Оглядывается.*)

К а т е р и н а (*подбегает к нему и кидается на шею*). Увидела-таки я тебя! (*Плачет на груди у него.*)

Молчание.

Б о р и с. Ну, вот и поплакали вместе, привел бог.

К а т е р и н а. Ты не забыл меня?

Б о р и с. Как забыть, что ты!

К а т е р и н а. Ах, нет, не то, не то! Ты не сердишься?

Б о р и с. За что мне сердиться?

К а т е р и н а. Ну, прости меня. Не хотела я тебе зло сделать; да в себе не вольна была. Что говорила, что делала, себя не помнила.

Б о р и с. Полно, что ты! что ты!

К а т е р и н а. Ну, как же ты? Теперь-то ты как?

Б о р и с. Еду.

К а т е р и н а. Куда едешь?

Б о р и с. Далеко, Катя, в Сибирь.

К а т е р и н а. Возьми меня с собой отсюда!

Б о р и с. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду: дядя посылает, уж и лошади готовы; я только отпросился у дяди на минуточку, хотел хоть с местом-то тем проститься, где мы с тобой виделись.

К а т е р и н а. Поезжай с богом! Не тужи обо мне. Сначала только разве скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь.

Б о р и с. Что обо мне-то толковать! Я вольная птица. Ты-то как? Что свекровь-то?

К а т е р и н а. Мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит: «Не верь ей, она хитрая». Все и ходят за мной целый день и смеются мне прямо в глаза. На каждом слове все тобой попрекают.

Б о р и с. А муж-то?

К а т е р и н а. То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыл он мне, постыл, ласка-то его мне хуже побоев.

Б о р и с. Тяжело тебе, Катя!

К а т е р и н а. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!

Б о р и с. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой! Лучше б бежать мне тогда!

К а т е р и н а. На беду я увидела тебя. Радости видела мало, а горя-то, горя-то что! Да еще впереди-то сколько! Ну, да что думать о том, что будет! Вот я теперь тебя видела, этого они у меня не отымут; а больше мне ничего не надо. Только ведь мне и нужно было, увидеть тебя. Вот мне теперь гораздо легче сделалось; точно гора с плеч свалилась. А я все думала, что ты на меня сердишься, проклинаешь меня...

Б о р и с. Что ты, что ты!

К а т е р и н а. Да нет, все не то я говорю; не то я хотела сказать! Скучно мне было по тебе, вот что; ну, вот я тебя увидела.

Б о р и с. Не застали б нас здесь!

К а т е р и н а. Постой, постой! Что-то я тебе хотела сказать! Вот забыла! Что-то нужно было сказать! В голове-то все путается, не вспомню ничего.

Б о р и с. Время мне, Катя!

К а т е р и н а. Погоди, погоди!

Б о р и с. Ну, что же ты сказать-то хотела?

К а т е р и н а. Сейчас скажу. *(Подумав.)* Да! Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою грешную душу.

Б о р и с. Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь. Прощай, Катя! *(Обнимает ее и хочет уйти.)* Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!

К а т е р и н а. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. *(Смотрит ему в глаза.)* Ну, будет с меня! Теперь бог с тобой, поезжай. Ступай, скорее ступай!

Б о р и с *(отходит несколько шагов и останавливается)*. Катя, нехорошо что-то! Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой-то, думавши о тебе.

К а т е р и н а. Ничего, ничего. Поезжай с богом.

Борис хочет подойти к ней.

Не надо, не надо, довольно!

Б о р и с *(рыдая)*. Ну, бог с тобой! Только одного и надо у бога просить, чтоб она умерла поскорее, чтобы ей не мучиться долго! Прощай! *(Кланяется.)*

К а т е р и н а. Прощай!

Б о р и с уходит. Катерина провожает его глазами и стоит несколько времени задумавшись.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

К а т е р и н а *(одна)*. Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу — все равно. Да, что домой, что в могилу!.. что в могилу! В могиле лучше... Под деревцем могилушка... как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит... весной на ней травка вырастет, мягкая такая... птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие... всякие *(задумывается)*, всякие... Так тихо, так хорошо! Мне как будто легче! А о жизни и думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо... нехорошо! И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду! Придешь к ним, они ходят, говорят, а на что мне это! Ах, темно стало! И опять поют где-то! Что поют? Не разберешь... Умереть бы теперь... Что поют? Все равно, что смерть придет, что сама... а жить нельзя! Грех! Молиться не будут? Кто любит,

тот будет молиться... Руки крест-накрест складывают... в гробу! Да, так... я вспомнила. А поймают меня, да воротят домой насильно... Ах, скорей, скорей! (*Подходит к берегу. Громко.*) Друг мой! Радость моя! Прощай! (*Уходит.*)

Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Кабанова, Кабанов и Кулигин.

Кулигин. Говорят, здесь видели.

Кабанов. Да это верно?

Кулигин. Прямо на нее говорят.

Кабанов. Ну, слава богу, хоть живую видели-то.

Кабанова. А ты уж испугался, расплакался! Есть о чем. Не беспокойся: еще долго нам с ней маяться будет.

Кабанов. Кто ж это знал, что она сюда пойдет! Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться.

Кабанова. Видишь, что она делает! Вот какое зелье! Как она характер-то свой хочет выдержать!

С разных сторон собирается народ с фонарями.

Один из народа. Что, нашли?

Кабанова. То-то что нет. Точно провалилась куда.

Несколько голосов. Эка притча! Вот оказия-то! И куда б ей деться!

Один из народа. Да найдется!

Другой. Как не найтись!

Третий. Гляди, сама придет.

Голос за сценой: «Эй, лодку!»

Кулигин (*с берега*). Кто кричит? Что там?

Голос: «Женщина в воду бросилась!»

Кулигин и за ним несколько человек убегают.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, без Кулигина.

Кабанов. Батюшки, она ведь это! (*Хочет бежать.*)

Кабанова удерживает его за руку.

Маменька, пустите, смерть моя! я ее вытащу, а то так и сам...
Что мне без нее!

К а б а н о в а. Не пущу, и не думай! Из-за нее да себя губить, стоит ли она того! Мало она нам страму-то наделала, еще что затеяла!

К а б а н о в. Пустите!

К а б а н о в а. Без тебя есть кому. Прокляну, коли пойдешь.

К а б а н о в (*падая на колени*). Хоть взглянуть-то мне на нее!

К а б а н о в а. Вытащут: взглянешь.

К а б а н о в (*встает, к народу*). Что, голубчики, не видать ли чего?

1 - й. Темно внизу-то, не видать ничего.

Шум за сценой.

2 - й. Словно кричат что-то, да ничего не разберешь.

1 - й. Да это Кулигина голос.

2 - й. Вон с фонарем по берегу ходят.

1 - й. Сюда идут. Вон и ее несут.

Несколько народу возвращается.

Один из возвратившихся. Молодец Кулигин! Тут близехонько, в омуточке у берега; с огнем-то оно в воду-то далеко видно, он платье и увидал, и вытащил ее.

К а б а н о в. Жива?

Д р у г о й. Где уж жива! Высоко бросилась-то, тут обрыв, да, должно быть, на якорь попала, ушиблась, бедная! А точно, робяты, как живая! Только на виске маленькая ранка, и одна только, как есть одна, капелька крови.

Кабанов бросается бежать; навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Кулигин.

Кулигин. Вот вам ваша Катерина. Делайте с ней, что хотите! Тело ее здесь, возьмите его; а душа теперь не ваша; она теперь перед судьей, который милосерднее вас! (*Кладет на землю и убегает.*)

К а б а н о в (*бросается к Катерине*). Катя! Катя!

К а б а н о в а. Полно! Об ней плакать-то грех!

К а б а н о в. Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...

К а б а н о в а. Что ты? Аль себя не помнишь! Забыл, с кем говоришь?

К а б а н о в. Вы ее погубили! Вы! Вы!

К а б а н о в а (сыну). Ну, я с тобой дома поговорю. (*Низко кланяется народу.*) Спасибо вам, люди добрые, за вашу услугу!

Все кланяются.

К а б а н о в. Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться! (*Падает на труп жены.*)

ЛЕС

Комедия в пяти действиях

ЛИЦА:

Р а и с а П а в л о в н а Г у р м ы ж с к а я, вдова, лет 50-ти с небольшим, очень богатая помещица, одевается скромно, почти в трауре; постоянно с рабочим ящиком на руке.

А к с и н ь я Д а н и л о в н а (Аксюша), ее дальняя родственница, бедная девушка, лет 20-ти, одета чисто, но бедно, немного лучше горничной.

Е в г е н и й А п о л л о н ы ч М и л о н о в, лет 45-ти, гладко причесан, одет изысканно, в розовом галстуке.

У а р К и р и л ы ч Б о д а е в, лет 60-ти, отставной кавалерист, седой, гладко стриженный, с большими усами и бакенбардами, в черном сюртуке, наглухо застегнутом, с крестами и медалями по-солдатски, с костылем в руке, немного глух.

} богатые соседи
Гурмыжской.

И в а н П е т р о в В о с м и б р а т о в, купец, торгующий лесом.
П е т р, его сын.

А л е к с е й С е р г е е в и ч Б у л а н о в, молодой человек, не доучившийся в гимназии.

Т е р е н ь к а, мальчик Восмибратова.

Г е н н а д и й Н е с ч а с т л и в ц е в }

} пешие путешественники.

А р к а д и й С ч а с т л и в ц е в }

К а р п, лакей Гурмыжской.

У л и т а, ключница.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Усадьба Гурмыжской, верстах в пяти от уездного города. Большая зала. Прямо две двери: одна выходная, другая в столовую; направо от зрителей окно и дверь в сад; налево две двери: одна во внутренние комнаты, другая в коридор. Богатая старинная мебель, трельяжи, цветы, у окна рабочий столик, налево круглый стол и несколько кресел.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Карп стоит у двери в сад, входит Аксюша.

Аксюша. Раиса Павловна звали меня?

Карп. Так точно-с; только теперь гости приехали, так они в саду.

Аксюша (*вынув из кармана письмо*). Послушай, Карп Савельич, не можешь ли ты?..

Карп. Что вам угодно-с?

Аксюша. ...передать. Ты уж знаешь кому.

Карп. Да как же, барышня? Теперь ведь уж словно как неловко. Правда ль, нет ли, у тетеньки такое есть желание, чтоб вам за барчонком быть.

Аксюша. Ну, не надо; как хочешь. (*Отворачивается к окну.*)

Карп. Да уж пожалуйста. Для вас отчего ж... (*Берет письмо.*)

А к с ю ш а (глядя в окно). Продала Раиса Павловна лес?

К а р п. Продали Ивану Петрову. Все продаем-с, а чего ради?

А к с ю ш а. Не хочет, чтобы наследникам осталось; а деньги можно и чужим отдать.

К а р п. Надо полагать-с. Мудрено сотворено.

А к с ю ш а. Говорит, она эти деньги хочет за мной в приданое дать.

К а р п. Дай-то бог!

А к с ю ш а (очень серьезно). Не дай бог, Карп Савельич!

К а р п. Ну, как угодно-с. Я к тому, что все же лучше, пусть в приданое пойдут, чем туда же, куда и прочие.

А к с ю ш а. Куда прочие... а куда же прочие?

К а р п. Ну, это вам, барышня, и понимать-то невозможно, да и язык-то не поворотится сказать вам, Алексей Сергеич идут. (Отходит от двери.)

Аксюша смотрит в окно, Буланов входит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

А к с ю ш а, Б у л а н о в, К а р п, потом У л и т а.

Б у л а н о в (Карпу). Что ж, ты набил мне папиросы?

К а р п. Никак нет-с.

Б у л а н о в. Отчего же нет? Ведь я тебе велел.

К а р п. Мало что велели. А когда мне?

Б у л а н о в. Нет, уж вы здесь зазнались очень. Вот что. Я вот Раисе Павловне скажу.

К а р п. Не скажете; вы при них и курить-то боитесь.

Б у л а н о в. Боитесь... Чтоб были набиты! Не десять раз тебе говорить! (Увидав Аксюшу, подходит к ней и очень развязно кладет ей на плечо руку.)

А к с ю ш а (быстро обернувшись). Что вы! С ума сошли?

Б у л а н о в (обижаясь). Ах!! Извините! Что вы такой герцогиней смотрите, красавица вы моя?

А к с ю ш а (почти сквозь слезы). За что вы меня обижаете? Я вам ничего не сделала. Что я здесь за игрушка для всех? Я такой же человек, как и вы.

Б у л а н о в (равнодушно). Нет, послушайте; вы в самом деле мне нравитесь.

А к с ю ш а. Ах, да мне-то что до этого за дело! Какое вы имеете право трогать меня?

Б у л а н о в. Что вы все сердитесь, неизвестно за что? Эка важность! Уж и тронуть нельзя! Свое, да не трогать! Кто же мне запретит?

А к с ю ш а (строго). А если не ваше, если чужое? Тогда что?

Б у л а н о в. Что за капризы! Надоело. Этак вы все дело испортите.

А к с ю ш а. Какое дело?

Б у л а н о в. Какое... Будто не знаете? Вот какое: Раисе Павловне угодно, чтоб я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно...

А к с ю ш а. Тому и быть?

Б у л а н о в. Разумеется. Мы с вами люди бедные... Дождаться, покуда прогонят? Нет уж, покорно благодарю. Куда мне? Опять к маменьке? Бить сорок-ворон за чужим двором?

К а р п. Потихе, сударь! Улита идет.

Входит У л и т а и чего-то ищет.

Вам чего здесь?

У л и т а. Я, кажется, забыла...

К а р п. Ничего вы не забыли, это вы напрасно. У вас есть свой департамент, мы к вам не ходим.

У л и т а уходит.

Вот так-то лучше!.. Самая проклятая женщина!

Б у л а н о в. Расчет прямой; кажется, можно понять.

А к с ю ш а. Да я понимаю.

Б у л а н о в. Так и упрямиться нечего. Перед кем здесь неприступность-то разыгрывать? Ведь Раиса Павловна обещает много денег дать, чего ж еще? Креститься надо обеими руками.

А к с ю ш а. Иное можно купить за деньги, а другого нельзя.

Б у л а н о в (презрительно улыбаясь). Философия! (Серьезно.) Вы толку в деньгах не знаете, оттого так и разговариваете. Видно, нужды-то не видали? А тут впереди жизнь приятная... За деньги-то люди черту душу закладывают, а не то чтоб отказываться.

Показывается У л и т а.

К а р п. Что вы шмыгаете взад и вперед? Не видали вас тут? Здесь комнаты чистые.

У л и т а. Уж и войти нельзя.

К а р п. Как это вы себе покою не найдете? Мечетесь вы, как угорелая кошка. Позовут вас, тогда другое дело.

У л и т а уходит.

А к с ю ш а. Насильно мил не будешь, Алексей Сергеич.

Б у л а н о в. Ну, да уж я добьюсь своего; у меня не отвертись. Ведь вам лучше меня здесь не найти.

А к с ю ш а (тихо). Ошибаетесь. Захочу поискать, так найду,

а может, уж и нашла. (*Карпу.*) Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Буланов и Карп.

Карп (*подходя*). Ах, барин, барин!

Буланов. А что, Карп?

Карп. Молоды вы очень.

Буланов. Знаю, что молод.

Карп. А это нехорошо.

Буланов. Что ж мне делать-то?

Карп. Это не к пользе вашей... А вы старайтесь...

Буланов. Уж как ни старайся, а вдруг лет не прибавится: я только из гимназии.

Карп. Да что гимназия! Другие и в гимназии не были, да какие ловкие.

Буланов. Да на что ловкие-то?

Карп. Да на все, а уж особливо, что мимо рук-то плывет.

Улита показывается из коридора.

Опять? Тьфу! Брысь ты, окаянная!

Улита (*скрываясь*). Обидчик!

Буланов (*задумчиво*). Да?.. Ну, что ж?

Карп. То-то «да». Вы что барышню-то тревожите? Какой тут авантаж?

Буланов. Все-таки...

Карп. Осторожнее надо, сударь; недаром Улита тут ползает, перенесет сейчас. А понравится ли барыне? Еще неизвестно, куда вас Раиса Павловна определяют. Они хоть и барыня, а ведь их дело женское: никак даже невозможно этого знать, что у них на уме. Вдруг одно, и сейчас другое; у них в мыслях не то, что на неделе, на дню до семи перемен бывает. Вот вы говорите: жениться; а может, что другое заставят делать! Вы своей воли не имеете; привезли вас на пропитание, так как маменька у вас в бедности... А вы хотите... Уж вы и смотрите всё в глаза.

Буланов. В глаза?

Карп. Беспременно. Так всё ходите и смотрите, потому от них зависимы... А там по времени, из разговора или из чего и можете понять... Барыня идут. (*Уходит.*)

Буланов поправляет волосы и покручивает усики. Входят Гурмыжская, Милонов и Бодаев.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гурмыжская, Милонов, Бодаев, Буланов.

Гурмыжская. Я вам говорила, господа, и опять повторяю: меня никто не понимает, решительно никто. Понимает меня только наш губернатор да отец Григорий...

Милонов. И я, Раиса Павловна.

Гурмыжская. Может быть.

Милонов. Раиса Павловна, поверьте мне, все высокое и все прекрасное...

Гурмыжская. Верю, охотно верю. Садитесь, господа!

Бодаев (откашливаясь). Надоели.

Гурмыжская. Что вы?

Бодаев (грубо). Ничего. (Садится поодаль.)

Гурмыжская (заметив Буланова). Алексис, Алексис! Вы мечтаете? Господа, представляю вам молодого дворянина Алексея Сергеевича Буланова.

Буланов раскланивается.

Судьба его очень интересна, я вам сейчас расскажу. Алексис, погуляйте в саду, мой друг.

Буланов уходит. Гурмыжская и Милонов садятся у стола.

Милонов. Ваш родственник, вероятно?

Гурмыжская. Нет, не родственник. Но разве одни родственники имеют право на наше сострадание? Все люди нам ближние. Господа, разве я для себя живу? Все, что я имею, все мои деньги принадлежат бедным;

Бодаев прислушивается.

я только конторщица у своих денег, а хозяин им всякий бедный, всякий несчастный.

Бодаев. Я не заплачу ни одной копейки, пока жив; пускай описывают имение.

Гурмыжская. Кому не заплатите?

Бодаев. На земство, я говорю.

Милонов. Ах, Уар Кирилыч, не о земстве речь.

Бодаев. Никакой пользы, один грабеж.

Гурмыжская (громко). Подвиньтесь поближе, вы нас не слышите.

Бодаев. Да, не слышу. (Садится к столу.)

Гурмыжская. Этот молодой человек, господа, сын одной моей приятельницы. Я встретила с ней в прошлом году в Петербурге. Прежде, давно уж, мы жили с ней совершенно как сестры; но потом разошлись: я овдовела, а она вышла замуж.

Я ей не советовала; испытавши сама, я получила отвращение к супружеству.

Б о д а е в. К супружеству, но не к мужчинам?

Г у р м ы ж с к а я. Уар Кирилыч!

Б о д а е в. Да я почем же знаю; я только спрашиваю. Ведь разные бывают характеры.

Г у р м ы ж с к а я (шутя). И к мужчинам, особенно таким, как вы.

Б о д а е в (привстает, опираясь на костыль, и кланяется). Премного вам за это благодарен.

М и л о н о в. Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию; наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями.

Б о д а е в. Лет шесть тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить в усадьбу, все мы здесь перепугались вашей добродетели: жены стали мириться с мужьями, дети с родителями; во многих домах даже стали тише разговаривать.

Г у р м ы ж с к а я. Шутите, шутите. А вы думаете, мне без борьбы досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Когда мы встретились в Петербурге, моя подруга уж давно овдовела и, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как видите, на возрасте.

Б о д а е в. В солдаты годится.

Г у р м ы ж с к а я. Вы не судите по наружности. Он, бедный, слаб здоровьем, и, представьте себе, какое несчастье! Он поэтому отстал от своих товарищей, так что все еще был в гимназии и, кажется, даже еще в средних классах. У него уж и усики, и мысли совсем другие, и думы стали им интересоваться; а он должен с мальчишками, шалунами, ходить в школу. Это унижало его, он скучал, удалялся от людей, бродил один по глухим улицам.

Б о д а е в. Не по Невскому ли?

Г у р м ы ж с к а я. Он страдал, страдала и мать; но средств помочь горю у ней не было. Имение совершенно разорено, сын должен учиться, чтоб кормить мать; а учиться прошло и время, и охота. Ну, теперь, господа, судите меня, как хотите. Я решилась сделать три добрых дела разом.

Б о д а е в. Три? Любопытно.

Г у р м ы ж с к а я. Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу.

Б о д а е в. Действительно, три.

Г у р м ы ж с к а я. Я выписала сюда на лето молодого человека; пусть они познакомятся, потом женю их и дам за племянницей хорошее приданое. Ну, теперь, господа, я покойна, вы знаете мои намерения. Хоть я и выше подозрений, но, если

бы нашлись злые языки, вы можете объяснить, в чем дело.

М и л о н о в. Все высокое и все прекрасное найдет себе оценку, Раиса Павловна. Кто же смеет...

Б о д а е в. Ну, отчего же не сметь? Никому не закажешь, на это цензуры нет.

Г у р м ы ж с к а я. Впрочем, я мало забочусь об общественном мнении; я делаю добро и буду делать, а там пусть говорят что хотят. В последнее время, господа, меня томит какое-то страшное предчувствие, мысль о близкой смерти ни на минуту не покидает меня. Господа, я умру скоро, я даже желаю, желаю умереть.

М и л о н о в. Что вы! Что вы! Живите! Живите!

Г у р м ы ж с к а я. Нет, нет, и не просите.

М и л о н о в. Ведь это будут слезы, горькие слезы.

Г у р м ы ж с к а я. Нет, господа, если я не нынче умру, не завтра, во всяком случае скоро. Я должна исполнить долг свой относительно наследников. Господа, помогите мне советом.

М и л о н о в. Прекрасно, прекрасно!

Г у р м ы ж с к а я. У меня близких родных только племянник моего мужа. Племянницу я надеюсь пристроить при жизни. Племянника я не видела пятнадцать лет и не имею о нем никаких известий; но он жив, я знаю. Я надеюсь, что ничто не препятствует мне назначить его своим единственным наследником.

М и л о н о в. Полагаю.

Б о д а е в. Да о чем и толковать?

Г у р м ы ж с к а я. Благодарю вас. Я так и сама думала. Он меня не забывает, каждый год присылает мне подарки, но писем не пишет. Где он — неизвестно, и я не могу писать к нему; а я еще ему должна. Один должник его отца принес мне старый долг; сумма хотя небольшая, но она тяготит меня. Он точно скрывается от меня; все подарки я получила из разных концов России: то из Архангельска, то из Астрахани, то из Кишинева, то из Иркутска.

М и л о н о в. Какое же его занятие?

Г у р м ы ж с к а я. Не знаю. Я его готовила в военную службу. После смерти отца он остался мальчиком пятнадцати лет, почти без всякого состояния. Хотя я сама была молода, но имела твердые понятия о жизни и воспитывала его по своей методе. Я предпочитаю воспитание суровое, простое, что называется, на медные деньги; не по скупости, нет, а по принципу. Я уверена, что простые люди, неученые, живут счастливее.

Б о д а е в. Напрасно! На медные деньги ничего хорошего не купишь, а тем более счастья.

Г у р м ы ж с к а я. Но ведь он не жалуется на свое воспитание, он даже благодарит меня. Я, господа, не ~~против~~ ~~образова-~~

ния, но и не за него. Развращение нравов на двух концах: в невежестве и в излишестве образования; добрые нравы посередине.

М и л о н о в. Прекрасно, прекрасно.

Г у р м ы ж с к а я. Я хотела, чтоб этот мальчик сам прошел суровую школу жизни; я приготовила его в юнкера и предоставила его собственным средствам.

Б о д а е в. Оно спокойнее.

Г у р м ы ж с к а я. Я иногда посылала ему денег, но, признаюсь вам, мало, очень мало.

Б о д а е в. И он стал воровать, разумеется.

Г у р м ы ж с к а я. Ошибаетесь. Вот посмотрите, что он писал мне. Я это письмо всегда ношу с собою. (*Вынимает письмо из коробки и подает Милонovu.*) Прочитайте, Евгений Аполлоныч!

М и л о н о в (*читает*). «Тетинька моя и благодетельница Райса Павловна! Сие излагаемое мною применительно к обстоятельствам моим, жизни, письмо пишу вам с огорчением при недостатках, но не с отчаянием. О судьба, судьба! Под гнетом собственного своего необразования, пристыжаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению».

Б о д а е в. До сих пор лестного немного для вас и для него.

Г у р м ы ж с к а я. Слушайте дальше.

М и л о н о в. «Но не утрашусь! Передо мною слава, слава! Хотя скудное подаяние ваше подвергало меня не раз на край нищеты и гибели, но лобызаю вашу ручку. От юных лет несовершеннолетия до совершенного возраста я был в неизвестности моих предначертаний; но теперь всё передо мною открыто».

Б о д а е в. И вам не стыдно, что ваш племянник, дворянин, пишет, как кантонист!

Г у р м ы ж с к а я. Не в словах дело. По-моему, это прекрасно написано, тут я вижу чувство неиспорченное.

Входит К а р п.

К а р п. Иван Петрович Восмибратов пришел с сыном-с.

Г у р м ы ж с к а я. Извините, господа, что я при вас приму мужика.

Б о д а е в. Только вы с ним поосторожнее, он плут большой руки.

Г у р м ы ж с к а я. Знаете, он такой хороший семьянин; это — великое дело.

Б о д а е в. Семьянин-то — семьянин, а чище всякого обманет.

Г у р м ы ж с к а я. Не верю, не верю, не может быть.

М и л о н о в. Мы с вами точно сговорились; я сам горячий защитник семейных людей и семейных отношений. Уар Кири-

лыч, когда были счастливы люди? Под кущами. Как жаль, что мы удалились от первобытной простоты, что наши отеческие отношения и отеческие меры в применении к нашим меньшим братьям прекратились! Строгость в обращении и любовь в душе,— как это гармонически изящно! Теперь между нами явился закон, явилась и холодность; прежде, говорят, был произвол, но зато была теплота. Зачем много законов? Зачем определять отношения? Пусть сердце их определяет. Пусть каждый сознает свой долг! Закон написан в душе людей.

Б о д а е в. Оно так, кабы только поменьше мошенников, а то больно много.

Г у р м ы ж с к а я (*Карпу*). Зови поди Ивана Петрова!

К а р п уходит. Входит Восмибратов и Петр.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г у р м ы ж с к а я, М и л о н о в, Б о д а е в, Восмибратов, Петр.

Г у р м ы ж с к а я. Садись, Иван Петрович!

Восмибратов (*раскланивается и садится*). Петр, садись!

Петр садится у самой двери на край стула.

М и л о н о в. Прикажете дочитать?

Г у р м ы ж с к а я. Читайте, он не помешает.

М и л о н о в (*читает*). «Нужда, ты непостижима! Благодарю вас, благодарю. Скоро мое имя покроется бессмертием, а с ним и ваше никогда не умрет для потомства, детей и внуков... Еще раз благодарю за все, за все. Ваш покорный к услугам племянник, дитя природы, взлелеянное несчастьем, Гурмыжский».

Г у р м ы ж с к а я (*принимая письмо*). Благодарю вас, Евгений Аполлоныч! Вот спросим у простого человека, он правду скажет. Иван Петрович, хорошо это письмо написано?

Восмибратов. Первый сорт-с! Вот ежели бы кому прошение, уж на что лучше.

М и л о н о в. Но ведь этому письму двенадцать лет. Что же теперь с вашим племянником, с его громкой славой?

Г у р м ы ж с к а я. Я вам говорю, не знаю.

Б о д а е в. Вдруг удивит.

Г у р м ы ж с к а я. Как бы то ни было, я горжусь этим письмом и очень довольна, что нашла в людях благодарность. Надо сказать правду, я его очень люблю. Я вас прошу, господа, пожаловать ко мне послезавтра откусать! Вы, вероятно, не откажетесь подписаться под завещанием? Оно будет готово, я думаю; впрочем, во всяком случае, милости просим.

Б о д а е в. Приеду.

М и л о н о в. Поверьте, все высокое и все прекрасное...

Гурмыжская. Конечно, если судить строго, я немного виновата перед наследником; я уж кой-что продала из имения.

Восмибратов. Да-таки, сударыня, довольно; особенно как изволили проживать в столицах.

Гурмыжская. Я очень щедро помогаю. Для ближнего мне не жаль.

Восмибратов. Так-с. А хоша бы и для себя; вы своему хозяйка, всякий человек живая тварь.

Гурмыжская. А теперь, вот уж лет семь, я живу совсем иначе.

Восмибратов. Это точно-с; слухов никаких насчет, чтобы чего... постоянную жизнь ведете.

Гурмыжская. Ах, да я и прежде... да не об этом речь. Я говорю, что живу очень экономно.

Бодаев. Извините! Не об вас речь. Вы не рассердитесь, пожалуйста! Но действительно у нас много дворянских имений вконец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть; а бабьей глупости меры не положено. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок; нужно любовнику ермолку с кисточкой, она лес продает, строевой, береженный, первому плуту.

Восмибратов. Это вы, ваше высокородие, действительно. Коли им, женскому сословию, в чем воля, так добра мало.

Бодаев. Ты думаешь?

Милонов (*Восмибратову*). Ах, Ваня, Ваня, как ты груб!

Восмибратов. Вовсе говорится, сударь.

Милонов. Все-таки, Ваня, надо быть осторожнее, мой друг... А вот ты и ошибаешься; не от дам разорены имения, а от того, что свободы много.

Бодаев. Какой свободы? Где это?

Милонов. Ах, Уар Кирилыч, я сам за свободу; я сам против стеснительных мер... Ну, конечно, для народа, для нравственно несовершеннолетних необходимо... Но, согласитесь сами, до чего мы дойдем! Купцы банкротятся, дворяне проживаются... Согласитесь, что наконец необходимо будет ограничить законом расходы каждого, определить норму по сословиям, по классам, по должностям.

Бодаев. Ну, что ж, представляйте проект! Теперь время проектов, все представляют. Не удивите, не бойтесь, чай, и глупей вашего есть. (*Встает, Милонов тоже.*)

Раскланиваются. Восмибратов и Петр встают.

Гурмыжская (*провожая их*). Господа, я вас жду послезавтра.

Милонов и Бодаев уходят.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Гурмыжская, Восмибратов, Петр.

Гурмыжская. Садись, Иван Петрович!

Восмибратов (саясь). Петр, садись!

Петр садится.

Изволили присылать, сударыня?

Гурмыжская. Да, мне очень нужно тебя видеть. Принес ты деньги?

Восмибратов. Нет, сударыня, признаться сказать, не захватил. Коли нужно, так прикажите, я завтра же занесу.

Гурмыжская. Пожалуйста. Ты водочки не хочешь ли?

Восмибратов. Увольте! Нам без благовремения... тоже... ведь люди, все одно.

Гурмыжская. Ты уж все принеси, как у нас уговор был.

Восмибратов. Слушаю-с.

Гурмыжская. Я не помню, кажется...

Восмибратов. Да уж не извольте беспокоиться.

Гурмыжская. Кажется, полторы тысячи. (Роясь в ящике.) Где записка? Неужели я ее выронила? Не найду никак.

Восмибратов. Поищите, сударыня, хорошенько.

Гурмыжская. Но, во всяком случае, мне этих денег мало. Не купишь ли у меня еще участок лесу?

Восмибратов. Да чтоб уж вам весь его продать. Куда вам его беречь-то!.. Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один; крестьянишки воруют,—судись с ними. Лес подле города, всякий беглый, всякий бродяга пристанище имеет, ну и для прислуги тоже, для женского пола... Потому как у них грибной интерес и насчет ягоды, а выходит совсем напротив.

Гурмыжская. Нет, я весь теперь не продам; что за имение без леса! Некрасиво. Может быть, со временем... а ты купи этот участок, что ближе к городу.

Восмибратов. Хошь я теперь и не при деньгах, а отчего же не купить, коли сходно продавать будете. А я, было, признаться, к вам насчет другого товару.

Гурмыжская. Не понимаю.

Восмибратов. Сродственницу имеете, девицу, небогатую...

Гурмыжская. Так что же?

Восмибратов. Видел ее, что ли, где или здесь как встретил мой парнишка.

Петр встает.

Гурмыжская. Он?

Восмибратов. Петр-с. Парень овца, я вам скажу. По глупости его и по малодушеству и приглянулась-с. Ну, конечно, мы с ним дорого не стоим, а если б бог дал доброму делу быть, дали бы вы тысячи на четыре лесу на разживу ему, с нас бы и довольно. Он бы и поперился с вашей легкой' руки и жить пошел.

Гурмыжская. Я очень благодарна вам; но, друзья мои, извините! У нее уже есть жених, у меня в доме живет. Может быть, в городе говорят вздор какой-нибудь, так вы знайте, что это жених.

Восмибратов (Петру). Слышишь ты? А ты лезешь! Только отца в дураки ставишь. погоди ж ты у меня!

Гурмыжская. Вы не подумайте, что я гнушаюсь вами. Для нее твой сын партия даже завидная. Если у ней теперь жених дворянин, так это по особенной милости, а она совсем его не стоит.

Восмибратов. Понимаем-с.

Гурмыжская. Это дело решенное, и кончим разговор о нем. Поговорим о лесе. Купи, Иван Петрович!

Восмибратов. Не при деньгах, не при деньгах-с.

Гурмыжская. Быть не может.

Восмибратов. Обижать ценой не будете, так можно-с.

Гурмыжская. А сколько бы ты дал за него?

Восмибратов (подумав). Рубликов пятьсот-с вам довольно будет?

Гурмыжская. Что ты, что ты? За тот полторы, а за этот пятьсот! Ведь этот больше и лучше.

Восмибратов. Точно-с. Извините! Это я так маханально, не подумавши; да и неохота с этим делом вязаться теперь. А как ваша цена?

Гурмыжская. Да, по крайней мере, две тысячи. Мне эту цену давали.

Восмибратов. Мой совет: отдавайте.

Гурмыжская. Да я не хотела тебя обидеть.

Восмибратов. На этом очень вами благодарны; только я вам вот что скажу: хлопот не стоит.

Гурмыжская. Иван Петрович, стыдно! Я сирота. Мое дело женское. Сироту обидеть грешно. Ты не забывай бога-то!

Восмибратов. Нам ежели бога забыть, творца нашего милосердного, нам в те поры, сударыня, податься некуда. Потому самому нам без бога нельзя; как одно, значит, у нас прибежище.

Гурмыжская. Ну, то-то же. Ты сам подумай, ведь мне деньги-то на доброе дело. Девушка на возрасте, ума большого не имеет, хочется заживо пристроить. Ну, что хорошего, без присмотру останется без меня; нынче народ знаешь какой! Ты

сам отец, так рассудить можешь, у тебя тоже дочь, приятно ли тебе будет...

Восмибратов. Да ежели она, шельма...

Гурмыжская. Иван Петрович, что за слова! Ты знаешь, я не люблю. Ну, слушай! Только для тебя пятьсот рублей уступаю, отдаю за полторы тысячи.

Восмибратов. Барыша ничего не будет.

Гурмыжская. Ну, уж и говорить не хочу. А тебе стыдно, стыдно.

Восмибратов. Дорогонько, да уж извольте-с. (*Махнув рукой.*) Так уж, что прежде от вас пользовался.

Гурмыжская. Только мне деньги завтра же нужны.

Восмибратов. Еще почивать будете, принесем. А вы извольте приготовить записочку, чтобы завтра вам не беспокоиться, что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получили.

Гурмыжская. Значит, ты принесешь ровно три тысячи?

Восмибратов. Что следует, то и принесем-с. На прежние деньги у вас записочка есть; а на эти ваша воля, а по мне хоть и отказаться. Слову нашему вы не верите, на всякую малость записки да расписки отбираете; так что ж вам сомневаться? Я человек неграмотный, другой раз и сам не знаю, что в записке-то написано. Парнишку-то замучил, все за собой вожу руку прикладывать. Прощенья просим.

Гурмыжская. Прощайте!

Восмибратов и Петр уходят. Входит Карп.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Гурмыжская, Карп, потом Аксюша и Улита.

Карп. Сударыня, вы барышню спрашивать изволили, так они дожидаются.

Гурмыжская. Позови!

Карп уходит.

Хитрая и дерзкая девчонка! Никогда в ней ни благодарности, ни готовности угодить. Наказанье мне с ней!

Входит Аксюша.

Аксюша (*потупя глаза, тихо*). Что вам угодно?

Гурмыжская. Ты, я думаю, знаешь, зачем я выписала сюда Алексея Сергеича.

Аксюша. Знаю.

Гурмыжская. Ты, пожалуйста, не возмечтай слишком много о себе! Это еще только предположение. Ты можешь рас-

чувствоваться и потом ошибиться (со смехом), мне тебя будет жаль.

А к с ю ш а. Отчего же мне расчувствоваться?

Г у р м ы ж с к а я. Ах, боже мой! Для тебя ли это не партия? Она еще спрашивает! Но я погляжу прежде, будешь ли ты стоять. Я и сама всем говорю, что он твой жених, и другие пусть говорят; но я еще подумаю, слышишь ты, подумаю.

Входит У л и т а.

А к с ю ш а. Надо будет и меня спросить.

Г у р м ы ж с к а я. Я знаю, когда тебя спросить; не учи меня. А теперь я хочу, чтоб все считали его твоим женихом, мне так нужно. Но сохрани тебя бог кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность!

А к с ю ш а. Какую вольность? Что вы!

Г у р м ы ж с к а я. Ты не обижаться ли вздумала? Это очень мило! Ты знай, душа моя, я вправе думать о тебе все, что хочу. Ты девочка с улицы, ты с мальчишками на салазках каталась.

А к с ю ш а. Не все я на салазках каталась, я с шести лет уж помогала матери день и ночь работать; а по праздникам, точно, каталась с мальчишками на салазках. Что ж, у меня игрушек и кукол не было. Но ведь я уж с десяти лет живу у вас в доме и постоянно имею перед глазами пример...

Г у р м ы ж с к а я. Дурные наклонности укореняются с детства. Потому не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надзор. (Со смехом.) Он хоть твой жених, да зелен виноград.

А к с ю ш а. Жених! Кому нужен такой жених?

Г у р м ы ж с к а я. Ну, это выше твоего понятия.

А к с ю ш а. И не хорош, и не умен.

Г у р м ы ж с к а я. Вздор! Ты глупа, а он умен, хорош, образован. Скажите, скажите! Это ты нарочно. Ты не слепая. Тебе только хочется меня раздражить.

А к с ю ш а. Да вам-то что же?

Г у р м ы ж с к а я. Как что? Это мой выбор, мой вкус. Не тебе чета, светские дамы им увлекались.

А к с ю ш а. Чести им не делает.

Г у р м ы ж с к а я. Ах, ах! Она рассуждает! И почему ты знаешь, что́ честь, что́ бесчестье!

А к с ю ш а. Я девочка с улицы, не светская дама, а не польщусь на такое сокровище.

Г у р м ы ж с к а я. А я тебе приказываю.

А к с ю ш а. А ведь не пойду за него; так к чему же эта комедия?

Г у р м ы ж с к а я. Комедия! Как ты смеешь? Да хоть бы и комедия; я тебя кормлю и одеваю и заставляю играть коме-

дию. Ты не имеешь права входить в мои намерения: мне так нужно, и все тут. Он жених, ты невеста,— только ты будешь сидеть в своей комнате под надзором. Вот моя воля!

А к с ю ш а (*взглянув ей в глаза*). Больше ничего?

Г у р м ы ж с к а я. Ничего, ступайте!

А к с ю ш а уходит.

Нет, погоди! Были и получше тебя, да плясали по моей дочке.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Г у р м ы ж с к а я и У л и т а.

Г у р м ы ж с к а я. Поди сюда!

У л и т а. Что, матушка-барыня, угодно?

Г у р м ы ж с к а я. Подойди поближе, садись, где стоишь, и слушай!

У л и т а (*подходит и садится на пол*). Слушаю, матушка-барыня.

Г у р м ы ж с к а я. Ты меня знаешь? Ты знаешь, как строго я смотрю за всем домом?

У л и т а. Знаю. Как не знать?

Г у р м ы ж с к а я. Я Аксюше не верю, она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеичем; мне не хотелось бы, чтоб она с ним обращалась вольно. При мне, разумеется, она не смеет, но ведь не всегда же я с ними: они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу, даже приказываю тебе...

У л и т а. Понимаю, матушка-барыня, понимаю. Пожалуйста ручку! (*Целует руку Гурмыжской.*) Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень, слоняюсь, шагу без меня не ступят; где они, тут и я.

Г у р м ы ж с к а я (*подумав*). За то я тебя и люблю, что ты догадлива.

У л и т а (*с жаром*). Догадлива, матушка-барыня, догадлива. Вчера платьишко все в тлен изорвала, по кустам ползала, изожглась вся, по крапиве елозила, все подслушивала, что они промежду себя говорят.

Г у р м ы ж с к а я. Изорвала платье? Беда не велика, ты и вперед платья не жалея, у меня много; я тебе, за твое худое, хорошее подарю.

У л и т а (*таинственно*). Вот и здесь давеча сошлись.

Г у р м ы ж с к а я. Что же давеча?

У л и т а. Да все этот дурак Карп мешал; а все-таки кой-что заметить было можно.

Гурмыжская. Что же ты заметила?

Улита. Она-то к нему очень ласкова; а он как будто так... (делает жест рукой) выражал, что я, дескать, не желаю.

Гурмыжская. Да?.. Не ошиблась ли ты? (Смотрит ей в глаза.)

Улита. И как будто так даже... (Делает жест рукой.)

Гурмыжская. Ну!

Улита. И как будто... так можно заметить, что ему не совсем-то... чтоб уж очень...

Гурмыжская. Врешь ты, мне кажется.

Улита. Нет уж, матушка-барыня, у меня глаз на это очень замечателен... И как будто у него на уме что другое...

Гурмыжская. Ну уж, что́ у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты, кажется, заехала.

Улита. Да уж усердие-то мое...

Гурмыжская. Уж как ни велико твое усердие, а в чужом уме ты не была, значит, и болтать по пустякам нечего.

Молчание.

Улита, мы с тобой одних лет...

Улита. Матушка-барыня, я постарше буду.

Гурмыжская. Мне этого не надо, ты напрасно... И я знаю, и ты знаешь, что мы ровесницы.

Улита. Право, матушка-барыня, мне все кажется... Да что́ нам считать: обе мы сироты, вдовы безутешные...

Гурмыжская. Ну, ты не очень безутешная. Помнишь, что́ у нас с тобой было? Уж я и кротостью и строгостью, ничего не помогало.

Улита. Да, было-то, матушка, точно было; да уж давно прошло. А вот последние лет шесть, как вы сами-то в такой тишине...

Гурмыжская. Да, я не замечаю...

Улита. Вот разрази меня!

Гурмыжская. Послушай, Улита! Скажи мне, только говори откровенно... когда случается тебе видеть красивого молодого человека... не чувствуешь ли ты чего, или не приходит ли тебе в голову, что вот приятно полюбить...

Улита. Что вы это! Старухе-то? Забыла, матушка-барыня, все забыла.

Гурмыжская. Ну, какая еще ты старуха! Нет, ты говори!

Улита. Уж коли приказываете...

Гурмыжская. Да, приказываю.

Улита. Разве когда мечта... (нежно) так иногда найдет вроде как облако.

Г у р м ы ж с к а я (в задумчивости). Поди прочь, мерзкая!

Улита встает, отходит к стороне и искоса посматривает. Гурмыжская встает и подходит к окну.

А ведь он мальчик недурен! Он на меня сразу произвел приятное впечатление. Ах, как я еще душой молода! Мне кажется, я до семидесяти лет способна буду влюбляться... И если б не мое благоразумие... Он меня не видит... (Делает ручкой.) Ах, красавчик!.. Да, твердые правила в жизни много значат. (Оборачивается и видит Улиту.) А ты здесь еще? Ну, пойдем; я тебе, вместо одного платья, два подарю.

Уходят.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Лес: две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ авансцены под углом. На углу крашеный столб, на котором, по направлению дорог, прибиты две доски с надписями, на правой: «В город Калинов», на левой: «В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской». У столба широкий, низкий пенёк, за столбом, в треугольнике между дорогами, по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста. Вечерняя заря.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

А к с ю ш а выходит из лесу с левой стороны и садится на пенёк; П е т р выходит из лесу с правой стороны и потом мальчик.

П е т р (громко). Терёнька!

Из лесу выходит мальчик.

Влезь на дерево там, с краю, и, значит, смотри по дороге в оба... Да ты не засни, а то кто-нибудь застрелит вместо тетерева. Слышишь?

М а л ь ч и к (робко). Слышу.

П е т р. Как, значит, тятенька, ты в те поры так и катись с дерева турманом, и прямо сюда. (Поворачивает его и дает ему легкий подзатыльник.) Ну, пошел.

Мальчик отходит.

Да, пожалуйста, братец, поразвязней!

М а л ь ч и к уходит в лес.

А к с ю ш а (подходя к Петру). Здравствуй, Петя!

П е т р (целуя ее). Здравствуй; какие дела?

А к с ю ш а. Всё те же, немножко хуже.

П е т р. А мы так наслышаны, что много лучше.

А к с ю ш а. Что ты сочиняешь!

П е т р. За благородного выходите? Оно лучше-с, может, еще на разные языки знает; и то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то что мы.

А к с ю ш а (зажимая ему рот). Да полно ты, полно! Ведь знаешь, что этому не бывать, что ж прибираешь-то?

П е т р. Как же, значит, не бывать, когда тетинька сами давеча...

А к с ю ш а. Не бойся, не бойся!

П е т р. Так уж ты прямо и говори, чья ты? Своя ты или чужая?

А к с ю ш а. Своя, милый мой, своя. Да, кажется, меня и неволить не будут. Тут что-то другое.

П е т р. Отвод?

А к с ю ш а. Похоже.

П е т р. А уж я давеча натерпелся. Тятенька-таки о тебе словечко закинул, а она ему напрямки: «просватана». Так веришь ты, пока они разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А потом тятенька два часа битых ругал; отдохнет да опять примется. Ты, говорит, меня перед барыней дураком поставил.

А к с ю ш а. Она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что ж, отец-то твой все еще приданого ищет?

П е т р. Меньше трех тысяч не мирится. «Ежели, говорит, за тебя трех тысяч не взять, не стоило, говорит, тебя и кормить. Хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами».

А к с ю ш а. Делать нечего, трех тысяч мне взять негде. У меня-то спрашивал ты, чья я; ты-то чей? Свой ли?

П е т р. Я-то чужой, про меня что говорить! Я каторжный, по рукам, по ногам скованный навеки нерушимо.

А к с ю ш а. Что ты такой грустный, неласковый?

П е т р. Да чему радоваться-то? Я и то уж по лесу-то хожу да все на деревья посматриваю, который сук покрепче. Самой-то, чай, тоже не веселей моего.

А к с ю ш а. Мне ни скучно, ни весело, я уж замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой!

П е т р. Так-то так, да все радости-то мало.

А к с ю ш а. Ах ты, глупый! Как же тебе не радость, какая девушка тебя любит.

П е т р. Да что ж меня не любить-то? Я не мордва некрещеная. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность.

А к с ю ш а (сердито). Поди ты прочь, коли так!

П е т р. Нечего сердиться-то! У меня теперь засад в голове,— третий день думаю, да мозги что-то плохо поворачиваются; и так кину, и этак...

А к с ю ш а (все еще с сердцем). Об чем это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал; нужно ведь подумать-то.

П е т р. О тебе-то и думаю. У меня надвое; вот одно дело: приставать к тятеньке. Нынче он, примерно, поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра, будем так говорить, хоть и прибьет, а я послезавтра опять за то же; так, покудова ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду, ни одного дня не пропускать. Либо он убьет меня поленом, либо сделает по-моему; по крайности развязка.

А к с ю ш а (подумав). А другое-то что?

П е т р. А другое дело почудней будет. У меня есть своих денег рублей триста; да ежели закинуть горсть на счастье в тятенькину конторку, так, пожалуй, что денег-то и вволю будет.

А к с ю ш а. А потом что ж?

П е т р. А потом уж «унеси ты мое горе» — сейчас мы с тобой на троечку; «ой вы, милые!» Подъехали к Волге; ссь... тпру! на пароход; вниз-то бежит он ходко, по берегу-то не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове; жить, чего душа просит; дорогого чтоб для нас не было.

А к с ю ш а. А знакомых встретишь?

П е т р. А вот взял сейчас один глаз зажмурил, вот тебе и кривой; и не узнают. Я так тебе дня три прохожу. А то еще раз какой со мной случай, я тебе скажу. Посылал меня тятенька в Нижний за делом, да чтоб не мешкать. А в Нижнем-то нашлись приятели, заманили в Лысково съездить. Как быть? Узнают дома — беда. Вот я чужую чуйку надел, щеку подвязал, еду. На пароходе как раз тятенькин знакомый; я, знаешь, от него не прячусь, хожу смело, он все поглядывает. Вот вижу, подходит. «Вы, говорит, откуда едете?» «Из Мышкина», говорю. А я там сроду и не бывал. «Что-то, говорит, лицо ваше знакомо». «Мудреного нет», говорю; а сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне другой раз все с тем же, подходит в третий, все пытается. Взяло меня за сердце. «Мне самому, говорю, лицо ваше знакомо. Не сидели ли мы с вами вместе в остроге в Казани?» Да при всей публике-то. Так он не знал, как откатиться от меня; ровно я его из штуцера застрелил. Встреча что!

А к с ю ш а. А проживем мы деньги, что ж потом?

П е т р. Вот тут-то я не додумал еще. Либо ехать виниться, либо выбрать яр покруче, а место поглубже, да чтоб воду-то воронкой вертело, да и по-топорному, как топоры плавают. Надо подумать еще...

А к с ю ш а. Нет, уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй.

П е т р. Надоедать, стало быть?

А к с ю ш а. Да. Ну, уж там, коли... там подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее, у нас рано ложатся.

П е т р. Ладно.

Вбегает мальчик.

Что?

Мальчик. Тятенька! *(Быстро убегает.)*

Петр *(проворно)*. Значит, шабаш. Бежать во все лопатки! Прощай!

Целуются и расходятся.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

С правой стороны из глубины показывается Несчастливцев. Ему лет 35-ть, но на лицо он гораздо старше, брюнет с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные, следы беспокойной и неводержной жизни. На нем длинное и широкое парусинное пальто, на голове серая, очень поношенная шляпа с широкими полями, сапоги русские большие, в руках толстая, суковатая палка, за спиной небольшой чемодан, вроде ранца, на ремнях. Он, видимо, утомлен, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды исподлобья. В то же время с другой стороны показывается Счастливцев; ему лет за 40, лицо как будто нарумяненное, волосы на голове вроде вытертого меха, усы и эспаньолка тонкие, жидкие, рыжеватопепельного цвета, глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нем голубой галстух, коротенький пиджак, коротенькие панталоны в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский картузик — все очень поношенное, на плече, на палке, повешено самое легкое люстриновое пальто и узел в цветном платке. Утомлен, переводит дух тяжело и смотрит кругом с улыбкой, не то печальной, не то веселой. Сходятся.

Несчастливцев *(мрачно)*. Аркашка!

Счастливцев. Я, Геннадий Демьяныч. Как есть весь тут.

Несчастливцев. Куда и откуда?

Счастливцев. Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?

Несчастливцев. Из Керчи в Вологду. Ты пешком?

Счастливцев. На своих-с, Геннадий Демьяныч. *(Полузаискивающим, полунасмешливым тоном.)* А вы-с, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев *(густым басом)*. В карете. *(Горячо.)* Разве ты не видишь? Что спрашиваешь? Осел!

Счастливцев *(робко)*. Нет, я так-с...

Несчастливцев. Сядем, Аркадий!

Счастливцев. Да на чем же-с?

Несчастливцев *(указывая на пень)*. Я здесь, а ты где хочешь. *(Садится, снимает чемодан и кладет подле себя.)*

Счастливцев. Что это у вас за ранец-с?

Несчастливцев. Штука отличная. Сам, братец, сшил для дороги. Легко и укладисто.

Счастливцев *(садится на землю подле пня)*. Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там-с?

Несчастливцев. Пара платья, братец, хорошего, в Полтаве еврей сшил. Тогда я в Ильинскую, после бенефиса, много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика, пистолет тут у меня хороший, у черкеса в карты выиграл в Пятигорске. Замок попорчен; как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет; был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.

Счастливцев. Да на что же вам фрак-с?

Несчастливцев. Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя! Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь, поступлю в труппу,— должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру, по городу визиты сделать? Комики визитов не делают, потому что они шуты, а трагики — люди, братец. А у тебя что в узле?

Счастливцев. Библиотека-с.

Несчастливцев. Большая?

Счастливцев. Писес тридцать, и с нотами.

Несчастливцев (басом). Драмы есть?

Счастливцев. Только две-с, а то все водевили.

Несчастливцев. Зачем ты такую дрянь носишь?

Счастливцев. Денег стоит-с. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена...

Несчастливцев. И все это ты стяжал?..

Счастливцев. И за грех не считаю, жалованье задерживают.

Несчастливцев. А платье у тебя где ж?

Счастливцев. Вот, что на мне-с, а то уж давно никакого нет-с.

Несчастливцев. Ну, а как же ты зимой?

Счастливцев. Я, Геннадий Демьяныч, обдержался-с. В дальнюю дорогу точно трудно-с; так ведь кто на что, а голь на выдумки. Везли меня в Архангельск, так в большой ковер закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садиться — опять закатают.

Несчастливцев. Тепло?

Счастливцев. Ничего, доехал-с; а много больше тридцати градусов было. Зимняя дорога-то Двиной, между берегов-то тяга; ветер-то с севера, встречу. Так вы в Вологду-с? Там теперь и труппы нет.

Несчастливцев. А ты в Керчь? И в Керчи тоже, брат, труппы нет.

Счастливцев. Что же делать-то-с, Геннадий Демьяныч, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку-с.

Несчастливцев. Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись?

Счастливцев. В Кременчуге-с.

Несчастливцев. Ты тогда любовников играл; что же ты, братец, после делал?

Счастливцев. После я в комики перешел-с. Да уж очень много их развелось; образованные одолели: из чиновников, из офицеров, из университетов — все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я в суфлеры-с. Каково это для человека с возвышенной душой-то, Геннадий Демьяныч? В суфлеры!..

Несчастливцев (со вздохом). Все там будем, брат Аркадий.

Счастливцев. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьяныч, и ту перебивают.

Несчастливцев. Оттого, что просто; паясничать-то хитрость не велика. А попробуй-ка в трагики! Вот и нет никого.

Счастливцев. А ведь игры хорошей у образованных нет, Геннадий Демьяныч.

Несчастливцев. Нет. Какая игра! Мякина!

Счастливцев. Канитель.

Несчастливцев. Канитель, братец. А как пьесы ставят, хоть бы и в столицах-то. Я сам видел: любовник тенор, резонер тенор и комик тенор; (басом) основания-то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушел. Ты зачем это эспаньолку завел?

Счастливцев. А что же-с?

Несчастливцев. Скверно. Русский ты человек али нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти.

Счастливцев. Я пробовал бороду-с, да не выходит.

Несчастливцев. Как так? Что ты врешь?

Счастливцев. Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Демьяныч.

Несчастливцев. Гм! Перья! Рассказывай еще! Говорю тебе, обрей. А то попадешь мне под сердитую руку... с своей эспаньолкой... смотри!

Счастливцев (робко). Обрею-с.

Несчастливцев. А я, брат Аркаша, там, на юге, строился совсем.

Счастливцев. Отчего же так-с, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. Характер, братец. Знаешь ты меня: лев ведь я. Подлости не люблю, вот мое несчастье. Со всеми антрепренерами перессорился. Неуважение, братец, интриги; искусства не ценят, все копеечники. Хочу у вас, на севере, счастья попробовать.

Счастливцев. Да ведь и у нас то же самое, и у нас не уживетесь, Геннадий Демьяныч. Я вот тоже не ужился.

Несчастливцев. Ты... тоже!.. Сравнял себя со мной.

Счастливцев (обида). Еще у меня характер-то лучше вашего, я смирнее.

Несчастливцев (*грозно*). Что-о?

Счастливцев (*отодвигаясь*). Да как же, Геннадий Демьяныч-с? Я смирный, смирный-с... Я никого не бил.

Несчастливцев. Так тебя били, кому только не лень было. Ха-ха-ха! И всегда так бывает: есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше, не знаю: у всякого свой вкус. И смеешь ты...

Счастливцев (*отодвигаясь*). Ничего я не смею, а вы сами сказали, что не ужились.

Несчастливцев. Не ужились?.. А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? Ну, рассказывай!

Счастливцев. Что́ рассказывать-то? Мало ли что болтают. Выгнал... А за что выгнал, как выгнал?

Несчастливцев. Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. Три раза тебя выбивали из города; в одну, заставу выгонят, ты войдешь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения: стреляйте его, говорит, в мою голову, если он еще воротится.

Счастливцев. Уж и стрелять! Разве стрелять можно?

Несчастливцев. Стрелять не стреляли, а четыре версты казаки нагайками гнали.

Счастливцев. Совсем и не четыре.

Несчастливцев. Ну, будет, Аркадий! Не раздражай ты меня, братец! (*Повелительно.*) Подвигайся! (*Встает.*)

Счастливцев. Подвигаюсь, Геннадий Демьяныч. (*Встает.*)

Несчастливцев. Да, брат Аркадий, разбился я с театром; а уж и жаль теперь. Как я играл! Боже мой, как я играл!

Счастливцев (*робко*). Очень хорошо-с?

Несчастливцев. Да, так-то хорошо, что... Да что с тобой толковать! Что ты понимаешь! В последний раз в Лебедяни играл я Велизария, сам Николай Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо... (*С силою опускает руку на плечо Счастливцеву.*)

Счастливцев (*приседая от удара*). Ой! Геннадий Демьяныч, батюшка, помилосердствуйте! Не убивайте! Ей-богу, боюсь.

Несчастливцев. Ничего, ничего, брат; я легонько, только пример... (*Опять кладет руку.*)

Счастливцев. Ей-богу, боюсь! Пустите! Меня ведь уж раз так-то убили совсем до смерти.

Несчастливцев (*берет его за ворот и держит*). Кто? Как?

Счастливцев (*жметя*). Бичевкин. Он Ляпунова играл, а я Фидлера-с. Еще на репетиции он все примеривался. «Я, говорит, Аркаша, тебя вот как в окно выкину: этой рукой за ворот

подниму, а этой поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал». Уж я его молил, молил и на коленях стоял. «Дяденька, говорю, не убейте меня!» — «Не бойся, говорит, Аркаша, не бойся!» Пришел спектакль, подходит наша сцена; публика его принимает; гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. «Постелите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтоб я в самом деле его не убил». Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню; подходит он ко мне, лица человеческого нет, зверь зверем; взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух; а правой как размахнется да кулаком меня по затылку как хватит... Света я не взвидел, Геннадий Демьяныч, сажени три от окна-то летел, в женскую уборную дверь прошиб. Хорошо трагикам-то! Его тридцать раз за эту сцену вызвали, публика чуть театр не разломала, а я на всю жизнь калекой мог быть, немножко бог помиловал... Пустите, Геннадий Демьяныч!

Несчастливцев *(держит его за ворот)*. Эффектно! Надо это запомнить. *(Подумав.)* Постой-ка! Как ты говоришь? Я попробую.

Счастливцев *(падая на колени)*. Батюшка, Геннадий Демьяныч!..

Несчастливцев *(выпускает его)*. Ну, не надо, убирайся! В другой раз... Так вот положил он мне руку на плечо. «Ты, говорит... да я, говорит... умрем, говорит»... *(Закрывает лицо и плачет. Отирая слезы.)* Лестно. *(Совершенно равнодушно.)* У тебя табак есть?

Счастливцев. Какой табак, помилуйте! Крошки нет.

Несчастливцев. Как же ты в дорогу идешь, а табаком не запасся? Глуп.

Счастливцев. Да ведь и у вас нет?

Несчастливцев. «У вас нет». Смеешь ты мне это говорить. У меня такой был, какого ты и не видывал, одесский, первый сорт от Криона, да теперь вышел.

Счастливцев. И у меня тоже вышел-с.

Несчастливцев. А денег с тобой много?

Счастливцев. У меня и сроду много-то не было, а теперь копейки за душой нет.

Несчастливцев. Как же в дорогу без денег-то? Без табаку и без денег. Чудак!

Счастливцев. Лучше, не ограбят-с. Да разве не все равно без денег-то, что на месте сидеть, что по дороге идти?

Несчастливцев. Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься; а дальше-то как? Землей войска Донского? Там, не то что даром, а и за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе

нет, а ты хочешь по станицам идти: ведь казачки-то тебя за беса сочтут — детей стращать станут.

Счастливцев. Уж вы не хотите ли мне займы дать, Геннадий Демьяныч? Надо правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий, бывало, никогда товарищу не откажет, последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.

Несчастливцев. Ну, ты этого мне не смей говорить! У меня тоже душа широкая; только денег я тебе не дам, самому, пожалуй, не хватит. А пожалеть тебя, брат Аркашка, я пожелаю. У тебя нет поблизости родных или знакомых?

Счастливцев. Нет; да ведь если б и были, так они денег не дадут.

Несчастливцев. Не об деньгах речь! А хорошо бы отдохнуть с дороги, пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых нет? Что же ты за человек?

Счастливцев. Да ведь и у вас тоже нет.

Несчастливцев. У меня-то есть, да я было хотел мимо пройти, горд я очень. Да уж, видно, завернуть.

Счастливцев. Ведь и у родных-то тоже не велика радость нам, Геннадий Демьяныч. Мы народ вольный, гулящий, — нам трактир дороже всего. Я у родных-то пожил, знаю. У меня есть дяденька, лавочник в уездном городе, верст за пятьсот отсюда, погостил я у него, да кабы не бежал, так...

Несчастливцев. Что же?

Счастливцев. Нехорошо-с. Да вот я вам расскажу-с. Шлялся я без дела месяца три, надоело; дай, думаю, дяденьку навещу. Ну, и пришел-с. Долго меня в дом не пускали, всё разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. «Ты, говорит, зачем?» — «Навестить, говорю, вас, дяденька». — «Значит, ты свои художества бросил?» — «Бросил», говорю. «Ну что ж, говорит, вот тебе каморка, поживи у меня, только прежде в баню сходи». Стал я у них жить. Встают в четыре часа, обедают в десять, спать ложатся в восьмом часу; за обедом и за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. Дядя с утра уйдут в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит: «Бессчастный ты человек, душе своей ты погубитель!» Только у нас и разговору. «Не пора ли тебе, душе своей погубитель, ужинать; да шел бы ты спать».

Несчастливцев. Чего ж тебе лучше?

Счастливцев. Оно точно-с, я было поправился и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль: не удавиться ли мне? Я, знаете ли, потрянул головой, чтоб она вышла, погода немного опять эта мысль, вечером опять.

Нет, вижу, дело плохо, да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то.

Несчастливцев. Я бы и сам, братец, не пошел, да, признаться тебе сказать, устал, а еще до Рыбинска с неделю пропутешествуешь, да и дело-то найдешь ли, неизвестно. Вот, если бы нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую...

Счастливцев. Тогда бы уж и хлопотать нечего-с, мы бы сами-с... остальных подобрать легко. Мы бы такую труппу составили... я кассиром...

Несчастливцев. За малым дело стало, актрисы нет.

Счастливцев. Да их теперь и нигде нет-с.

Несчастливцев. Да понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, Аркашка, какую актрису мне нужно? Душа мне, братец, нужна, жизнь, огонь.

Счастливцев. Ну, уж огня-то, Геннадий Демьяныч, днем с огнем не найдешь.

Несчастливцев. Ты у меня не смей острить, когда я серьезно разговариваю. У вас, водевильных актеров, только смех на уме, а чувства ни на грош. Бросится женщина в омут головой от любви,— вот актриса. Да чтоб я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута, тогда поверю. Ну, видно, идти.

Счастливцев. Куда-с?

Несчастливцев. Не твое дело. Пятнадцать лет, братец, не был, а ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни, знаешь ли, все это в памяти. (*Опускает голову.*) Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка; ей, по самому дамскому счету, давно за пятьдесят лет. Я ее не забывал, посылал, братец, ей часто подарки. Из Карасубазара послал ей туфли татарские, мороженую нельму из Иркутска, бирюзы — из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, из Ирбита, балык — из Новочеркасска, малахитовые четки — из Екатеринбурга, да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете; дворня навстречу... А теперь пешком, в рубище. (*Утирает слезы.*) Горд я, Аркадий, горд. (*Надевает чемодан.*) Пойдем, и тебе угол будет.

Счастливцев. Куда же, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. Куда? (*Указывает на столб.*) Читай!

Счастливцев (*читает*). «В усадьбу «Пеньки», помещицы г-жи Гурмыжской».

Несчастливцев. Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.

Медленно уходят.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Старый, густой сад; налево от зрителей невысокая терраса барского дома, уставленная цветами; с террасы сход в три или четыре ступени.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г у р м ы ж с к а я на террасе. Б у л а н о в в саду.

Б у л а н о в (*увидав Гурмыжскую, помогает ей сойти с террасы и целует ее руку*). С добрым утром, Раиса Павловна!

Г у р м ы ж с к а я. Здравствуй, мой друг!

Б у л а н о в (*с участием*). Как ваше здоровье-с?

Г у р м ы ж с к а я. Благодарю тебя, мой милый. Я здорова и как-то особенно свежо чувствую себя сегодня, несмотря на то что плохо ночь спала. Какое-то волнение, и такие всё неприятные сны видела. Ты снам веришь?

Б у л а н о в. Как же не верить-с? Может быть, если б я поучился побольше, я б и не верил-с. (*Злобно улыбаясь*.) А ведь я не доучился-с, я и растрепанный не хожу, и умываюсь каждый день, и снам верю-с.

Г у р м ы ж с к а я. Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы.

Б у л а н о в. Что же вы, Раиса Павловна, изволили видеть?

Г у р м ы ж с к а я. Ну, положим, что я тебе всего не скажу.

Б у л а н о в. Извините!

Г у р м ы ж с к а я. И вины никакой нет. Другой сон тебе скажу, а этот нет.

Б у л а н о в. Отчего же-с?

Г у р м ы ж с к а я. Оттого, что рассказывать сны иногда точно то же, что рассказывать свои тайные мысли или желания; а это не всегда удобно: я — женщина, ты — мужчина.

Б у л а н о в. Так что ж, что мужчина-с?

Г у р м ы ж с к а я. Уж это такая невинность, что из рук вон. Ну, я тебя видела.

Б у л а н о в. Меня? Это мне очень приятно-с.

Г у р м ы ж с к а я. Будто?

Б у л а н о в. Значит, вы обо мне думали-с, как почивать ложились.

Г у р м ы ж с к а я. Скажите пожалуйста! И ты этим очень доволен?

Б у л а н о в. Да как же не доволен-с? Я все боюсь, что вы на меня рассердитесь за что-нибудь и прогоните к маменьке.

Г у р м ы ж с к а я. Ах, как это смешно! Да за что же мне рассердиться на тебя? Бедный, ты меня боишься?

Б у л а н о в. Как же не бояться; говорят, вы очень строги.

Г у р м ы ж с к а я. Это хорошо, что так говорят. Но с тобой,

мой друг, я строга не буду: хуже всего для тебя, если ты меня будешь бояться.

Буланов. Хорошо-с... Вот если б я знал...

Гурмыжская. Что?

Буланов. Как угодить вам!

Гурмыжская. Догадайся.

Буланов. Догадаться-то разве легко-с? Да у меня на это и ума нет.

Гурмыжская. На что же у тебя ум?

Буланов. На все, что прикажут; вот еще именем управлять, мужиками-с. Если б были крепостные, вам бы лучше меня управляющего не найти; нужды нет, что я молод.

Гурмыжская. Ах, этот сон! Нейдет из головы, да и только.

Буланов. Чем же он вас так беспокоит?

Гурмыжская. Довольно трудно объяснить; но с тобой я могу говорить откровенно; я вижу, что ты мне предан. Вот видишь: у меня есть племянник.

Буланов. Я знаю-с. Вы его очень любите и часто говорите про него.

Гурмыжская. Мой друг, иногда говорят одно, а думают совсем другое. Зачем я всякому стану объяснять свои чувства! Я по родству должна любить его, ну, я и говорю, что люблю.

Буланов. А в самом-то деле не любите?

Гурмыжская. Не то что не люблю, а... как тебе сказать... он теперь лишний. Я так покойна, я уж задумала, как мне распорядиться своим состоянием, и вдруг он явится. Как ему отказать! Надо будет и ему дать какую-нибудь часть, и я должна буду отнять у того, кого люблю...

Буланов. Так вы не отдавайте-с.

Гурмыжская. Да нельзя. За что же я ему откажу, если он почтителен и ведет себя хорошо! Да я здесь так себя поставила, что отказать родственнику не могу. Ну, а если он придет без средств? Надо будет его содержать; пожалуй, захочет поселиться у меня. Ведь не выгнать же его.

Буланов. Прикажите мне, я выгоню.

Гурмыжская (с испугом). Ах, сохрани тебя бог! Береги себя, береги! Вот что я видела во сне: будто он приехал и убил тебя из пистолета при моих глазах.

Буланов. Меня? Ну еще мы это посмотрим-с. Да вы, Раиса Павловна, лучше о нем и не думайте, а то он все вам будет сниться.

Гурмыжская. Он очень умен был до сих пор, пятнадцать лет сюда и не заглядывал. Желала бы я, очень желала, чтоб и еще пятнадцать лет так прошло.

Буланов. Так вы, Раиса Павловна, лучше о нем забудьте

совсем и не говорите, а то, чего доброго, накличете, пожалуй.

Гурмыжская. В самом деле, как бы не накликать.

Входит Карп.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Гурмыжская, Буланов, Карп.

Карп. Пожалуйста, сударыня, чай кушать, самовар готов-с.

Гурмыжская. Пойдем, Алексис!

Карп. Сударыня, сегодня ночью барин приехали.

Гурмыжская. Барин? Какой барин?

Карп. Геннадий Демьяныч-с.

Гурмыжская (с испугом). Неужели? Слышишь, Алексис? (Карпу.) Где же он?

Карп. Я их в беседку проводил, там и почивать им приготовил-с. Они говорили, что остановились в городе в гостинице, всю поклажу там оставили, а к нам пешком из городу заместо прогулки.

Гурмыжская. Еще ничего не говорил?

Карп. Ничего-с. Они были не в духе-с.

Гурмыжская. Как не в духе?

Карп. Как вроде в забвении-с; надо полагать, с дороги-с. Требовали бумаги и чернил; долго ходили по беседке, все думали; сели к столу, написали записку и приказали вам отдать. (Подает записку.)

Гурмыжская. Что такое? Стихи какие-то. (Читает.)

Судьба моя жестокая!
Жестокая судьба моя!
Ах, теперь одна могила...

Что это, Алексис? Я не понимаю.

Буланов. Вы не понимаете, мне-то где же-с?

Гурмыжская (Карпу). Он спит?

Карп. Никак нет-с. Встали рано и ушли, должно быть, купаться. Я их сегодня не видал-с.

Гурмыжская. Ну, когда придет, проси в гостиную чай кушать!

Карп. Слушаю-с. (Уходит.)

Гурмыжская (пожимает плечами). Вот и не верь снам. Пойдем, Алексис.

Уходят.

Выходят Несчастливцев, одетый очень прилично, на голове черная складная шляпа, и Счастливцев в прежнем костюме.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Несчастливцев, Счастливцев.

Несчастливцев. Ну, Аркадий, тетушка моя женщина почтенная, строгая; я не хочу, братец, чтоб она знала, что я актер, да еще провинциальный. (*Грозит пальцем.*) Смотри не проговорись; я Геннадий Демьяныч Гурмыжский, капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет; одним словом, я барин, а ты мой лакей.

Счастливцев. Как лакей?

Несчастливцев. Так, просто, лакей, да и все тут. Нельзя ж мне тебя вести в гостиную! Как я тебя представлю тетеньке? Она женщина набожная, в доме, братец, тишина, скромность — и вдруг, представьте себе, — физиономия. А лакеем быть тебе, с твоей рожей, братец, в самый раз.

Счастливцев. Нет уж, извините! Это еще неизвестно.

Несчастливцев. Что неизвестно?

Счастливцев. Насчет рожи-то.

Несчастливцев. Нет, уж ты, брат Аркадий, не сомневайся.

Счастливцев. Да, как же!

Несчастливцев (*грозно*). Так же, говорю я тебе! Чего тебе еще? Накормят тебя здесь хорошо, служить ты будешь только мне.

Счастливцев. Да ведь я горд, Геннадий Демьяныч.

Несчастливцев. Очень мне нужно, что ты горд. Не тебе чета, сам Мартынов играл лакеев, а ты стыдишься! Как ты, братец, глуп!

Счастливцев. Да ведь то на сцене.

Несчастливцев. Ну, и ты, братец, представь себе, что ты на сцене.

Счастливцев. Нет, я не хочу. Ишь, что выдумали! Как же! Я лучше уйду, и у меня есть амбиция.

Несчастливцев. Я знаю, что амбиция есть; а паспорт есть ли?

Счастливцев. Вам что за дело?

Несчастливцев. А вот что: уйди, попробуй, так увидишь. Мне, братец, только мигнуть, и пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. Я ведь знаю, ты двенадцать лет без паспорта ходишь. Вместо паспорта у тебя в кармане статья Курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то и играл очень скверно. Вот и весь твой вид. Ну, что ж ты замолчал? То-то же! А ты сделай, братец, для меня! Кто тебя просит, подумай! Ну, по-товарищески, понимаешь, по-товарищески!

Счастливец. Если по-товарищески, я пожалуй.

Несчастливцев. Ты не думай, братец, что я гнушаюсь своим званием. А неловко, братец; дом такой: тишина, смирение. А ведь мы с тобой почти черти, немного лучше. Сам знаешь: скоморох попу не товарищ. Только ты насчет ссоры или драки, ну, и насчет чужого поостерегись, Аркаша! Хоть тебе и трудно будет, а постарайся, братец, вести себя как следует порядочному лакею. Вот, во-первых, сними, братец, картуз да отойди к стороне, кто-то идет.

Входит Карп.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Несчастливцев, Счастливцев, Карп.

Карп. Здравствуйте, батюшка барин! Как почивать изволили?

Несчастливцев. Ничего, братец, соснул недурно.

Карп. Что это, сударь, вы как постарели.

Несчастливцев. Жизнь, братец.

Карп. Понимаю, сударь, как не понимать. Тоже ведь эта служба...

Несчастливцев. Да, братец, эта служба...

Карп. Опять же, сударь, и походы...

Несчастливцев (со вздохом). Ох, походы, походы!

Карп. С места на место, сударь...

Несчастливцев. Да, брат, с места на место. Вы как здесь поживаете?

Карп. Какая наша жизнь, сударь! Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. Пожалуйста, сударь, пожалуйста! Тетенька вас чай кушать дожидается.

Несчастливцев (подходя к террасе). Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку, напои чайком, братец!

Карп. Слушаю, сударь, будьте покойны.

Несчастливцев уходит.

Счастливцев. Ах, черт возьми, ушел, оставил с хамом. Вот уж он и с разговором лезет.

Карп. Как вас звать?

Счастливцев. Сганарель.

Карп. Вы кто же будете? Иностранец, что ли?

Счастливцев. Иностранец буду. А вас как?

Карп. Карп Савельич.

Счастливцев. Не может быть.

Карп. Верно.

Счастливцев. Да ведь карп — рыба.

Карп. То карпия.

Счастливец. Да что карпия, что карп — все равно. Уж лучше бы вас Сазаном Савельичем звали.

Карп. Ну, как можно. Хотите чаю?

Счастливец. Нет.

Карп. Как нет?

Счастливец. Так нет.

Карп. Так-таки совсем и не хотите?

Счастливец. Совсем и не хочу.

Карп. Да почему же так?

Счастливец. Потому же.

Карп. Это я не понимаю.

Счастливец. Очень просто. Оно после купанья-то лучше бы...

Карп. Само собой, что лучше бы... только где взять?

Счастливец. Потрудитесь, Окунь Савельич!

Карп. Да не окунь, Карп. Нешто у ключницы попросить?

Счастливец. Попросите, да принесите к нам в беседку!

Карп. Да уж постараюсь для вас.

Счастливец. Постарайтесь, Налим Савельевич! (*Кланяется и уходит.*)

Карп. Ах, шут гороховый! Откуда его вывезли, из каких таких земель? Должно быть, издалёка. Вот так камардин. Да и то сказать — образование; а здесь что? Одно слово: лес.

Входят Восмибратов и Петр.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Карп, Восмибратов и Петр.

Карп. Вам что?

Восмибратов. Барыню любопытно бы видеть, любезнейший.

Карп. Дожидайтесь своего термину, когда вас позовут.

Петр. Да чудака, ведь у нас с тятенькой дела.

Карп. Нужда нам не велика до ваших дел! Нельзя же, помилуйте! Куда же вы лезете!

Петр. А ты все-таки поди доложь, попробуй!

Карп. Как вы говорите доложить, коли заняты с полковником. Племянник ихний приехал.

Восмибратов. Полковник?

Карп. Разумеется, полковник... Пятнадцать лет не видавшись.

Восмибратов. Надолго?

Карп. Зачем ему надолго? Совсем приехали.

Восмибратов (*подумав*). Строги?

Карп. Само собой, а то как же! Об чем говорить еще! Какое звание. Возьмите себе в ум!

Восмибратов (махнув рукой). Ну, пущай их!.. А ты все-таки в свое время... (Уходит, за ним Петр.)

Карп. Учите еще!

Выходят из дому Несчастливцев и Буланов.
Карп уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Несчастливцев и Буланов.

Несчастливцев. Какова у меня сестренка, братец?

Буланов. Да-с.

Несчастливцев. Женись, братец, женись!

Буланов. Вы одобряете?

Несчастливцев. Да мне-то что за дело? Родятся люди, женятся, умирают; значит, так нужно, значит, хорошо.

Буланов. Прошу вас полюбить меня-с.

Несчастливцев. Да на что тебе моя любовь? Что в ней, братец, толку?

Буланов. Все-таки-с.

Несчастливцев. Разве наследства ждешь? Жди, братец, жди! А ты вот что: ты подыграйся к тетушке, она женщина богатая. Молод еще ты; а впрочем, как знать, эти способности рано открываются. Умеешь?

Буланов (стыдливо). Умею-с.

Несчастливцев. Браво! Где же это ты научился в такие младенческие годы?

Буланов. Чему-с?

Несчастливцев. Подыгрывать-то, братец, угождать, ползать-то?

Буланов. Нужда научит-с.

Несчастливцев. Нужда? А почему ты ее знаешь, эту нужду-то?

Буланов. Как мне не знать-с? Я в жизни очень несчастлив-с.

Несчастливцев. Вздор, не верю. Ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать и подличать не умеет. Чем ты несчастлив, говори!

Буланов. Во-первых, мне папенька мало наследства оставил.

Несчастливцев. А тебе сколько нужно?

Буланов. Хоть бы тысячи две, три десятин земли-с или деньгами тысяч сорок-с.

Несчастливцев. И ты был бы счастлив? Немного же тебе, братец, надо!

Буланов. Оно точно, что немного, а можно жить порядочно-с.

Несчастливцев. Ну, подожди, братец, я тебе больше оставлю.

Буланов. Вы нарочно-с?

Несчастливцев. Ну, вот еще! Родных у меня нет, ты мне очень понравился. А еще какое несчастье у тебя?

Буланов. Ученьем несчастлив-с... я даже в гимназии не кончил-с.

Несчастливцев (*снимает шляпу и кланяется*). Уж ты меня, братец, извини, сделай милость!

Буланов. В чем же-с?

Несчастливцев. В этом я тебе помочь никак не могу. И рад бы, да не могу.

Буланов. Да ничего, помилуйте-с! Это и не нужно-с, были бы деньги. Маменька говорит, что у меня ум не такой, не для ученья-с.

Несчастливцев. Какой же?

Буланов. Практический-с.

Несчастливцев. Ну, благодари творца, что хоть какой-нибудь есть. А то часто бывает, что и никакого нет.

Буланов. Да и это ничего-с. Было бы только земли побольше, да понимать свой интерес, помещичий; а то и без ума можно прожить-с!

Несчастливцев. Да оно и лучше, голове легче. Так ума у тебя нет? Хоть папиросы есть ли?

Гурмыжская показывается на террасе.

Буланов (*смеется*). Тоже нет-с.

Несчастливцев. Чему же ты, братец, смеешься? Да ты куришь или нет?

Буланов (*тихо*). Я курю-с, и папиросы есть, только вот Раиса Павловна идут, а при них я никогда себе не позволяю.

Гурмыжская сходит в сад.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Гурмыжская, Несчастливцев, Буланов, потом Карп.

Гурмыжская. Я бы тебя никак не узнала, так ты изменился. Благодарю, что ты меня не совсем забыл; а мы тебя вспоминали чуть не каждый день.

Несчастливцев. Могу ли я забыть вас! Вы не знаете моего сердца. Я помнил вас, помню и буду помнить.

Гурмыжская. Знаю, мой друг, и благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как четками.

Несчастливцев. Когда я посылаю эти четки, я думал: «добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. О, помяни меня в твоих святых молитвах!»

Гурмыжская. Поминаю, мой друг, поминаю. Однако я до сих пор не спрошу у тебя. Судя по твоему платью, ты уж больше не служишь в военной службе.

Несчастливцев. Нет. Плохо здоровье, плохи силы, враг не грозит. Но если... а!.. мне по душе кровавые потехи! Служить в мирное время для чинов, для почестей!.. Я не честолюбив.

Гурмыжская. Но я не думаю, чтоб ты мог жить без дела. Ты, вероятно, только переменил службу?

Несчастливцев. Переменил.

Гурмыжская. И ты доволен своим положением?

Несчастливцев. Моя служба, тетушка, по мне: я доволен, и мной довольны.

Гурмыжская. Ты в отпуске?

Несчастливцев. Нет, я проездом, захотелось отдохнуть.

Гурмыжская. Очень рада, что ты догадался навестить меня. Удобно ли тебе в беседке?

Несчастливцев. О, не беспокойтесь! Сад, природа, зелень, уединение! Это рай для моей души.

Входит Карп.

Карп. Сударыня, Восмибратов давно дожидается-с.

Гурмыжская. Ах да, я и забыла, что велела приходить ему пораньше. Позови его сюда!

Карп уходит.

Не хочешь ли погулять по окрестностям? Вот Алексис будет тебе товарищем.

Несчастливцев. Нет, я гуляю только ночью. (Буланову.) Пойдем, братец, в беседку!

Буланов. Пойдемте-с.

Уходят.

Входят Восмибратов и Петр.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Гурмыжская, Восмибратов, Петр.

Гурмыжская. Ты меня извини, я про тебя и забыла.

Восмибратов. Ничего-с. Племянничек приехал?

Гурмыжская. Да, племянник.

Восмибратов. Дело хорошее-с. Однако, сударыня, не задерживайте!

Гурмыжская. Нет, уж теперь я тебя не задержу.

Восмибратов. То-то уж, не задерживайте-с!

Гурмыжская. Нет, нет, мы сейчас.

Восмибратов. Хорошо-с.

Молчание.

Гурмыжская. Ты принес?

Восмибратов. Как же, свое дело помним-с.

Гурмыжская. Ну, так вот мы сейчас.

Восмибратов. Хорошо, хорошо-с.

Молчание.

Гурмыжская. Так как же, много ль там?

Восмибратов. Пожалуйста-с.

Гурмыжская. Что?

Восмибратов. Записочку-с, условьицо-то наше.

Гурмыжская. Да как же, право: я не знаю, куда я ее дела.

Восмибратов. Поищите-с.

Гурмыжская. Где ж ее искать! Я, право, не знаю; я, должно быть, ее потеряла.

Восмибратов. Как же это так-с? Ведь вы меня таким манером можете обидеть.

Гурмыжская. Что за вздор! Как я тебя обижу!

Восмибратов. Да как только вам угодно, так и обидите. Вы записочку потеряли, я тогда с вас тоже, по глупости, не взял. Вы скажете, что за десять тысяч продали: ведь уж я лес-то срубил и вывез, торговаться теперь не станешь.

Гурмыжская. Ну, вот еще! Разве ты меня не знаешь?

Восмибратов. Уж я на вас в надежде-с; потому я теперь весь в ваших руках-с.

Гурмыжская. А впрочем, что ж тебе сомневаться, Иван Петрович; я тебе записочку приготовила новую.

Восмибратов. Приготовили-с?

Гурмыжская. Да, что деньги я все сполна получила.

Восмибратов. Да-с. Это дело другое-с. Много вами благодарен. Однако же позвольте эту самую записочку полюбопытствовать.

Гурмыжская. Вот она! (*Подает записку.*) Посмотри!

Восмибратов (*принимая*). Без очков-то я не очень-с, а в очках-то еще хуже. Да вот сын прочитает. Петр, читай! (*Отдает записку Петру.*)

Петр (*читает*). «За проданный мною калиновскому купцу, Ивану Петрову Восмибратову...

Восмибратов. Да-с, это так точно-с!

Петр (читает). «...на сруб лес в пустошах: Горелой и Палёной...»

Восмибратов. Они самые-с.

Петр (читает). «...и две десятины в Пылаевой, деньги все сполна получила калиновская помещица Раиса Гурмыжская».

Восмибратов (берет записку). Очень хорошо-с. (Вынимает бумажник и тщательно укладывает в него записку.) Извольте получить-с. (Вынимает деньги и считает.) Тысяча... тысяча триста, пятьсот, семьсот... (задумывается и как будто вспоминает) восемьсот. Пожалуйста-с! (Подает Гурмыжской.)

Гурмыжская. Как же тысяча восемьсот? Да ведь мне нужно...

Восмибратов. Виноват-с, простите великодушно! Вот память-то! (Вынимает деньги и подает.) Еще двести рублей! Теперь так точно. Кажется, так? Петрушка, так? Что ж ты молчишь? (Грозно.) Говори, дерево стоеросовое!

Петр. Так-с!

Гурмыжская. Иван Петрович, ты шутишь со мной? Три, а не две.

Восмибратов (обидясь). Какие три! Что вы, помилуйте!

Гурмыжская. Разве ты забыл? За один полторы и за другой полторы.

Восмибратов. Нельзя этому быть-с, по расчету не выходит-с.

Гурмыжская. По какому расчету?

Восмибратов. Где ж у меня глаза-то-с! Нешто такой лес за три тысячи покупают? Ведь мы тоже норовим, чтоб без убытку.

Гурмыжская. Я на тебя надеялась, я тебя всем хвалила, что ты хороший, семейный человек...

Восмибратов. Это в состав не входит-с.

Гурмыжская. Если ты так, я не согласна.

Восмибратов. Как вам угодно-с. Прощения просим. Пойдем, Петр!

Гурмыжская. Да я не согласна продать тебе за эту цену Палёную и Пылаеву! Ну рассуди сам. Ведь есть у тебя рассудок?

Восмибратов. Как не быть? Нам без него нельзя-с. Это вот вашей милости точно, что рассудку не требуется, потому вы за готовым и так проживете. Если не согласны продавать, пожалуйста деньги назад; надо какой-нибудь конец сделать.

Гурмыжская. Полторы тысячи за Горелую оставлю, а пятьсот возьми.

Восмибратов. Нет, я вижу, нам долго торговаться-с.

Я за Палёную и Пылаеву меньше двух тысяч не возьму, и то с вас только.

Гурмыжская. Как не возьмешь?

Восмибратов. Да так же-с. Я их купил у вас; за что, значит, хочу, за то и продаю.

Гурмыжская. Если я тебе отдам две тысячи, мне за Горелую ничего не останется.

Восмибратов. Это уж ваше дело-с.

Гурмыжская. Нет, нет, не хочу, не хочу.

Восмибратов. Ежели бы вы для нас, так и мы для вас; а вы нашим родом и званием гнушаться изволите...

Петр. Тятенька!

Восмибратов. Убью!

Гурмыжская. Нет, нет. Ты возьми пятьсот рублей.

Восмибратов. Чего ежели невозможно, зачем говорить! Пойдем, Петр!

Гурмыжская. Так как же?

Восмибратов. Это и малый ребенок поймет. Лес я у вас купил, деньги вам отдал, вы мне расписочку дали; значит, лес мой, а деньги ваши. Теперь поклон, да и вон. Прощенья просим! (*Уходит; за ним Петр.*)

Гурмыжская. Что ж это такое? Денной грабеж! Удивительное дело, ничего-то мне в жизни не удалось ни купить, ни продать, чтоб меня не обманули. Видно, уж так мне на роду написано. (*Уходит на террасу.*)

Входят Несчастливцев и Буланов.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Гурмыжская, Несчастливцев, Буланов.

Буланов. Как вы фокусы делаете бесподобно-с! Как же это у вас девятка-то...

Несчастливцев. Вольт, братец.

Буланов. Научите меня вольты делать!

Несчастливцев. Зачем?

Буланов. Вот видите ли, помещики у нас кругом богатые... иногда в карты-с... что ж мне за расчет проигрывать; я человек бедный-с.

Несчастливцев. Да ты, братец, молодец совсем.

Гурмыжская (*сходя с террасы*). Представь, Алексис, я продала Ивану Петровичу лес за три тысячи, а получила только две.

Буланов. Как же это-с?

Гурмыжская. Я сама виновата: я ему вперед расписку отдала, что я все сполна получила, ну, а он и дал только две.

Несчастливцев (грозно). Ах, анафема!

Буланов. Зачем же вы так-с? Ах, какая жалость! Лучше бы...

Гурмыжская я. Уж теперь нечего делать, мой друг; хорошо, что и две-то дал.

Несчастливцев (с жаром). Как нечего? Воротить его! (Поднимая глаза к небу.) Что я с ним сделаю! Боже, что я с ним сделаю!

Буланов. Да ведь у него расписка.

Несчастливцев. Толкуй еще! Нужно мне очень расписки знать! Где он? Подайте его сюда. Что́ я с ним сделаю!

Входят Карп и Счастливцев.

Гурмыжская я (Буланову). Ах, какой он страшный! Пойдем, пойдем!

Буланов. Позвольте, я останусь; любопытно-с.

Гурмыжская уходит.

Ушел Иван Петров?

Карп. Нет еще здесь, на дворе-с.

Несчастливцев. Вороти этого мошенника! Я его!.. За ворот тащи!

Карп уходит.

Аркашка, подай мои ордена!

Счастливцев уходит.

Буланов. Что же вы с ним будете говорить?

Несчастливцев. Почем я знаю, братец, что́ я буду говорить!

Буланов. Да разве можно против документов-с?

Несчастливцев. А вот я тебе покажу, что можно. Что мне за дело до документов, я не подьячий. Да отстань ты от меня, мне теперь, братец, не до тебя.

Счастливцев приносит бутафорские ордена. Несчастливцев надевает их.

Буланов. Какие же это ордена-с? Иностранные?

Входят Карп, Восмибратов и Петр.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Несчастливцев, Буланов, Счастливцев, Восмибратов,
Петр, Карп.

Восмибратов. Чего еще? Какая такая надобность? У нас тоже свое дело есть, разговоры-то уж нам надоели.

Карп. Пожалуйста! Мне что, коли требуют.

Буланов. Это иностранные ордена-с?

Несчастливцев. Иностранные. Оставь, братец, меня в покое! (*Восмибратову.*) Поди сюда!

Восмибратов. Желаю здравствовать, ваше высокородие! Имени-отечества не знаю-с...

Несчастливцев. Поди сюда, говорят тебе!

Восмибратов (*сыну*). Петрушка, отдайся к стороне! Отойди маленько! Вот так-то! (*Несчастливцеву.*) Что же будет вам угодно-с?

Несчастливцев. Не могу же я с тобой за версту разговаривать!

Восмибратов. Может, на ухо крепки-с, так мы подойдем, важности не состоит.

Несчастливцев. Как же ты посмел подумать!..

Восмибратов. Позвольте-с!

Несчастливцев. Молчи! Такая женщина! И ты...

Восмибратов. Какая женщина? Позвольте-с...

Несчастливцев. Какая женщина! Он спрашивает! Молчи, говорят тебе! Женщина, перед которой все, все, даже я... я благоговею! И ты, презренный алтынник!..

Восмибратов. Насчет чего же это-с?

Несчастливцев. Не перебивай меня! Благодарю бога, что у меня еще есть капля терпения! Горе тебе, если его не будет! (*Грозит пальцем.*)

Восмибратов. Петрушка! Что ты рот разинул! Стой хорошенько!

Несчастливцев. Несчастный! Не становись между львом и его...

Восмибратов. Что же вы кричите! Вы будете кричать, я буду кричать, будет базар, а толку не выдет.

Несчастливцев. Ты, ты?.. Ты будешь кричать?

Восмибратов. Да отчего ж не кричать, коли здесь такое заведение? Мы промеж себя говорим тихо, потому у нас глухих нет.

Несчастливцев (*Буланову*). Что он говорит? Что он говорит? Что он смеет говорить?

Буланов. Да-с.

Несчастливцев. Боже великий! И он жив еще? Я еще не убил его?

Восмибратов. Это на что же-с! А вы позвольте, что вам угодно? Потому мне тут даром гостить нечего.

Несчастливцев. Что мне угодно? Он спрашивает, что мне угодно! А! Ха-ха-ха! Мне угодно сказать тебе, что ты мошенник.

Восмибратов. Нет, вы уж это оставьте! Ни к чему не ведет. По нынешнему времени это лишнее.

Петр. Какие комплименты!

Восмибратов. Петрушка, поди сюда!

Петр. Я здесь, тятенька.

Восмибратов. Коли есть дело, так говорите, а нет, так прощения просим. Да вот что, лучше ко мне пожалуйста, мне дома-то слободнее разговаривать. Петр, пойдем!

Несчастливцев (*грозно*). Постой!

Петр. За постой-то деньги платят.

Несчастливцев. Как же ты обманул честную женщину!

Восмибратов. Обманул! Говорить-то все можно. Отчего же вы тетеньке верите, а мне нет?

Несчастливцев. Он спрашивает... Она кроткая, как ангел, и он... (*Всплеснув руками.*) Он еще разговаривает! Посмотрите на него! Одна рожа-то твоя, богопротивная, чего стоит!

Восмибратов. Петрушка, стань тут!

Петр. Однако, тятенька, уж довольно бы этих куплетов слушать...

Несчастливцев. Кротость! Олицетворенная кротость!

Восмибратов. Этого у них никто не отнимает, только что рассудку... в умалении.

Несчастливцев. Что твой рассудок! На что твой рассудок! Рассудок вершок, золотник, гран; а честь бесконечна. И ее-то у тебя нет.

Восмибратов. Нет уж, барин, ты что хочешь говори, а чести не трожь: судиться буду. Как так у меня чести нет? Коли я свои документы оправдываю — вот моя и честь. Да про меня спроси на сто верст, все тебе то же скажут. Мало тебе, я сам про себя скажу, что я — честный человек. Уж насчет там чего другого я не хвалюсь, а насчет чести я вот что скажу, барин: я не человек, я — правило.

Несчастливцев (*садится к столу и опускает голову*). Ступай!

Восмибратов. Чего ступай?

Несчастливцев. Довольно! Пошел вон! О, люди, люди!

Восмибратов. Чего довольно? Нет, погоди. Хочешь, барин, я тебя одним словом убью?

Несчастливцев. Меня?

Восмибратов. Да, тебя. (*Подходит, вынимает бумажник и бросает на стол.*) Видал ты это?

Несчастливцев. Что такое?

Восмибратов. Может, твоя тетенька сама забыла; ну, да бог с ней, ты ей веришь, бери на свою совесть, бери сколько хочешь! Я не препятствую, бери.

Буланов. Берите скорей!

Несчастливцев (*Буланову*). Пошел прочь! (*Восмибратову, отдавая бумажник.*) Отдай сам!

Восмибратов. То́-то — сам. (*Отсчитывает деньги.*) Вот я какой человек. В поминанье меня запишите!

Несчастливцев. Руку!

Восмибратов. Чего руку! (*Подает руку.*) Давно бы так. Я какой человек? Ты, должно быть, барин, знаешь мой характер? Коли меня раздражить, я в задор войду — все отдам. Точно, что мы торговались за три, кажись, а наверное не скажу... Документов нет, моя воля. На́ вот, отдай им тысячу рублей. А все-таки скажу: непорядок.

Входит Гурмыжская.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Гурмыжская, Несчастливцев, Буланов, Счастливцев, Восмибратов, Петр и Карп.

Несчастливцев (*подавая Гурмыжской деньги*). Вот ваши деньги, получите. (*Отходит к стороне и стоит, скрестя руки и опустя голову.*)

Гурмыжская. Очень тебе благодарна, мой друг!

Восмибратов. Получили-с? А только, если б не барин, не видать бы вам этих самых денег. Да и я-то бы против себя виноват был; потому тоже совесть.

Гурмыжская. Ты на меня не сердись, Иван Петрович! Я женщина, с меня строго взыскать нельзя. Сделай милость, приезжай ко мне завтра обедать.

Восмибратов. От хлеба, от соли не отказываются. Да там еще насчет Пеньков...

Гурмыжская. Ну, и насчет Пеньков.

Восмибратов. Прощения просим! Прощай, барин сердитый! Петр, пойдем. (*Уходит; за ним Петр и Карп.*)

Гурмыжская (*Несчастливцеву*). Ах, как я тебе благодарна! А ты знаешь ли, ведь я тебе еще должна ровно такую сумму. (*Как бы спохватившись, торопливо прячет деньги.*)

Несчастливцев. Не верю.

Гурмыжская (*запирая коробку*). Я твои деньги берегу, мой друг, берегу!

Несчастливцев. Ах, тетушка, оставьте свои хитрости! Как вам не стыдно! О сердце женское! Вы хотите предложить мне денег, да не знаете, как это сделать по деликатнее. Вы мне должны! Ну и прекрасно! Когда-нибудь сочтемся! Не откажите, когда буду нуждаться, а теперь мне не нужны деньги, я богат.

Гурмыжская. Ну, как хочешь, мой друг.

Счастливцев (*про себя*). Что он ломается без копейки-то.

Гурмыжская (*взглянув на Буланова*). Я надеюсь, что ты погостишь у нас.

Несчастливцев. Два, три дня, не больше, если позволите.

Гурмыжская. Что ж так мало?

Несчастливцев. С меня довольно. Навестить родные кусты, вспомнить дни глупого детства, беспечной юности... Кто знает, придется ли еще раз пред вратами вечности...

Гурмыжская. Не думаешь ли ты, что стеснишь меня? Напротив, я была бы очень рада!

Несчастливцев. Благородная женщина! Не расточай напрасно передо мною сокровища твоего сердца! Мой путь тернист; но я не сойду с него.

Гурмыжская (*показывает глазами Буланову, что она очень довольна*). Как хочешь, мой друг. Я думала, что тебе будет здесь покойнее.

Несчастливцев. Мой покой в могиле. Здесь рай; я его не стою. Благодарю, благодарю! Душа моя полна благодарностью, полна любовью к вам, грудь моя полна теплых слез. (*Утирает слезы.*) Довольно милостей, довольно ласк! Я сделаюсь идолопоклонником, я буду молиться на тебя! (*Закрывает лицо рукою и уходит.*)

Счастливцев идет за ним, но останавливается и смотрит из-за куста.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Гурмыжская, Буланов, Счастливцев за кустом.

Гурмыжская. Ушел. Ну, теперь я покойна, он мне не мешает. Он какой-то восторженный! Просто, мне кажется, он глупый человек. А как я давеча испугалась! Как он страшен!

Буланов. Нет, это ничего-с, это с простым народом очень хорошо-с.

Гурмыжская. Все-таки ты остерегайся! Береги себя, мой друг! Этот сон у меня из головы нейдет... у него такой бешеный характер.

Буланов. Да не беспокойтесь, мы с ним подружились.

Гурмыжская. Я никак не ожидала... Сам от денег отказывается! Как это мило с его стороны! И напрасно я напоминала про этот долг. С чего я это расчувствовалась! Играешь — играешь роль, ну, и заиграешься. Ты не поверишь, мой друг, как я не люблю денег отдавать.

Буланов. Я не знаю, я еще молод-с; а умные люди говорят, Раиса Павловна, что скупость не глупость.

Гурмыжская. Да я не скупа; кого я люблю, тому я все отдам.

Буланов. А у вас много денег-с?

Гурмыжская. Много. Вот посмотри! (Открывает коробку.)

Буланов смотрит и вздыхает.

И все эти деньги я отдам тому, кого люблю.

Буланов (с глубоким вздохом). Ох-с!

Гурмыжская. Вот что я хотела тебе сказать, Алексис! Ты держишь себя очень подобострастно, ты все еще смотришь мальчиком; это мне не нравится. Конечно, тебя нельзя судить строго; это в тебе от бедности. Ну, мы как-нибудь этому горю поможем, сделаем тебя посolidнее. Я хочу, чтоб ты был посolidнее, Алексис. На днях ты поедешь в губернский город, закажи себе побольше хорошего платья, попросторнее, купи дорогие золотые часы с цепочкой, ну, и прочее... Кроме того, нужно, чтоб у тебя постоянно было много денег в кармане; это придаст тебе aplomb¹. (Вынимает из коробочки деньги, которые ей передал Несчастливцев.) Это деньги глупые, я их получила случайно. Я тебе их дарю.

Буланов (потерявшись). Мне-с? (Берет деньги.) Благодарю-с. (Целует руку.) Solidным приказываете быть? Буду-с.

Гурмыжская. Пойдем составим список, что тебе купить в городе. (Уходят.)

Счастливцев. Прощай денежки! Ох, эти трагики! Благородства пропасть, а смысла никакого.

¹ Aplomb (франц.) — апломб, самоуверенность.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Другая часть сада; направо беседка, налево садовая скамья, вдали, сквозь деревья, видно озеро. Лунная ночь.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Несчастливцев и Счастливцев.

Несчастливцев. Ты, Аркадий, поужинал?

Счастливцев. Поужинал.

Несчастливцев. Хорошо тебя, братец, накормили?

Счастливцев. Отлично. Умный человек, Геннадий Демьяныч, нигде не пропадет.

Несчастливцев. Умный? Это ты про кого же?

Счастливцев. Про себя-с.

Несчастливцев. Ну, кто же это тебе сказал, что ты умный? Ты, братец, не верь, тебя обманули.

Счастливцев. Даже очень умный-с. Вот, во-первых, я ем с барского стола, я сказал, что так приучен у вас; а во-вторых, сошелся с ключницей и по этому случаю, Геннадий Демьяныч, занял у нее денег, да еще у меня бутылка наливки в уголку подле кровати, будто вакса.

Несчастливцев. Для первого дебюта недурно, Аркашка. Ты, брат, старайся, играй свою роль хорошенько!

Счастливцев. Я-то хорошо, вы-то как?

Несчастливцев. Я нынче счастлив, Аркадий; я сделал хорошее дело.

Счастливцев. Да-с, хорошее. А еще лучше, кабы эти деньги...

Несчастливцев. Что?

Счастливцев. Ампоше́.

Несчастливцев. Я тебе такое «ампоше» задам!

Счастливцев. Сколько денег в руках было! Ах, Геннадий Демьяныч!

Несчастливцев. Были, да сплыли.

Счастливцев. Зачем же вы их отдали?

Несчастливцев. Ты помешался, Аркашка! Как зачем? Они не мои.

Счастливцев. Вот еще важность! Сейчас «давай бог ноги»! В город, на тройку... Покатили бы!.. потом на пароход в Ярославль, туда-сюда, а там в Нижний на ярмарку!

Несчастливцев. Удавить тебя, Аркашка, я так думаю, было бы и для тебя лучше, и для меня покойнее.

Счастливцев. Удавить! Вот вы говорите, что умны; а гимназист-то, видно, умнее; он здесь получше вашего роль-то играет.

Несчастливцев. Какая роль, братец. Ну, что он такое? Мальчишка, больше ничего.

Счастливцев. Какая роль? Первый любовник-с.

Несчастливцев. Любовник? (Грозно.) Чей?

Счастливцев (комически-подобострастно). Тетеньки вашей.

Несчастливцев. Ха-ха-ха! Ну, Аркашка, у тебя не только фигура, а и душа холопская. Только ты будь осторожней, не болтай лишнего, за это вашего брата бьют.

Счастливцев. Ну да, бьют...

Несчастливцев. И очень больно.

Счастливцев. Как же не бить! (Отходит к кустам.) Он-то любовника играет, а вы-то... (из-за куста) простака.

Несчастливцев (наступая). Я простака? Я?

Счастливцев (перебегая на другую сторону). Над которым смеются.

Несчастливцев (наступая). Надо мной смеются? Кто? кто? Говори, несчастный!

Счастливцев (отступая). Да будет вам пугать-то! Я убегу... Чем же я виноват, я сам слышал, своими ушами.

Несчастливцев. Да кто? Проклятие!

Счастливцев. Тетенька с Булановым.

Несчастливцев (хватаясь за голову). О!

Счастливцев. Дураком называли. (Прячется за кусты.)

Несчастливцев. Аркашка! Иль тебе твоя гнусная жизнь надоела! Так поди удавись сам! Не заставляй меня марать рук об тебя!

Счастливцев. Были деньги, да взять не сумели: по усам текло, да в рот не попало. А еще меня в товарищи звали! Коли товарищи, так все пополам,— тут и моя часть была.

Несчастливцев. Да ведь я тебя в товарищи-то не на разбой звал.

Счастливцев. Подайте мою часть, подайте!

Несчастливцев. Аркашка! Ты пьян, что ли?

Счастливцев. Ну так что ж, что пьян! И горжусь этим.

Несчастливцев. Нет, убить, убить, и кончено дело! И разговаривать нечего!

Счастливцев (отступая). Ну, да как не убить! (Из-за куста.) Руки коротки! (Убегает.)

Несчастливцев. Он солгал, бесстыдно солгал. О, как гнусен может быть человек! Но если... Пусть лучше он лжет, чем говорит правду! Я только прибью его... Но если моя благочестивая тетушка, этот образец кротости и смирения... О, я тогда заговорю с ней по-своему. Посмеяться над чувством, над

теплыми слезами артиста! Нет, такой обиды не прощает Несчастливцев! (Уходит.)

Входит К а р п.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

К а р п, потом У л и т а.

К а р п. Поужинали; барыня в спальню ушла, можно и отдохнуть. (Садится на скамью.)

Входит У л и т а и осматривается.

Погулять вышли?

У л и т а. Да, Карп Савельич. Ночь уж очень...

К а р п. Действительно... располагает... Что ж, погуляйте! И то сказать, живой человек, а живой о живом и думает.

У л и т а. Вы это про что же?

К а р п. Хоть бы про вас.

У л и т а. В каких смыслах?

К а р п. Сами можете понять.

У л и т а. Нет, однако?

К а р п. Да мне что! Как хотите! Я вам не муж.

У л и т а. Это даже очень глупо, что вы говорите.

К а р п. Уж это как вам будет угодно.

У л и т а. Не понимаю, как люди завсегда во всем только дурное видят.

К а р п. Ничего я ни дурного, ни хорошего не вижу; а только что удивительно...

У л и т а. Что удивительно?

К а р п. При ваших таких летах...

У л и т а. Каких таких? Вы на моих крестинах не были. Нечего вам говорить-то, я вижу.

К а р п. Вас от разговору моего не убудет.

У л и т а. Сидите тут, как филин, да прибираете, что в голову придет.

К а р п. Стало быть, я вам здесь мешаю?

У л и т а. Это к чему еще? Напрасно вы так обо мне понимаете!

Входит Счастливец.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

К а р п, У л и т а, Счастливец.

Счастливец. Честная компания!

У л и т а. Милости просим!

Карп. Ваш спит?

Счастливец (саясь). Кто его знает!

Улита. Вы долго у нас прогостите?

Счастливец. Что нам здесь делать!

Карп. А следовало бы. Порядок другой: вот давеча Иван Петров сейчас деньги отдал.

Улита. Конечно, мужчина.

Карп. А барыне где же! Добрые люди прикупают, а мы все продаем. Чтó одного лесу продано, чтó прочего! Набьет барыня полную коробку деньгами и держит их, и грóша никто не выпросит; а тут вдруг и полетят тысячи, и полетят.

Счастливец. Разве летают?

Карп. Летают.

Улита. Все бедным да родственникам.

Счастливец (не слушая). Вот бы поймать!

Карп. Да и ловят.

Улита. Все бедным да родственникам.

Карп. Как не родственникам!

Улита. А кому же, по-вашему?

Карп. Знаем мы, кому.

Улита. Вы бы стыдились хоть при посторонних-то!

Карп. Что его стыдиться! Он наш брат, стало быть, чего же...

Улита. Кажется, уж про нас на всю губернию известно, об нашей примерной жизни.

Карп. Я про деревню и не говорю; вот разве чтó дальше будет. А в Петербурге, а в Москве?

Улита. Все-таки вы не должны барыню осуждать.

Карп. Да разве я осуждаю! Барыня добрая, служить нам хорошо. А правду отчего не сказать? Я деньги-то на почту вожу, так мне верней знать, кому их посылают, родственникам или нет.

Счастливец. Любопытный разговор.

Улита. Ничего любопытного нет. Что вы! Он все сочиняет.

Карп. Доктору-французу посылали? Итальянцу' посылали? Топографу, что землю межует, посылали?

Улита. Ах, ах! Как это вам не стыдно!

Карп. Ну, что еще! Какой разговор! Я правду люблю. Однако же и спать. Ну вас! Счастливо оставаться!

Счастливец. Прощайте, Осетр Савельич!

Карп. Уж ты мне, балагур! (Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Счастливцев и Улита.

Улита. Пробовали наливочку? Не знаю, хороша ли; хотелось вам угодить, а уж, право, не знаю.

Счастливцев. Очень хороша, отличная; должно быть, вы сами ее делаете.

Улита. Я слова эти ваши не иначе, как в шутку принимаю. Хотите, я вам завтра к чаю сливок принесу?

Счастливцев. Сделайте одолжение, только от бешеной коровы.

Улита. Ах, я вас не понимаю.

Счастливцев. То есть рому. Он так у нас называется.

Улита. Поищу.

Счастливцев. Поищите, если любите!..

Улита. Вот вы сказали: «если любите». Знаете, что́ я вам скажу на это?

Счастливцев. Нет, не знаю.

Улита. Вы вот это слово сказали мне в насмешку. А вы нашу сестру не судите!

Счастливцев. За что же, помилуйте! Я очень доволен.

Улита. Мужчины завсегда довольны, потому на них ответу нет. А вы возьмите наше дело! Бывало... И вспоминать-то смерть, так жизнь-то, не живя, и коротали. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают... у нас насчет любви большой запрет был. Ну, одно средство: к барыне подделываешься. Ползаешь, ползаешь перед барыней-то, то есть, хуже, кажется, всякой твари последней, ну, и выползаешь себе льготу маленькую; сердцу-то своему отвагу и дашь. Потому ведь оно живое, тоже своего требует. Уж и как эта крепость людей уродует! Про себя вам скажу... Да вам слушать-то будет скучно... само собой, во всем этом одна только подлость. И не хочу я расстраивать ни себя, ни вас, потому как вы мне милы. (Оглядываясь.) Никак, ваш барин?

Счастливцев. Бить меня идет.

Улита. Ах, жалости какие!

Счастливцев. Я присяду, а вы меня загородите; авось не заметит. (Приседает.) Что́, идет, приближается?

Улита. Нет, назад пошел; только так дико посмотрел. Какой у него взгляд! Ужаси просто; так тебя в дрожь...

Счастливцев (встает). Варвар!

Улита. Как же вы, мой милый, живете у такого барина?

Счастливцев. Да какой он мне барин! Я такой же, как и он. Ишь, ломается, благо горло-то широко.

Улита. Что́ вы это говорите! У них барственность настоящая, врожденная. Этого отнять у них никак невозможно.

Счастливцев. Кто у него отнимает! Я говорю только, что мы с ним равные, оба актеры, он — Несчастливцев, я — Счастливцев, и оба пьяницы.

Улита. Актеры? Ах, что вы! Что вы!

Счастливцев. Больше десяти лет по России-то бродим, из театра в театр, как цыгане. Оттого он и не был у тетки, что стыдно глаза показать.

Улита. Ах, ужаси!

Счастливцев. Вот и теперь в Вологду пешком идет с сумочкой. Нельзя ж ему без лакея показаться, он дворянин, ну, и уклáнял меня. Так и обращайся хорошенько. Я еще на провинции-то лучше его считаюсь, нынче оралы-то не в моде.

Улита. Что только я слышу от вас!

Счастливцев. Думает здесь попользоваться чем-нибудь от тетушки. Уж просил бы прямо на бедность; так, видишь, стыдно. Давеча оплошал, не удалось зажать деньги-то; вот теперь на меня за это бесится. Самой низкой души человек! В карты давеча играл с гимназистом, заманивал его. Уж я ушел от них; обыграет его, думаю, отнимет деньги да еще прибьет. Да так и будет; ему это не впервой! Он убьет кого-нибудь, с ним в острог попадешь. Вся ухватка-то разбойничья — Пугачев живой.

Улита. Хорошо, что вы мне сказали. Прощайте!

Счастливцев. Адью, мон плезир!

Улита (с испугом). Я уж пойду! Ах, страсти!

Счастливцев. А, испугалась! А я так все чертей играл, прыгал вот так по сцене. (*Прыгает и кричит.*) У! у!

Улита. Батюшки мои! Уж вы меня извините!

Счастливцев. Да что́ мне в твоём извинении! Провалитесь вы и с усадьбой-то! Я вот убегу от вас. Будьте вы прокляты!

Улита убегает.

Ушел бы сейчас, да боюсь; по деревне собак пропасть. Экой народ проклятой! Самим есть нечего, а собак развели. Да и лесом-то одному страшно. Придется в беседке переночевать; надо же туда идти, там библиотека и наливка осталась. А как сунешься? Он не спит еще, такой монолог прочитает! Пожалуй, вылетишь в окно, не хуже Фидлера. Пойду, поброжу по саду, хоть георгины все переломаю, все-таки легче. (*Уходит.*)

Петр робко крадется в тени кустов и осматривается.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Петр, потом Аксюша.

Петр. Ну, кажись, все в доме спать легли. Только этот несчастный путается. Ну, да ему полтину серебра пожертвовать, так он отца родного продаст. Ночь-то очень светла, может, Аксюша не выдет совсем, побоится, чтобы не увидали. А как нужно-то! Уж последний бы раз повидались, да и кончено дело. Эх, ты, подневольная жизнь! Дрожит сердце, как овечий хвост, да и шабаш! Ничего с собой не сделаешь: и руки и ноги трясутся. Воровать легче! Приди в чужой дом повидаться с девушкой, не в пример тебя хуже вора сочтут. Эка эта любовь! Вон тятенька говорит, что это баловство одно, на год, на два, говорит, это занятие, не больше, а там сейчас насчет капитала. Дождись, когда она пройдет, а пока что мук-то примешь. Никак, идет? И то.

Входит Аксюша; увидав Петра, подбегает к нему.

Аксюша. Ах, ты здесь!

Петр. Давно уж тут путаюсь. Здравствуй! Жива ли покуда? (Целует ее.)

Аксюша. Видишь, что жива. Ну, говори скорей! Некогда ведь, того гляди, хватятся.

Петр. С тятенькой у нас опять разговор был.

Аксюша. Ну, что ж он сказал? Говори скорей! Душа мрет.

Петр. Подается. Час ругал, по обнаковению. Потом: «за тебя, говорит, дурака, видно, невесту с приданым не найдешь! Хоть бы две тысячи за тебя дали, и то бы ладно». Слышишь?

Аксюша. Да ведь негде их взять.

Петр. Надо доставать.

Аксюша. У Раисы Павловны не выпросишь; нечего унижаться.

Петр. А ты у братца попроси, у Геннадия Демьяныча!

Аксюша. Ай, что ты! Страшно, да и стыд-то какой!

Петр. Да ведь уж аў, брат! До самого нельзя вплоть приходит.

Аксюша. Надо ведь ему будет признаться во всем.

Петр. Ну так что ж! И признайся! Он свой человек. От него нам уж последнее решение выйдет.

Аксюша. Да, уж последнее.

Петр. А ведь кто его знает! На грех мастера нет. Он с виду-то барин добрый. Да ты поскорей, завтра же чем свет; а в полдень мы с тятенькой придем, ты мне скажешь.

Аксюша. Хорошо, хорошо.

Петр. Только ты долго этого разговору не тяни; — а так

и так, мол, до зарезу мне; вот и конец. Либо пан, либо пропал.

А к с ю ш а. Да, да, разумеется. До стыда ли тут, когда...

П е т р. Что: «когда»?

А к с ю ш а. Когда смерть приходит.

П е т р. Ну, полно, что ты!

А к с ю ш а. Вот что, Петя! Мне все пусто как-то вот здесь.

П е т р. С чего же?

А к с ю ш а. Я не могу тебе сказать с чего, я неученая. А пусто, вот и все. По-своему я так думаю, что с детства меня грызут горе да тоска; вот, должно быть, подле сердца-то у меня и выело, вот и пусто. Да все я одна; у другой мать есть, бабушка, ну хоть нянька или подруга; все-таки есть с кем слово сказать о жизни своей, а мне не с кем,— вот у меня все и копится. Плакать я не плачу, слез у меня нет, и тоски большой нет, а вот, говорю я тебе, пусто тут, у сердца. А в голове все дума. Думаю, думаю.

П е т р. А ты брось думать! Задумаешься — беда.

А к с ю ш а. Да нельзя бросить-то, сил нет. Кабы меня кто уговаривал, я бы, кажется, послушалась,— кабы держал кто! И все мне вода представляется.

П е т р. Какая вода?

А к с ю ш а. Да вот что, милый ты мой, все меня в воду тянет.

П е т р. Ой, что ты, перестань!

А к с ю ш а. Гуляю по саду, а сама все на озеро поглядываю. Уж и нарочно подальше от него хожу, а так меня и тянет, хоть взглянуть; а увижу издали, вода-то между деревьев мелькнет,— так меня вдруг точно сила какая ухватит, да так и несет к нему. Так бы с разбегу и бросилась.

П е т р. Да с чего же это с тобой грех такой?

А к с ю ш а. Сама не знаю. Вот как ты говорил вчера, так это у меня в уме-то и осталось. И дома-то я сижу, так все мне представляется, будто я на дно иду, и все вокруг меня зелено. И не то чтоб во мне отчаянность была, чтоб мне душу свою загубить хотелось — этого нет. Что ж, жить еще можно. Можно скрыться на время, обмануть как-нибудь; ведь не убьют же меня, как приду; все-таки кормить станут и одевать, хоть плохо, станут.

П е т р. Ну, что уж за жизнь!

А к с ю ш а. А что ж жизнь? Я и прежде так жила.

П е т р. Ведь так-то и собака живет и кошка; а человеку-то, кажись, надо бы лучше.

А к с ю ш а. Ах, милый мой! Да я-то про что ж говорю? Все про то же. Что жить-то так можно, да только не стоит. И как это случилось со мной, не понимаю! Ведь уж мне не шестнадцать лет! Да и тогда я с рассудком была, а тут вдруг... Нуж-

да да неволя уж очень душу сушили, ну, и захотелось душе-то хоть немножко поиграть, хоть маленький праздничек себе дать. Вот, дурачок ты мой, сколько я из-за тебя горя терплю. (Обнимает его.)

Петр. Ах ты, горькая моя! И где это ты так любить научилась? И с чего это твоя ласка так душу разнимает, что ни мать, кажется, и никто на свете... Только уж ты, пожалуйста! Ведь мне что же? Уж и мне за тобой... не миновать, выходит.

Аксюша. Ну, уж это твое дело. Ведь уж мне не узнать, будешь ли ты меня жалеть или будешь смеяться надо мной. Мне с своей бедой не расстаться, а тебе дело до себя, мне легче не будет.

Петр. Нет, уж ты лучше подожди; хоть немного, да проживем в свою волю. Да что загодя и думать-то! Еще вот что твой братец скажет?

Аксюша. Конечно, коли есть случай, зачем его обегать.

Петр. Может, и выручит.

Аксюша. Может быть. Ты никого не видал в саду?

Петр. Геннадия Демьяныча камарден тут путался.

Аксюша. Так ты ступай! Время уж.

Петр. А ты, Аксюша, домой, чтоб... а то... и боже тебя охрани!

Аксюша. Домой, домой, не бойся. Что мне за охота: у меня теперь все-таки что-нибудь впереди есть.

Петр. Ну, то-то же, смотри!

Целуются.

Я на тебя в надежде. (Уходит.)

Аксюша хочет идти домой, оборачивается и видит Несчастливцева, который выходит из беседки.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Аксюша, Несчастливцев, потом Счастливцев.

Несчастливцев (про себя). Женщина, прекрасная женщина. (Подходит к Аксюше.) Ты женщина или тень?

Аксюша. Братец!

Несчастливцев. А! Я вижу, что ты женщина. А я желал бы теперь, в эту прекрасную ночь, побеседовать с загробными жителями.

Аксюша. Братец!

Несчастливцев. Много тайн, много страданий унесли они с собой в могилу. Душа моя мрачна, мне живых не надо. Мне нечего говорить с живыми! Мне нужно выходцев с того света! Прочь!

Аксюша. Братец, и я много страдала, и я страдаю.

Несчастливцев. Ты?

Аксюша. Я. Я очень несчастна.

Несчастливцев. О, если ты несчастна, поди ко мне, поди на грудь мою!

Аксюша прилегает к нему на грудь.

Я два раза тебе брат: брат по крови и брат по несчастию.

Аксюша (опускаясь на колени). Братец, я виновата...

Несчастливцев (поднимая ее). Нет, нет, не передо мной! Можешь ли ты быть виновата? Ты, такая юная, такая прекрасная? И перед кем же? Что я? Я отребье, обноски человечества.

Аксюша. Я виновата передо всеми, перед собой! Я люблю...

Несчастливцев. Дитя мое! Люби, кого хочешь. На то тебе бог дал сердце, чтоб любить.

Аксюша. Ах, что вы говорите! Любить! Я люблю не помня себя; но ведь мне нужно выйти за него замуж, нужно, нужно.

Несчастливцев. А кто ж тебе мешает?

Аксюша. Люди мешают, люди, которые власть имеют.

Несчастливцев. А ты их не слушай! Иди за того, кого любишь. И да будет над тобой мое благословение!

Аксюша. Он не женится на мне без приданого, отец ему не позволяет. Нужно приданое, а у меня его нет.

Несчастливцев. Какой вздор! Счастье дороже денег.

Аксюша. Мне нет счастья без денег.

Несчастливцев. А много ли денег нужно?

Аксюша. Две тысячи рублей.

Несчастливцев. Какие пустяки! Неужели Раиса Павловна откажет тебе в такой малости?

Аксюша. Откажет. Меня держат из милости, кормят из милости; смею ли я еще просить приданого! Корку хлеба дадут мне, а денег нет.

Несчастливцев. И от такой ничтожной суммы зависит счастье девушки, счастье молодой души...

Аксюша. Нет, не счастье, а жизнь.

Несчастливцев. Жизнь? Силы небесные! Так ли ты сказала?

Аксюша. Так, братец.

Несчастливцев. Наконец, боже! Неужели я вижу женщину? И любовь твоя не простая прихоть? И ты готова на все жертвы?

Аксюша. Много я жертв принесла этой любви; а жизнь моя так горька, так горька, что ее и жалеть не стоит.

Несчастливцев. И ты без страха?

А к с ю ш а. Без страха, хоть сейчас...

Н е с ч а с т л и в ц е в (*простирает над нею руки*). Ангелы божии, покройте ее своими крылами!

А к с ю ш а склоняет голову в молчании, сложа руки. Короткая пауза.

А к с ю ш а. Братец, не сердитесь на меня! Не подумайте обо мне дурно! Мне так тяжело сказать вам...

Н е с ч а с т л и в ц е в. Говори, говори!

А к с ю ш а. Братец, не считите меня за обманщицу, за бедную родственницу-попрошайку! Братец, мы жили с маменькой очень бедно; я была ребенком, но я ни разу не поклонилась, ни разу не протянула руки богатым родственникам; я работала. Теперь, братец, только вас одного я прошу, и то ночью, благо не видно стыда на щеках моих: братец, вы богаты, одиноки, дайте мне счастье, дайте мне жизнь. (*Становится на колени.*)

Н е с ч а с т л и в ц е в (*поднимает ее, растроганный и с дрожью в голосе*). Дитя мое! Дитя мое!

А к с ю ш а. Если б не страх стыда за мою грешную любовь, я бы никогда, никогда... Будьте мне отцом, я девушка добрая, честная. Я научу маленьких детей моих благословлять вас и молиться за вас.

Н е с ч а с т л и в ц е в. О, замолчи, замолчи! Я вырву все свои волосы. О, дитя мое! Я преступник! Я мог иметь деньги, мог помочь тебе, мог сделать тебя счастливой; и я промотал, прожил их беспутно; я их втоптал в грязь вместе с своею молодостью, с жизнью. И вот когда они нужны, их нет у меня. Если б я знал, если б я знал, я бы питался одним хлебом, я бы ходил в рубище и каждый рубль зашивал в это рубище. Мы пьем, шумим, представляем пошлые, фальшивые страсти, хвастаем своим кабачным геройством; а тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плачь, пьяница, плачь!

А к с ю ш а. Братец, братец!

Н е с ч а с т л и в ц е в. Прости меня, прости! Я бедней тебя, я прошел пешком сотни верст, чтоб повидаться с родными; я не берег себя, а берег это платье, чтоб одеться приличнее, чтоб меня не выгнали. Ты меня считаешь человеком, благодарю тебя! Ты у меня просишь тысячи — нет у меня их. Сестра, сестра! Не тебе у меня денег просить! А ты мне не откажи в пяточке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу опохмелиться. Мне пяточок, пяточок! Вот кто я!

А к с ю ш а (*хватаясь за сердце*). Ох, ох! Еще, еще горе! еще обман моему сердцу! За что же я себя обидела! И я, глупая, понадеялась! Разве я смею надеяться! Разве есть для меня надежда? Прощайте! (*Отходит, шатаясь, потом быстрее и быстрее и, наконец, бежит.*)

Несчастливцев (*смотрит ей вслед*). Куда она? Она бежит, бросает платок с себя, она у берега. Нет, нет, сестра! Тебе рано умирать! (*Убегает.*)

Входит Счастливцев.

Счастливцев. Ну, убежал куда-то. Уж не топиться ли? Вот бы хорошо-то. Туда ему и дорога! Зайду в беседку, соберу свою библиотеку, и прощайте. Посижу в кустах до свѣту, и марш. Деньги есть; слава богу, занял-таки, удалось, наконец. Хороший это способ доставать деньги; да все как-то мне несчастливо до сих пор, такой мнительный народ стал. Ну, теперь доберусь до какого-нибудь театра. (*Уходит в беседку.*)

Выходит Несчастливцев, поддерживая Аксюшу, которая едва идет.

Несчастливцев. Нет, нет, дитя мое! Как ни велико твое горе, а умереть тебе я не дам. Тебе надо жить, ты еще так молода! Тебя заело горе, надоела тебе молодая жизнь? Забудь это горе, брось эту жизнь! Начнем новую, сестра, для славы, для искусства.

Аксюша. Я ничего не знаю, ничего не чувствую, я мертвая. Отдохнуть мне.

Несчастливцев (*сажая ее на скамью*). Ты ничего не знаешь? Нет, дитя мое, ты знаешь больше других; ты знаешь бури, знаешь страсти — и довольно!

Аксюша. Делайте что хотите. У меня впереди ничего нет. Куда вы меня зовете, зачем вы меня зовете, что там, — я не знаю. Хуже не будет.

Несчастливцев. И там есть горе, дитя мое; но зато есть и радости, которых другие люди не знают. Зачем же даром изнашивать свою душу! Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти брильянты слез? Кто, кроме меня? А там... О! Если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий. Тебя засыплют цветами, подарками. Здесь на твои рыдания, на твои стоны нет ответа; а там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз. Эх, сестренка! Посмотри на меня. Я нищий, жалкий бродяга, а на сцене я принц. Живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедною Офелией и люблю ее, как сорок тысяч братьев любить не могут. А ты! Ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь со сцены королевой, так и останешься.

Аксюша. Я убита, братец, убита.

Несчастливцев. Ты оживешь, сестра, первые звуки оркестра воскресят тебя.

Аксюша. А Петя?

Несчастливцев. Сестра, ты женщина, а женщины забывают скоро. Ты забудешь его, как забывают все свою первую любовь. Много молодых красавцев, много богачей будут ловить каждый твой взгляд, каждое твое слово.

А к с ю ш а (качая головой). Это нехорошо.

Несчастливцев. Тем лучше, дитя мое; тем больше чести для тебя. Ты брось, оттолкни с презрением золото богача и полюби бедного артиста. Решайся, дитя мое!

А к с ю ш а. Как вам угодно. Я готова на все.

Несчастливцев. Ты будешь моею гордостью, моей славой. А я буду тебе отцом, дитя мое, буду твоей нянькой, твоей горничной. Пойдем ко мне! В такую ночь грешно спать. У меня есть несколько ролей, я тебе почитаю. Эту ночь я отдаю тебе, в эту ночь я посвящаю тебя в актрисы.

А к с ю ш а. Пойдемте! (*Идут к беседке, навстречу им Счастливец с узлом.*)

Несчастливцев. Стой, беглец! Я великодушен, я тебя прощаю. Торжествуй, Аркашка! У нас есть актриса; мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию.

Уходят в беседку.
Выходят Г у р м ы ж с к а я и У л и т а.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г у р м ы ж с к а я и У л и т а.

Г у р м ы ж с к а я. Ты говорила ему?

У л и т а. Как же, сударыня, говорила, и очень политично говорила. Барыня, говорю, не почивают, потому погода необнаковенная; гуляют они по саду и даже, может, скучают, так как одни, не с кем им время провести. А вы лежите да нежитесь, какой же вы кавалер после всего этого. Он сейчас вскочил и стал одеваться.

Г у р м ы ж с к а я. Ну, хорошо.

У л и т а. Да вот еще, матушка-барыня, уж и не знаю, как вам доложить.

Г у р м ы ж с к а я. Говори, что такое!

У л и т а. Барышня куда-то скрылась.

Г у р м ы ж с к а я. Ушла?

У л и т а. В комнате нет, и постель не смята.

Г у р м ы ж с к а я. И прекрасно.

У л и т а. Как же, матушка-барыня?

Г у р м ы ж с к а я. Да так же. Я очень рада. Она мне уж давно надоела, я все не знала только, как ее выжить из дома. А теперь вот и причина есть; что мне ее жалеть, когда она сама себя не жалеет. Я говорила, что она его не стоит.

Улита. Не стоит, не стоит... Далеко ей! Уж и я немало дивилась, как этакому красавцу милому да такая...

Гурмыжская. Ну, это не твое дело!

Улита. Слушаю-с. Уж и еще я узнала кой-что, да только как-то и выговорить страшно. Как услышала я, так всю в ужас ударило, и так даже по всем членам трясение.

Гурмыжская. Сколько раз тебе приказано, чтоб ты таких глупых слов не говорила. Я сама женщина нервная. Ты всегда меня прежде напугаешь до истерики, а потом скажешь какие-нибудь пустяки.

Улита. Пустяки, матушка-барыня, пустяки, не извольте беспокоиться! Насчет Геннадия Демьяныча.

Гурмыжская. Что же?

Улита. Да ведь он вас обманул; он не барин, а актер, и родовую свою фамилию нарушил,— теперь Несчастливцев прозывается. И не столько на театре они, а больше все будто пьянством. И одежонка-то вся тут, что на нем, уж это я доподлинно знаю; и пришли сюда пешком с котомочкой.

Гурмыжская. Так он Несчастливцев; слыхала, слыхала. Ну, это еще лучше.

Улита. И человек-то его тоже актер, только, матушка-барыня, и из актеров-то он самый каторжный,— как есть одних чертей представляет.

Гурмыжская. Тем лучше, тем лучше! Как все это ловко для меня устроилось!

Улита. Да чем же, матушка-барыня, хорошо?

Гурмыжская. А тем, что завтра уж утром их здесь не будет. У меня не гостиница, не трактир для таких господ.

Улита. Истинно, матушка-барыня. Пожалуйста ручку. (Тихо.) Алексей Сергеич идут. (Отходя.) Уж вот, можно сказать, картинка, а не барин. (Уходит.)

Входит Буланов.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Гурмыжская и Буланов.

Буланов (торопливо поправляясь). Что же вы, Раиса Павловна, мне прежде не приказали? Вы бы мне сказали-с.

Гурмыжская. Что?

Буланов. Что вы любите гулять по ночам-с.

Гурмыжская. Да тебе-то что ж за дело! Я люблю природу, а ты, может быть, не любишь?

Буланов. Я ведь как прикажете-с. Ежели вам одним скучно...

Гурмыжская. А тебе не скучно в такую ночь? Тебя не

трогает ни луна, ни этот воздух, ни эта свежесть? Посмотри, как блестит озеро, какие тени от деревьев! Ты холоден ко всему?

Б у л а н о в. Нет-с, как холоден! Я только не знаю, что вам угодно-с, как для вас приятнее.

Г у р м ы ж с к а я. А, мой милый, ты хочешь играть наверное?

Б у л а н о в. Я бы, кажется, бог знает, что дал, только б узнать, что вы любите! Я бы уж так и старался.

Г у р м ы ж с к а я. Ну, а как ты думаешь, что я люблю? Это любопытно будет тебя послушать.

Б у л а н о в. Луну-с.

Г у р м ы ж с к а я. Какой он простодушный! Ах, милый мой, я луну любила, да это уж давно прошло; мне не шестнадцать лет.

Б у л а н о в (*подумав*). Родственников-с?

Г у р м ы ж с к а я. Ха-ха-ха! Прошу покорно! Он уморит меня со смеху! Ах, простота! (*Смеется.*) Как это мило: «родственников»!

Б у л а н о в. Виноват-с.

Г у р м ы ж с к а я. Говори, говори! Я приказываю!

Б у л а н о в. Не знаю-с.

Г у р м ы ж с к а я. Тебя, дурак! Тебя!

Б у л а н о в. Да-с... Я и сам думал, да не смел-с. Давно бы вы-с... а то, что я здесь так сколько времени... Вот так-то лучше, Раисынька! Давно бы ты... (*Обнимает Гурмыжскую и хочет поцеловать.*)

Г у р м ы ж с к а я (*отталкивая его*). Что ты, с ума сошел? Пошел прочь. Ты неуч, негодяй, мальчишка! (*Уходит.*)

Б у л а н о в. Что я сдуру-то наделал! Завтра же меня... отсюда... (*Кричит вслед Гурмыжской.*) Виноват-с! Завтра же меня в три шеи! Не слушает. (*Кричит громче.*) Виноват-с! Ничего знать не хочет. (*Падает на скамейку.*) Пропал, пропал, пропал!

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Декорация первого действия

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

К а р п, потом Б у л а н о в.

К а р п (*убирает чашки со стола и видит коробку Гурмыжской*). Ишь ты, забыла свою казну, а потом искать примется. Лучше уж не трогать, пущай тут лежит.

Входит Б у л а н о в.

Геннадия Демьяныча чай кушать дожидаться не станете?

Бу л а н о в. Вот еще! Очень нужно!

К а р п. Как угодно-с.

Бу л а н о в. Да когда он придет, так доложи мне, а Раису Павловну не беспокоить!

К а р п. Слушаю-с.

Бу л а н о в. Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю. Я вам не Раиса Павловна; у меня все по струнке будете ходить, а то и марш со двора. У меня всякая вина виновата.

К а р п. Что ж делать, сударь, будем исполнять. Мы и не то видали. Поживешь на свете-то, так всего насмотришься. Такие ли еще чудеса бывают.

Бу л а н о в. Да и не разговаривать! Я этого не люблю.

К а р п. Можно и не разговаривать, оно еще и лучше. Что тут разговаривать! О чем? Дело видимое.

Бу л а н о в. Ну, и можешь идти.

К а р п уходит. Входит Несчастливцев.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Несчастливцев Бу л а н о в.

Бу л а н о в. Здравствуйте, господин Несчастливцев!

Несчастливцев. Несчастливцев? Ты знаешь, что я Несчастливцев?

Бу л а н о в. Знаю.

Несчастливцев. Я очень рад, братец; значит, ты знаешь, с кем ты имеешь дело, и потому будешь вести себя осторожно и почтительно.

Бу л а н о в. Да что ж такое? Провинциальный актер, что за важность?

Несчастливцев. Ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать. Жаль! Мне придется тебя учить уму-разуму, что, разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя еще неприятнее.

Бу л а н о в. Ну, еще неизвестно. Ведь это в древние времена физическая-то сила много значила.

Несчастливцев. Что ж, мне с тобою огнестрельное оружие, что ли, употреблять! Нет, брат, я — человек простой и люблю простые средства, натуральные.

Бу л а н о в. Оставим этот разговор. Позвольте узнать, что вам угодно?

Несчастливцев. Уж, разумеется, не тебя.

Бу л а н о в. Кого же?

Несчастливцев. Что, ты от рожденья глуп или сегодня

вдруг с тобою сделалось? Кого? Кого? Ты в этом доме то же, что в операх бывают неизвестные; а я здесь в родной семье. Я пришел чай пить к своей тетке.

Буланов. Извините.

Несчастливцев. В чем тебя извинить? Вот что: ты надень сумку через плечо, прицепи на пуговицу грифельную доску и поди доучиваться.

Буланов. Извините.

Несчастливцев. Ну, извиняю.

Буланов. Не меня; Раиса Павловна просит извинения. Она не может вас принять; она не совсем здорова и чувствует, что посещение и разные гости, хотя бы и родные, ей теперь очень в тягость.

Несчастливцев. Она меня гонит? Но за что же?

Буланов. Это до меня не касается. Вообще она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает.

Несчастливцев. Ну, что делать! Я ее любил, я ее считал вместо матери. *(Оттирает слезу.)* Что ж такое, что я актер? Всякий обязан делать, что умеет. Я ведь не разбойник, я честным, тяжелым трудом добываю хлеб свой. Я не милостыню пришел просить у нее, а теплого слова. Обидно!.. О женщины! Если уж ей хотелось обидеть меня, неужели она хуже тебя никого не нашла?

Буланов *(горячо)*. Послушайте, милостивый государь!

Несчастливцев. О боже мой! Он разговаривает! Слушай ты, гимназист, школьник, ученик приходского училища! Из уважения к этому дому, я тебя милую, но если ты мне в другом месте попадешься...

Буланов. Мы еще посмотрим!

Несчастливцев. Молчи, таблица умножения! Корнелий Непот! Пифагоровы штаны! Ты выменяй образ моего ангела и молись утром и вечером, чтоб нам не встретиться. А если где завидишь меня, так беги без оглядки, творя обеты и молитвы!

Буланов. Да что вы, в самом деле! Вы потише! Раису Павловну беспокоите.

Несчастливцев. Она сама виновата: зачем она посылает ко мне не человека, а котенка. Нельзя равнодушно разговаривать с котенком.

Буланов. Да, кажется, и не о чем разговаривать.

Несчастливцев. Есть мне о чем говорить или нет, тут твоего ума не хватит, ты еще не дорос.

Буланов. Если вы желаете что-нибудь сказать Раисе Павловне, скажите мне, я передам.

Несчастливцев. Да ты что такое? Оруженосец, паж,

что ли, Раисы Павловны? Менестрель? Ну, наконец, скороход, шут? Говори.

Буланов. Что я, это вы после узнаете.

Несчастливцев. Не желаю. Ну, кто бы ты ни был, передай Раисе Павловне, что я на нее не сержусь, что я желал бы по-родственному проститься; но если она не хочет, так бог с ней.

Буланов. Хорошо, я скажу-с.

Несчастливцев (*заметив коробку, про себя*). Ящик здесь, надо это принять к сведению. Погоди же!

Буланов. Больше ничего-с?

Несчастливцев. Ничего. Прощай, грифель! (*Уходит.*)

Входит Гурмыжская.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Гурмыжская и Буланов.

Гурмыжская. Ну, уж теперь он сюда больше на заглянет. (*Садится у окна.*) А у тебя есть манера, есть тон; я, признаюсь, этого не ожидала.

Буланов (*ходит, заложа руки назад*). Все зависит, Раиса, от обстановки. Что я такое был у тебя? Нахлебник, самое фальшивое положение. Согласись сама, что нахлебнику очень трудно вести себя с достоинством.

Гурмыжская. Однако я на тебя сердита за вчерашнее.

Буланов. Ты, Раиса, поставь себя на мое место! Я так обрадовался!

Гурмыжская. На все есть форма, мой друг. Ты только представь себе, как ты меня оскорбил своим поведением! Что ты подумал обо мне? Как ты мог себе позволить! Репутация моя тебе известна. Вся губерния уважает меня, а ты...

Буланов (*развязно целует ее руку*). Прости меня!

Гурмыжская. Прощаю, мой друг, прощаю. Я вообще очень снисходительна, это мой недостаток. Но ты всегда уважай деликатность женщины, ее целомудренное чувство.

Буланов. Разумеется, я еще мальчишка. Что говорить! Но твоя любовь, твоя опытность помогут. Мне бы только установиться прочнее, посмотри, как я буду себя вести — я приберу в руки весь уезд. А что касается твоих интересов, Раиса, так уж поверь...

Гурмыжская. Верю, верю, мой милый. Поди прикажи позвать ко мне Аксюшу.

Буланов. Да, об этой девушке надо подумать.

Гурмыжская. Что́ об ней думать! Особенно тебе, мой друг! Это тебя совсем не касается. Ты уж теперь должен со-

вершенно забыть о ней. Она убежала ночью из дому, от нее надо избавиться.

Буланов. Она была у брата, Геннадия Демьяныча; он всю ночь декламировал ей монологи.

Гурмыжская. Ты почему знаешь? Погляди мне в глаза, погляди!

Буланов. Я видел, проходя мимо беседки.

Гурмыжская. Я тебе верю. Но все-таки она оставаться здесь не может.

Буланов (с улыбкой). Ты начинаешь принимать предосторожности.

Гурмыжская. Не лишнее, мой друг: ты еще так молод, что за себя отвечать не можешь, да и я не могу вполне на тебя надеяться.

Буланов. Да ведь нельзя же ее на улицу выгнать, у нее нет никого. Ее бы выдать замуж.

Гурмыжская. Но чтоб выдать ее из нашего дома и чтоб это было прилично, нужно ей дать приданое. А с какой же стати я стану роскошничать для нее? Что вдруг за щедрость такая!

Буланов. Само собой! Нет, уж теперь, пожалуйста, Раиса, никаких лишних расходов! Кабы кто взял ее без приданого.

Гурмыжская. О, тогда другое дело. Чего же лучше! И все конвенансы были бы сохранены, и издержек немного. Я была бы посаженной матерью, ты посаженным отцом; устроили бы у себя вечер — девишник, благословили бы молодых, и бог с ними. Все это было бы благотельно и недорого.

Входит Аксюша.

Вот она сама. Поди, мой друг, поди!

Буланов уходит.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Гурмыжская и Аксюша.

Аксюша. Что вам угодно?

Гурмыжская (встает). Послушай, Аксюша, мне не хочется, чтоб ты обманывалась. Ты живешь здесь и, кажется, воображаешь, что это может вечно продолжаться. В твоём заблуждении виновата я: было одно время, когда я думала отдать тебя замуж за Алексея Сергеича. Теперь ты не должна и думать о нем.

Аксюша. Я и не думаю.

Гурмыжская. Я тебе не верю; но все равно. Очень ско-

ро я увидела, что вы не пара. Я тебе скажу прямо: ты не стоишь этого человека. Тебе даже и мечтать о нем было бы глупо. Что же ты молчишь?

А к с ю ш а. Я слушаю.

Г у р м ы ж с к а я. Такие женихи не по вас, моя милая! Я не знаю, может быть, он даже за тобой и ухаживал...

А к с ю ш а. Может быть.

Г у р м ы ж с к а я. Но ты пойми, что это ничего не значит. Это просто прихоть, шалость. Может быть, и ты с ним кокетничала?

А к с ю ш а. Нет, этого не может быть.

Г у р м ы ж с к а я. Положим; но я должна тебе сказать — уж приятно ли тебе будет, неприятно ли, это не мое дело, — ты ему не нравишься. (*Про себя.*) Вот тебе, милая.

А к с ю ш а. Очень рада.

Г у р м ы ж с к а я. Рада? Однако ты хитрая девушка; но меня перехитрить трудно. (*Про себя.*) погоди же, я тебя кольну почувствительнее. (*Аксюше.*) Я еще тебе скажу: ему нравится другая. Что? Приятно тебе?

А к с ю ш а. Что же мне за дело?

Г у р м ы ж с к а я. Ты не беспокойся, я ведь себя обмануть не дам! Он теперь не жених тебе, вы люди посторонние, и, следовательно, вам в одном доме жить нельзя.

А к с ю ш а. Как вам угодно.

Г у р м ы ж с к а я. Ты должна будешь оставить мой дом.

А к с ю ш а. Когда прикажете?

Г у р м ы ж с к а я. Но куда же ты денешься?

А к с ю ш а. Я очень благодарна вам за ваши милости; но, когда я оставляю ваш дом, я уж попрошу вас обо мне больше не беспокоиться.

Г у р м ы ж с к а я. Но, может быть, ты думаешь поселиться где-нибудь поблизости?

А к с ю ш а (*про себя*). Старушка-то ревнует.

Г у р м ы ж с к а я. Что ты шепчешь? Может быть, ты переедешь в город?

А к с ю ш а. Может быть.

Г у р м ы ж с к а я. Но это невозможно.

А к с ю ш а. Отчего же? Ведь город, Раиса Павловна, не в ваших владениях.

Г у р м ы ж с к а я. Но это ужасно! Это очень близко.

А к с ю ш а. Да, недалеко.

Г у р м ы ж с к а я. Послушай, Аксюша, милая, нет ли у тебя родных где-нибудь подальше; поезжай к ним, я тебя отправлю на свой счет. Я так боюсь за тебя, моя душа. Алексис такой ветреный мальчик.

А к с ю ш а. Да, он очень ветрен.

Гурмыжская. Ты заметила?

Аксюша. Еще бы не заметить! И если б я только захотела...

Гурмыжская. Вот ты сама говоришь. Послушай, милая! Ну, поди ко мне поближе! (*Обнимает ее.*) Ну, сделай это для меня!

Аксюша. Для вас? Это дело другое, так бы вы и говорили. А что вам за надобность беречь меня и смотреть за мной! Просто вы ревнуете. Вы знатная барыня, а я девочка с улицы, и вы ко мне ревнуете своего любовника.

Гурмыжская. Что за слова ты говоришь!

Аксюша. Ну да. Я говорю правду. Признайтесь хоть раз в жизни! А то вы всегда и для всех святая, а мы грешные.

Гурмыжская. Душа моя, я тоже женщина.

Аксюша. Признайтесь! Признайтесь, и я убегу от вас за тысячу верст.

Гурмыжская. Ты хочешь, чтобы я открыла тебе свою слабость? (*Обнимает ее.*) Да, я ревнива.

Аксюша. Мне только и нужно. Я уйду от вас далеко-далеко. (*Хочет поцеловать ее руку.*)

Гурмыжская. За что, за что, моя милая?

Аксюша. За хлеб-соль.

Гурмыжская. Ах, не надо, не надо! (*Целует ее.*) Дай бог тебе всякого счастья!

Аксюша. Я пойду собираться. (*Уходит.*)

Гурмыжская (*садится у окна*). Ну, слава богу, теперь все улажено, и я могу вполне наслаждаться своим счастьем. Сколько я перенесла неприятностей за эту глупую комедию с родственниками! И поделом. Но уж зато теперь я покойна совершенно. Алексис будет управлять имением, а я займусь только добрыми делами. Определяю себе для этого сумму, конечно, небольшую, и буду совершенно в своей сфере.

Входит Карп.

Карп. Геннадий Демьяныч желает вас видеть.

Гурмыжская. Скажи, что я...

Карп. Да они здесь-с; они никаких резонов не слушают.

Гурмыжская. Боже мой, опять!

Входит Несчастливцев в дорожном платье, снимает котомку и кладет в угол, туда же ставит палку.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Гурмыжская, Несчастливцев, Карп.

Несчастливцев. Поди, Карп, и не пускай никого! Скажи, что мы заняты.

Карп. Слушаю-с. *(Уходит.)*

Гурмыжская. Какой костюм!

Несчастливцев. Дорожный. Мы пешие путешественники. Это пальто — мой старый друг и товарищ. В непогоду я в этом пальто бродил, как старый Лир, по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежища, и меня принимали в этом пальто, принимали чужие теплее, чем родные. Прощайте!

Гурмыжская. Прощай, мой друг.

Несчастливцев. Два только слова, и более я вас не буду беспокоить никогда.

Гурмыжская. Я слушаю. *(Берет колокольчик.)*

Несчастливцев. Что это? Вы хотите позвонить? Рано еще. Дайте мне колокольчик! *(Берет колокольчик.)* Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тетушка, вы уж постарайтесь, чтоб к нам не вошел никто, а главное, Буланов, если только вам дорога его мизерная жизнь.

Гурмыжская. Хорошо, я не прикажу никому входить. *(Про себя.)* Ах, сон!

Несчастливцев. И прекрасно. *(Ставит колокольчик на стол и садится на стуле подле стола.)*

Гурмыжская *(заметя свою коробку на столе)*. Коробка! Я ее забыла. *(Самым ласковым тоном.)* Послушай, мой друг Геннадий, будь так добр, потрудись передать мне эту коробку.

Несчастливцев. Не беспокойтесь, ей и здесь хорошо.

Гурмыжская. Ну, если ты не хочешь, я сама встану за ней.

Несчастливцев *(вынимает пистолет и кладет на стол)*. Не трудитесь!

Гурмыжская. Что ты делаешь? Это ужасно! Я могу умереть со страху.

Несчастливцев. Не бойтесь! Мы будем разговаривать очень мирно, даже любезно. *(Рассматривая коробку.)* Знаете что? Подарите мне ее на память.

Гурмыжская *(с испугом)*. Ах, нельзя, мой друг, тут важные бумаги, документы по имению.

Несчастливцев. Планы, купчие крепости, межевые книги? Как же они уберутся в такую коробку! Извините, я позволю себе полюбопытствовать. *(Открывает коробку.)*

Гурмыжская. Вот пытка!

Несчастливцев. Вы ошиблись, тут деньги. Злато, злато! Сколько через тебя злато! Ну, мы пока ее закроем. *(Закрывает коробку.)* Был один актер провинциальный, оскорбила его женщина, жена антрепренера, — он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел; в последнее воскресенье на масленице у антрепренера был прощальный вечер для артистов. Слушайте, тетушка!

Гурмыжская. Слушаю.

Несчастливцев. По окончании вечера стали все прощаться, подходит и он к хозяйке: «пожалуйте ручку», говорит; та ему подала, он ей, тетушка, было палец и откусил прочь.

Гурмыжская. К чему ты мне это говоришь?

Несчастливцев. Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать умнее.

Гурмыжская. Зачем мне знать все это?

Несчастливцев. На всякий случай не мешает. Другой актер поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник, человек с благородною душой, но бедный. Вздумал он навестить свою тетку, которую не видал лет пятнадцать. Вот собрался издалека, шел пешком долго; приходит, его принимают по-родственному. Вдруг тетка узнает, что он актер, гонит его из дому, не простясь, срамит его перед людьми, перед дворней.

Гурмыжская. Ах, нет, Геннадий...

Несчастливцев. То есть она думала так поступить, а вышло не так. Трагик Несчастливцев не позволит играть собой. (Открывает коробку.) Вот, во-первых, трагику Несчастливцеву нужны деньги на дорогу, неприлично ему от богатой тетки пешком идти. Потом, у вас живет бедная девушка. Ну, что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится?

Гурмыжская. Что ты сочиняешь?

Несчастливцев. Я ее возьму с собой, и на ее долю нужно что-нибудь уделить. Потом, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, — это нам легко сделать, вы нам и так ничего не оставите, а оставите все гимназисту, — и за это нужно что-нибудь взять. (Считает деньги.)

Гурмыжская. Ты не томи меня; скажи, сколько тебе нужно?

Несчастливцев. Я великодушен. (Встает, берет в одну руку пистолет, а в другую коробку с деньгами и подает ее Гурмыжской.) Дайте сами.

Гурмыжская (поглядывая на пистолет). Напрасно вся эта комедия! Я тебе должна тысячу рублей; вот твои деньги! Но если ты нуждаешься...

Несчастливцев (берет деньги). Довольно! Милостыни не надо. Благодарю вас. (Прячет деньги.)

Гурмыжская. Ах, убери, пожалуйста, этот пистолет! У меня душа не на месте.

Несчастливцев. Да чего вы боитесь? Я ведь не Стенька Разин. В крайнем случае, если бы вы меня оскорбили очень, я бы убил этого гимназиста, а уж никак не вас. (Кладет пистолет в карман.) Ну-с, теперь вы меня, конечно, проводите честь

честью. Мы позавтракаем и расцелуемся, как следует родственникам.

Гурмыжская я. Да, разумеется.

Несчастливцев. Барином я сюда явился, барином и уеду с честью. (*Звонит в колокольчик.*)

Входит Карп.

Пошли кого-нибудь поскорее в город нанять самую лучшую тройку до первой паровой пристани. Да вот, братец ты мой, я уезжаю, так барыня приказывает поскорее собрать хороший завтрак. Подай вина получше — шампанского.

Карп. Слушаю-с. Завтрак готов.

Гурмыжская я. Подай в столовую!

Несчастливцев. Позови Аркадия! (*Гурмыжской.*) Я его вам представляю на прощанье; вы не много потеряли, что я не познакомил вас прежде.

Карп. Сударыня, Иван Петров с сыном дожидаются-с.

Гурмыжская я. Скажи, чтоб он подождал в столовой.

Карп уходит.

Извини меня, любезный друг, я тебя должна оставить ненадолго.

Несчастливцев. Помилуйте! Между своими...

Гурмыжская я. Мне нужно одеться. Я жду гостей. Поди в столовую, покушай на дорогу, я приду с тобой проститься.

Несчастливцев. Значит, мы расстаемся мирно. Вы на меня не сердитесь?

Гурмыжская я. Нет, не сержусь; но мне кажется, что можно было бы тебе вести себя поделикатнее, я все-таки дама.

Несчастливцев. О, боже! Я вас оскорбил? Скажите, оскорбил я вас? Я не прощу себе. Я застрелюсь при ваших глазах. (*Вынимает пистолет.*)

Гурмыжская я. Ах, нет, нет!

Несчастливцев. Нет, вы мне скажите, обидел я вас? О, я!..

Гурмыжская я. Ах, нет, нисколько, напротив. (*Уходит.*)

Несчастливцев. Вот так-то лучше... Я уж теперь и сам не разберу, Несчастливцев я или Ротшильд.

Входит Счастливцев.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Несчастливцев и Счастливцев.

Несчастливцев. Ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть. Денег, братец, у меня много. (*Показывает пачку*

ассигнаций.) Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе.

Счастливцев. Геннадий Демьяныч, бесподобно! Ах, бесподобно! Уж как я комфорт люблю, кабы вы знали.

Несчастливцев. Сделают нам выгодные предложения, так мы с тобой примем, будем играть, а нет, так и не надо. Поедем в Нижний на ярмарку за бенефисом; да бенефис чтоб в начале августа, а в сентябре, шалишь, не возьму. Покутим, братец.

Счастливцев. И уж товарища вам лучше меня не найти: я, знаете, я, Геннадий Демьяныч, рожден для такой жизни. А бедность что! В бедности-то всякий жить умеет; нет, ты умеи прожить деньги с эффектом; тут много ума нужно, Геннадий Демьяныч.

Несчастливцев. А теперь, брат, пойдем выпьем доброго вина, закусим на дорогу, по стакану, по другому шампанского.

Счастливцев. Вот жизнь, Геннадий Демьяныч! Вот это я понимаю. А то что: пешком... Сам себя презираешь. Не знаю, как вы, а я презираю такую жизнь. Я всегда за богатых людей. Кто шампанское пьет, хорошие сигары курит, тот и человек, а остальное — ничтожество. Так ведь, Геннадий Демьяныч? *(Уходят в столовую.)*

Входит Аксюша.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Аксюша, потом Петр Несчастливцев.

Аксюша. Где же братец? *(Заглядывает в дверь)*. Он в столовой, и Петя там. Как бы его вызвать! Мне бы только хоть два слова сказать на прощанье, при людях неловко будет. *(Тихо.)* Петя! Петя! Услыхал, идет.

Петр тихо боком прокрадывается в дверь.

Петр. А, это ты?

Аксюша. Тише, ради бога, тише! Кончено дело, у брата денег нет; я еду с ним далеко и навсегда. *(Берет его голову, прижимает к себе и целует.)* Прощай! Ступай! Ступай!

Петр. Едешь? Куда, зачем?

Аксюша. В театр, в актрисы.

Петр. Что ты, опомнись, с ума ты сошла!

Аксюша. Решено, решено. Ступай, ступай!

Петр. Что ты! У меня сердце упало, ровно кто меня камнем в грудь-то ушиб. А ведь я с тятенькой опять говорил.

Аксюша *(робко и оглядываясь)*. Ну, что же?

Петр. Сначала, известно, два часа ругал без отдыха; потом говорит: «хоть бы тысячу за тебя, дурака, дали».

Аксюша. Я на прощанье словечко закину тетеньке; а впрочем, надежды мало. Ну, ступай! (*Целует его.*) Прощай! Ужо не прощайся! стыдно. Глазами только проводи, я на тебя все глядеть буду.

Петр. Ах ты жизнь! Вот бы когда в омут-то с великим моим удовольствием!

Входит Несчастливцев.

Несчастливцев. А! Попались!

Аксюша. Братец, потише!

Петр уходит.

Одно слово, одно слово, братец! Утопающий за соломинку хватается. Попросите тетушку, может быть, она сжалятся надо мной; теперь только тысячу рублей нужно, только тысячу.

Несчастливцев. А что ж в актрисы-то, дитя мое? С твоим-то чувством...

Аксюша (*прилегает к нему, нежно*). Братец... чувство... оно мне дома нужно.

Несчастливцев (*басом*). Поколебалась! Что на земле незыблемо теперь? Пойдем, меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя, а то я поговорю. (*Уходит в столовую.*)

Выходят Милонов, Бодаев и Карп.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Милонов, Бодаев, Карп, потом Гурмыжская и Буланов.

Карп. Пожалуйста-с! Они сейчас выдут.

Милонов. Что это у вас, Карпуша, нынче как-то особенно парадно?

Карп. Не могу знать.

Выходит Гурмыжская, очень нарядная и молодо одетая, под руку с Булановым.

Гурмыжская. Извините, господа, что я заставила вас ждать!

Бодаев. Да мы ничего и не ждали.

Милонов (*целуя руку*). Вы прекрасны. (*Отходит и смотрит издали.*) Прекрасны! Вы все молодеете.

Гурмыжская. Мне и нужно молодеть. Господа, я вас звала для подписания завещания, но обстоятельства несколько

изменились. Я выхожу замуж. Рекомендую вам будущего моего мужа.

М и л о н о в. Прекрасно! Прекрасно!

Б о д а е в. Я так и ожидал.

Г у р м ы ж с к а я (*саясь*). Прошу покорнейше садиться!

Милонов и Бодаев садятся.

Алексис, садись!

Б у л а н о в (*целуя ее руку*). Ах, Раиса, позволь, я буду стоять подле тебя.

Г у р м ы ж с к а я. Не правда ли, он мил? Господа, я вижу, что в душе вы осуждаете меня. Прежде выслушайте, потом судите. Господа, у меня оправданий много. Я была беззащитна, имение расстроено; я думала поручить управление племяннику; но он меня поразил, поразил... Знаете, какую он карьеру избрал? Он актер провинциальный...

М и л о н о в. Ужас, ужас, ужас!

Б о д а е в. Что такое?

Б у л а н о в. О племяннике...

Б о д а е в. А? Ну, не мое дело.

Г у р м ы ж с к а я. И ведет жизнь самую беспорядочную. Он здесь, у меня; вы можете его видеть.

М и л о н о в. А ваша племянница?

Г у р м ы ж с к а я. Я недовольна ее поведением. Что же мне оставалось делать? Я вас спрашиваю. При всем моем желании остаться навсегда вдовой (*томно*) и даже отказаться совсем от света, я решилась пожертвовать собой. Я выхожу замуж, чтоб устроить имение и чтоб оно не досталось в дурные руки.

М и л о н о в. Это геройский подвиг! Вы героиня!

Б о д а е в. Ну, какая героиня? Просто блажит.

М и л о н о в. Давно бы вам, давно бы...

Г у р м ы ж с к а я. Ах, Евгений Аполлоныч, надо было найти человека. Это так трудно нынче, так трудно. Ведь это что за человек, кабы вы знали! (*Нежно взглядывает на Буланова.*) Ах, друг мой!

Б у л а н о в (*целуя руку*). Раиса, ты меня конфузишь.

М и л о н о в (*грозя пальцем*). Только смотрите, Раиса Павловна, смотрите за ним хорошенько! Он так еще молод.

Г у р м ы ж с к а я. Ах, нет. Он дал мне клятву, страшную клятву.

Б у л а н о в. Господа, поверьте, что я постараюсь быть достойным той чести, которую мне делает Раиса Павловна, избирая меня своим супругом. Что касается интересов Раисы Павловны, то, господа, в самом скором времени само дело будет говорить за меня; вы увидите наше имение в цветущем положении.

М и л о н о в. Каков? Каков? Прекрасно, молодой человек, прекрасно!

Г у р м ы ж с к а я. Я вам говорила...

Б о д а е в. Все врет, все промотает.

Б у л а н о в. Господа, хотя я и молод, но я очень близко к сердцу принимаю не только свои, но и общественные дела и желал бы служить обществу. Поверьте, что вы найдете во мне самого горячего защитника наших интересов и привилегий.

М и л о н о в. А вот мы жаловались, что людей-то нет. Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они!

Б о д а е в. Что ж, пожалуй; пусть служит, мы неразборчивы.

Б у л а н о в (*пожимая плечами*). Вот только года мои... я не понимаю, к чему эти стеснения! Если я чувствую себя способным...

М и л о н о в. Ну что ж, мы подождем годика два; а там и в управу или другую почетную должность найдем.

Г у р м ы ж с к а я. Господа, кушать сегодня мы будем поздно; а теперь можно по бокалу шампанского. Карп, подай шампанского.

К а р п. Слушаю-с. Честь имею поздравить, сударыня. (*Про себя.*) Пойти оповестить! (*Уходит.*)

М и л о н о в. Но откуда такой ум, такая сила в молодом человеке?

Г у р м ы ж с к а я. Ах, он много страдал, бедный! Мать его была богатая женщина, и он с детства был приучен к неге, к раболепству прислуги и всех окружающих; потом они обеднели, и он узнал страшную нужду. Ужасно! Он рожден повелевать, а его заставляли чему-то учиться в гимназии.

Входит К а р п с бутылкой шампанского и бокалами.

Все встают.

М и л о н о в (*принимая бокал*). Все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмем самые изящные сочетания в природе, и что ж мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ, несокрушимый дуб и нежную повилику. И теперь перед нашими глазами: непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом, в союзе с нежной, молодой отраслью благородного питомника. Раиса Павловна, Алексей Сергеич! Желаю вам многолетней, безмятежной жизни, на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных пределов!

В столовой «ура!».

Г у р м ы ж с к а я. Что такое?

К а р п. Геннадий Демьяныч изволят... за ваше здоровье.

М и л о н о в. Господа, я не могу говорить: все прекрасное и все высокое заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои ресницы. (*Пьет.*)

Г у р м ы ж с к а я (*жмет ему руку*). Благодарю, благодарю вас.

В столовой «ура!».

Б о д а е в (*с бокалом*). Поздравляю! Постарайтесь же жить счастливо, и я первый буду очень рад! (*Пьет.*)

Г у р м ы ж с к а я. Покорно благодарю! (*Буланову.*) Какой грубый человек!

Садятся.

В столовой «ура». Двери из столовой растворяются, выходит Несчастливцев, остаются в дверях Счастливцев, Восмибратов, Петр и Аксюша.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Г у р м ы ж с к а я, М и л о н о в, Б о д а е в, Б у л а н о в, Несчастливцев, Счастливцев, Восмибратов, Петр, Аксюша, Карп.

Несчастливцев. Тетушка, поздравляю! Замуж выйдете? Время, тетушка, время! И для вас хорошо, и для родственников приятно. Это делает вам честь, а нам удовольствие. Я, с своей стороны, очень рад и одобряю ваш союз. (*Обращаясь к дверям.*) Господа, что же вы стали!

Счастливцев и Восмибратов подходят.

Тетушка, рекомендую: друг мой Аркадий Счастливцев!

Г у р м ы ж с к а я. Очень приятно!

М и л о н о в. Это ваш племянник?

Несчастливцев (*Милонову*). Честь имею рекомендоваться: Геннадий Гурмыжский. (*Бодаеву.*) Гурмыжский Геннадий!

Милонов и Бодаев встают, подают ему руки и садятся.

Восмибратов (*Гурмыжской*). Доброе дело-с. Значит, по закону, как следует. Чего же лучше-с. Оченно приятно-с.

Г у р м ы ж с к а я. Ну, как тебе, Иван Петрович, нравится мой жених?

Восмибратов. Ничего-с, жених во вкусе-с. Ежели на счет малоумия, так это от малодушества, со временем проходит-с.

Несчастливцев (*Счастливцеву и Восмибратову*). Господа, покорнейше прошу садится. Тетушка, позвольте мне распорядиться, как дома. Карп, подай, братец, нам вина, да

побольше! Ты не жалеешь; такие случаи редки, ведь тетушка не каждый год замуж выходит. (*Садится с правой стороны.*)

Там же садятся Счастливец и Восмибратов. Карп уходит

Продолжайте, господа, ваш разговор, мы вам не мешаем.

Милонov. Нам интересно вас послушать.

Несчастливцев. С величайшим удовольствием, господа. Мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка, вы счастливы, вы безмерно счастливы?

Гурмыжская. Да, мой друг, я счастлива.

Несчастливцев. В счастье человек делается добрее, благороднее. Не так ли я говорю? Правда, господа?

Милонov. Совершенно справедливо; прекрасно, прекрасно!

Несчастливцев. Тетушка, у вас есть племянница, милое, кроткое создание; у ней есть тоже жених. Он не так красив и смел, как ваш, но она его любит. А вот его тятенька.

Гурмыжская. Знаю, мой друг.

Несчастливцев. Он, то есть тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший коканец и киргиз-кайсак. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит женить сыновей; но непременно желает получить приданого тысячу рублей, по своей жадности и по своему невежеству.

Восмибратов. Это точно, барин, что по невежеству только нам без этого невежества никак нельзя, потому на нем весь круг держится.

Несчастливцев. Вот, тетушка, для вас прекрасный случай сделать доброе дело.

Гурмыжская. Ах, нет, нет. Что еще за новости! Оставьте, пожалуйста! Это не твоё дело. Я и так издержала очень много, потом впереди большие расходы.

Буланов. Нам с Раисой теперь нельзя тратить ничего лишнего. Я хочу конный завод завести, пруды надо чистить, копать канавы.

Несчастливцев. Так не дадите?

Гурмыжская. Деньги невелики; но согласитесь, господа, что бывают обстоятельства...

Несчастливцев. Да зачем деньги? Довольно вашего благородного слова в присутствии вот этих господ.

Восмибратов. Для нас ваше слово лучше векселя.

Гурмыжская. Нет, нет! Это не деликатно даже, вдруг при посторонних... Такое требование... Это насилие... У вас комплот!

Буланов. Да ты, Раиса, откажи решительно.

Гурмыжская. Ну, согласитесь, господа, ведь нельзя же так вдруг... Я решительно отказываю.

Несчастливцев. Так не дадите?

Гурмыжская. Извини, мой друг, не могу.

Несчастливцев (*Восмибратову*). Почтенный, скинь что-нибудь! Уважь! Уступи!

Восмибратов. Не расчет, барин. И то уж так, что из хорошего дома, а то бы и внимания не взяли.

Несчастливцев (*встает*). Тетушка, Раиса Павловна! Благодетельница рода человеческого! Не роняйте себя перед почтенным обществом! Не стыдите фамилию Гурмыжских. Я краснею за вас. У вас только и родных — я да она; она уже больше не попросит, а мне приданого не нужно. Гурмыжская не может отказать в такой сумме! Вы женщина богатая, что значит для вас эта малость! Я бедный труженик; но если б у меня были... (*Ударяет себя в грудь.*) А? Что такое? Да они есть! (*Вынимает из кармана деньги.*) Вот они! Признаться, не грех бы бедняге Несчастливцеву и покутить на эти деньги; не мешало бы ему, старому псу, и побережь их на черный день.

Счастливцев (*дергая его за руку*). Что вы делаете?

Несчастливцев. Молчи, Аркашка! Так не дадите?

Гурмыжская. Я уж сказала.

Несчастливцев. Ну, если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист. (*Аксюше.*) Поди сюда, дитя мое!

Счастливцев. А говорили, на тройке поедem! Вот тебе и тройка! Вот и на пароход.

Несчастливцев. Молчи, Аркашка!

Аксюша подходит.

Вот тебе, дитя мое! Бери!

Аксюша. Что вы, что вы, братец! Не надо!

Несчастливцев. Бери, говорят тебе! Я что задумал, — не передумываю, что сделал — не переделываю.

Аксюша (*обнимая его*). Братец! Братец!

Карп приносит бутылку вина и стаканы

Несчастливцев. Ну, довольно; я могу заплакать; а это нехорошо — стыдно.

Аксюша. Как мне благодарить вас?

Несчастливцев. Как благодарить? Скажи «спасибо», и все тут. Вот теперь выпьем! (*Подходит к столу и наливает два стакана.*)

Аксюша отдает деньги Петру.

Петр (*отдавая деньги отцу*). Извольте получить-с!

Восмибратов отходит к сторонке и считает.

Гурмыжская (*Несчастливцеву*). Это очень великодушно с твоей стороны.

Несчастливцев. Надеюсь! Поди, Аркадий, выпей!

Счастливец подходит и пьет.

Гурмыжская (*Аксюше*). Я очень рада, моя милая, что так устроилось, и готова способствовать твоему счастью всем, чем могу,— я даже не откажусь быть твоей посаженной матерью.

Аксюша кланяется.

Восмибратов. Много вам благодарны-с. Уж у нас, сударыня, без вас дело не обойдется. Вы у нас на свадьбе-с — пятьдесят процентов к приданому, вот как мы вас ценим. А уж банкет я сделаю для вашей милости, так месяца на два в городе разговору хватит. Пущай по крайности знают.

Милонов (*подходя к столу*). Прекрасно, прекрасно! Ваш поступок надо напечатать в газетах.

Несчастливцев. Что тут за газеты! Давай выпьем брудершафт!

Милонов. Но, мой милый... нельзя же...

Несчастливцев. А не хочешь, не надо. Убирайся! Пошел прочь. Выпьем, Аркадий.

Милонов отходит.

Бодаев (*Буланову*). Кто он такой? А?

Буланов. Актер.

Бодаев. Актер? Ах, черт его возьми! Браво! Браво! (*Подходит к Несчастливцеву.*) Вашу руку! То-то я слушаю, кто так хорошо говорит, благородно. Это такая редкость у нас. (*Указывая на Счастливеца.*) А он тоже актер?

Несчастливцев. Актер.

Бодаев. Он ничего не говорит?

Несчастливцев. Нет, говорит.

Бодаев. Что ж он говорит?

Счастливец. Скворцом свищу, сорокой прыгаю.

Бодаев. А, браво, браво! (*Отходит и сейчас же возвращается к Несчастливцеву.*) Я ему пенковую трубку подарю. Заходите ко мне, милости прошу.

Несчастливцев. Забавлять-то тебя? Шутов заведи! Давай брудершафт выпьем!

Бодаев. Что? Ха-ха-ха! Он забавный! (*Отходит.*)

Гурмыжская (*Буланову*). Его надо как-нибудь выжить: он бог знает что наделает.

Буланов. Вы, кажется, ехать собираетесь?

Несчастливцев. Давно я, брат, собираюсь.

Буланов. Так не пора ли вам?

Несчастливцев. Аркадий, нас гонят. И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли, как мы попали в этот лес, в этот сыр дремучий бор? Зачем мы, братец, спугнули сов и филинов? Что им мешать! Пусть их живут, как им хочется! Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует. Старухи выходят замуж за гимназистов, молодые девушки топятя от горького житья у своих родных: лес, братец.

Гурмыжская (*пожимая плечами*). Комедианты!

Несчастливцев. Комедианты? Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты — вы. Мы коли любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благе общества, о любви к человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка, а родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. Девушка бежит топиться; кто ее толкает в воду? Тетка. Кто спасает? Актер Несчастливцев. «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода! Ваши сердца — твердый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих, хищные враны заботятся о птенцах, а она, она!.. Это ли любовь за любовь? О, если б я мог быть гиеною! О, если бы я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!»

Милонов. Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу!

Буланов. Да просто к становому. Мы все свидетели!

Несчастливцев (*Милонову*). Меня? Ошибаешься. (*Вынимает пьесу Шиллера «Разбойники».*) Цензуровано. Смотри! Одобряется к представлению. Ах, ты, злокачественный мужчина! Где же тебе со мной разговаривать! Я чувствую и говорю, как Шиллер, а ты — как подьячий! Ну, довольно! В дорогу, Аркашка! Прощайте. (*Кланяется всем.*) Тетушка, пожалуйста ручку!

Гурмыжская (*прячет руку*). Ах, нет, нет...

Буланов. Позвольте ему, он скорее уйдет.

Несчастливцев. Не укушу, не бойтесь.

Милонов. Разумеется, не укусит.

Буланов. Разумеется...

Гурмыжская. Ах, нет, вы не знаете.

Несчастливцев. О люди, люди! (*Идет в угол, надевает котомку.*)

Аксюша помогает ему и целует его.

(Берет в руки палку.) Ну, Аркадий, мы с тобой попиروвали, пошумели, братец; теперь опять за работу. (Выходит на середину сцены, подзывает Карпа и говорит ему с расстановкой и внушительно.) Послушай, Карп! Если приедет тройка, ты возврати ее, братец, в город; скажи, что господа пешком пошли. Руку, товарищ! (Подает руку Счастливецеву и медленно удаляется.)



БЕСПРИДАННИЦА

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЛИЦА:

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица; одета богато, но скромно.

Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием.

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергеич Паратов, блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30.

Робинзон.

Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре.

Иван, слуга в кофейной.

Действие происходит в настоящее время, в большом городе Брахимове на Волге.

Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой перед кофейной; направо от актеров вход в кофейную, налево — деревья; в глубине низкая чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч.; на площадке столы и стулья: один стол на правой стороне, подле кофейной, другой — на левой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г а в р и л о стоит в дверях кофейной, И в а н приводит в порядок мебель на площадке.

И в а н. Никого народу-то нет на бульваре.

Г а в р и л о. По праздникам всегда так. По старине живем: от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых.

И в а н. Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заведение.

Г а в р и л о. А вот около вечерен проснутся, попьют чайку до третьей тоски...

И в а н. До тоски! Об чем тосковать-то?

Г а в р и л о. Посиди за самоваром поплотнее, поглота́й ча-са два кипятку, так узнаешь. После шестого пота она, первая-то тоска, подступает... Расстанутся с чаем и выползут на бульвар раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет: вон Мокий Парменыч Кнуров проминает себя.

И в а н. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он себя так утруждает?

Г а в р и л о. Для моциону.

И в а н. А моцион-то для чего?

Г а в р и л о. Для аппетита. А аппетит нужен ему для обеда. Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь?

И в а н. Отчего это он все молчит?

Г а в р и л о. «Молчит»! Чудак ты. Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем; ну, он и молчит. Он и живет здесь не подолгу от этого самого; да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там ему просторнее.

И в а н. А вот Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговаривает.

Г а в р и л о. Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается; еще мало себя понимает; а в лета войдет, такой же идол будет.

Слева выходит К н у р о в и, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает.

Справа входит В о ж е в а т о в.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

К н у р о в, В о ж е в а т о в, Г а в р и л о и И в а н.

В о ж е в а т о в (*почтительно кланяясь*). Мокий Парменыч, честь имею кланяться!

К н у р о в. А! Василий Данилыч! (*Подает руку.*) Откуда?

В о ж е в а т о в. С пристани. (*Садится.*)

Гаврило подходит ближе.

К н у р о в. Встречали кого-нибудь?

В о ж е в а т о в. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.

Г а в р и л о. Не «Ласточку» ли, Василий Данилыч?

В о ж е в а т о в. Да, «Ласточку». А что?

Г а в р и л о. Резво́ бегают, сильный пароход.

В о ж е в а т о в. Да вот обманул Сергей Сергеич, не приехал.

Г а в р и л о. Вы их с «Самолетом» ждали, а они, может, на своем приедут, на «Ласточке».

И в а н. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит сверху

В о ж е в а т о в. Мало ль их по Волге бегают.

И в а н. Это Сергей Сергеич едут.

В о ж е в а т о в. Ты думаешь?

И в а н. Да похоже, что они-с... Кожухи-то на «Ласточке» больно приметны.

В о ж е в а т о в. Разберешь ты кожухи за семь верст!

И в а н. За десять разобрать можно-с... Да и ходко идет, сейчас видно, что с хозяином.

В о ж е в а т о в. А далеко?

И в а н. Из-за острова вышел. Так и выстилает, так и выстилает.

Г а в р и л о. Ты говоришь, выстилает?

И в а н. Выстилает. Страсть! Шибче «Самолета» бежит, так и меряет.

Г а в р и л о. Они едут-с.

В о ж е в а т о в (*Ивану*). Так ты скажи, как приставать станут.

И в а н. Слушаю-с... Чай, из пушки выпалят.

Г а в р и л о. Беспрременно.

В о ж е в а т о в. Из какой пушки?

Г а в р и л о. У них тут свои баржи серёд Волги на якоре.

В о ж е в а т о в. Знаю.

Г а в р и л о. Так на барже пушка есть. Когда Сергея Сергеича встречают или провожают, так всегда палат. (*Взглянув в сторону за кофейную.*) Вон и коляска за ними едет, извозчиц-

кая, Чиркова-с! Видно, дали знать Чиркову, что приедут. Сам хозяин, Чирков, на козлах.— Это за ними-с.

Вожеватов. Да почем ты знаешь, что за ними?

Гаврило. Четыре иноходца в ряд, помилуйте, за ними. Для кого же Чирков такую четверню сберет! Ведь это ужаси смотреть... как львы... все четыре на трензелях! А сбруя-то, сбруя-то! — За ними-с.

Иван. И цыган с Чирковым на козлах сидит, в парадном казакине, ремнем перетянут так, что, того и гляди, переломится.

Гаврило. Это за ними-с. Некому больше на такой четверке ездить. Они-с.

Кнуров. С шиком живет Паратов.

Вожеватов. Уж чего другого, а шик у довольно.

Кнуров. Дешево-то пароход покупаете?

Вожеватов. Дешево, Мокий Парменыч.

Кнуров. Да, разумеется; а то, что за расчет покупать. За чем он продает?

Вожеватов. Знать, выгоды не находит.

Кнуров. Конечно, где ж ему! Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно коли дешево-то купите.

Вожеватов. Нам кстати: у нас на низу грузу много.

Кнуров. Не деньги ль понадобились? Он ведь мотоват.

Вожеватов. Его дело. Деньги у нас готовы.

Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно. (С улыбкой.) Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много.

Вожеватов. Дурно ли дело! Вы сами, Мокий Парменыч, это лучше всякого знаете.

Кнуров. Знаю, Василий Данилыч, знаю.

Вожеватов. Не выпьем ли холодненького, Мокий Парменыч?

Кнуров. Что вы, утром-то! Я еще не завтракал.

Вожеватов. Ничего-с. Мне один англичанин — он директор на фабрике — говорил, что от насморка хорошо шампанское натошак пить. А я вчера простудился немного.

Кнуров. Каким образом? Такое тепло стоит.

Вожеватов. Да все им же и простудился-то: холодно очень подали.

Кнуров. Нет, что хорошего; люди посмотрят, скажут: ни свет ни заря — шампанское пьют.

Вожеватов. А чтоб люди чего дурного не сказали, так мы станем чай пить.

Кнуров. Ну, чай — другое дело.

Вожеватов (Гавриле). Гаврило, дай-ка нам чайку моего, понимаешь?.. *Моего!*

Гаврило. Слушаю-с. (Уходит.)

К н у р о в. Вы разве особенный какой пьете?

В о ж е в а т о в. Да все то же шампанское, только в чайники он разольет и стаканы с блюдечками подаст.

К н у р о в. Остроумно.

В о ж е в а т о в. Нужда-то всему научит, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Едете в Париж-то на выставку?

В о ж е в а т о в. Вот куплю пароход да отправлю его вниз за грузом и поеду.

К н у р о в. И я на днях; уж меня ждут.

Г а в р и л о приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана.

В о ж е в а т о в (наливая). Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.

К н у р о в. Как замуж? Что вы! За кого?

В о ж е в а т о в. За Карандышева.

К н у р о в. Что за вздор такой! Вот фантазия! Ну, что такое Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч!

В о ж е в а т о в. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.

К н у р о в. Бесприданницы-то и находят женихов хороших.

В о ж е в а т о в. Не то время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый обрез: сколько приданных, столько и женихов, лишних нет — бесприданницам-то и недостает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?

К н у р о в. Бойкая женщина.

В о ж е в а т о в. Она, должно быть, не русская.

К н у р о в. Отчего?

В о ж е в а т о в. Уж очень проворна.

К н у р о в. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная; и вдруг за какого-то Карандышева!.. Да с ее-то ловкостью... всегда полон дом холостых!..

В о ж е в а т о в. Ездить к ней все ездят, потому что весело очень: барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное, оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши.

К н у р о в. Ведь выдала же она двух.

В о ж е в а т о в. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была... Как увидал, затрясся, заплакал даже — так две недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер.

К н у р о в. Огудалова разочла не глупо: состояние небольшое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех принимает.

В о ж е в а т о в. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь недостает...

К н у р о в. Где же она берет?

В о ж е в а т о в. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай.

К н у р о в. Ну, я думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится.

В о ж е в а т о в. Не разорюсь, Мокий Парменыч. Что ж делать! За удовольствия платить надо, они даром не достаются, а бывать у них в доме — большое удовольствие.

К н у р о в. Действительно удовольствие — это вы правду говорите.

В о ж е в а т о в. А сами почти никогда не бываете.

К н у р о в. Да неловко; много у них всякого сброду бывает; потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут. Вот, например, Карандышев, — ну что за знакомство для меня!

В о ж е в а т о в. Да, у них в доме на базар похоже.

К н у р о в. Ну, что хорошего! Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями, так и жужжат, не дают с ней слово сказать. Приятно с ней одной почаще видеться, без помехи.

В о ж е в а т о в. Жениться надо.

К н у р о в. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я, например, женатый.

В о ж е в а т о в. Так уж нечего делать. Хорош виноград, да зелен, Мокий Парменыч.

К н у р о в. Вы думаете?

В о ж е в а т о в. Видимое дело. Не таких правил люди: мало ли случаев-то было, да вот не польстились, хоть за Карандышева, да замуж.

К н у р о в. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку.

В о ж е в а т о в. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?

В о ж е в а т о в. Где мне! Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет: воспитание, знаете, такое, уж очень нравственное, патриархальное получил.

К н у р о в. Ну да, толкуйте! У вас шансов больше моего: молодость — великое дело. Да и денег не пожалеете; дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не дешевле «Ласточки» обошлось бы?

Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парменыч! Я очень молод, а не зарвусь, лишнего не передам.

Кнуров. Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влюбиться; а уж тогда какие расчеты!

Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого совсем не замечаю.

Кнуров. Чего?

Вожеватов. А вот что любовью-то называют.

Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.

Вожеватов. Да в чем моя близость? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которые девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.

Вожеватов. Да мне что! Я ведь насильно не навязываю. Что ж мне об ее нравственности заботиться: я ей — не опекун.

Кнуров. Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, женихов не было?

Вожеватов. Были, да ведь она простовата.

Кнуров. Как простовата? То есть глупа?

Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У той все хитрость да лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего, и скажет, что не надо.

Кнуров. То есть правду?

Вожеватов. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К кому расположена, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеич Паратов в прошлом году появился, наглядеться на него не могла; а он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез неизвестно куда.

Кнуров. Что с ним случилось?

Вожеватов. Кто его знает; ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувствительная! (Смеется.) Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила.

Кнуров. А после Паратова были женихи?

Вожеватов. Набегали двое: старик какой-то с подагрой да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пьяный. Уж Ларисе и не до них, а любезничать надо было, маменька приказывает.

Кнуров. Однако положение ее незавидное.

Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезинки на глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир... Вот бросал деньгами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился: у них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый! (Смеется.) С месяц Огудаловым ни-

куда глаз показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез матери объявила: «Довольно, говорит, с нас сраму-то: за первого пойду, кто посватается, богат ли, беден ли — разбирать не буду». А Карандышев и тут как тут с предложением.

К н у р о в. Откуда взялся этот Карандышев?

В о ж е в а т о в. Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда пере-межка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтоб не совсем пусто было в доме. А как, бывало, набежит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева: и не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то, в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот потеха-то: был у них как-то, еще при Паратове, костюмированный вечер; так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеича.

К н у р о в. И что же?

В о ж е в а т о в. Топор отняли и переодеться велели; а то, мол, пошел вон!

К н у р о в. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.

В о ж е в а т о в. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей да уехать в свое именьишко, пока разговоры утихнут,— так и Огудаловым хотелось,— а он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что, того гляди, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется — едва кивает; тон какой взял: прежде и не слышать его было, а теперь все «я да я, я хочу, я желаю».

К н у р о в. Как мужик русский: мало радости, что пьян, надо поломаться, чтоб все видели; ломается, поколотят его раза два, ну, он и доволен, и идет спать.

В о ж е в а т о в. Да, кажется, и Карандышеву не миновать.

К н у р о в. Бедная девушка! как она страдает, на него глядя, я думаю.

В о ж е в а т о в. Квартиру свою вздумал отделывать,— вот чудит-то. В кабинете ковер грошовый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то и ружья-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь: человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разношерстную, кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так гордо, будто на тысячных рысках едет. С бульвара выходит, так кричит горо-



А. Н. Островский
«БЕСПРИДАННИЦА»

довому: «Прикажи подавать мой экипаж!» Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой: все винты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как живые.

К н у р о в. Жаль бедную Ларису Дмитриевну! Жаль.

В о ж е в а т о в. Что это вы очень жалостливы стали?

К н у р о в. Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует.

В о ж е в а т о в. И хорошего ювелира.

К н у р о в. Совершенную правду вы сказали. Ювелир — не простой мастеровой: он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опошлится.

В о ж е в а т о в. А я так думаю, что бросит она его скореехонько. Теперь еще она, как убитая; а вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каков он... (Тихо.) Вот они, легки на помине-то...

Входят К а р а н д ы ш е в, О г у д а л о в а, Л а р и с а. Вожеватов встает и кланяется. Кнуров вынимает газету.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

К н у р о в, В о ж е в а т о в, К а р а н д ы ш е в, О г у д а л о в а; Лариса в глубине садится на скамейку у решетки и смотрит в бинокль за Волгу; Г а в р и л о и И в а н.

О г у д а л о в а (подходя к столу.) Здравствуйте, господа!

Карандышев подходит за ней. Вожеватов подает руку Огудаловой и Карандышеву. Кнуров, молча и не вставая с места, подает руку Огудаловой, слегка кивает Карандышеву и погружается в чтение газеты.

В о ж е в а т о в. Харита Игнатьевна, присядьте, милости просим! (Подвигает стул.)

Огудалова садится.

Чайку не прикажете ли?

Карандышев садится поодаль.

О г у д а л о в а. Пожалуй, чашку выпью.

В о ж е в а т о в. Иван, подай чашку да прибавь кипяточку!

И в а н берет чайник и уходит.

К а р а н д ы ш е в. Что за странная фантазия пить чай в это время? Удивляюсь.

В о ж е в а т о в. Жажда, Юлий Капитоныч, а что пить, не знаю. Посоветуйте — буду очень благодарен.

К а р а н д ы ш е в (смотрит на часы). Теперь — полдень, мож-

но выпить рюмочку водки, съесть котлетку, выпить стаканчик вина хорошего. Я всегда так завтракаю.

В о ж е в а т о в (*Огудаловой*). Вот жизнь-то, Харита Игнатьевна, позавидуешь. (*Карандышеву*.) Пожил бы, кажется, хоть денек на вашем месте. Водочки да винца! Нам так нельзя-с, пожалуй, разум потеряешь. Вам можно все: вы капиталу не проживете, потому его нет, а уж мы такие горькие зародились на свете, у нас дела очень велики; так нам разума-то терять и нельзя.

И в а н подает чайник и чашки.

Пожалуйте, Харита Игнатьевна! (*Наливает и подает чашку*.) Я и чай-то холодный пью, чтобы люди не сказали, что я горячие напитки употребляю.

О г у д а л о в а. Чай-то холодный, только, Вася, ты мне крепко налил.

В о ж е в а т о в. Ничего-с. Выкушайте, сделайте одолжение! На воздухе не вредно.

К а р а н д ы ш е в (*Ивану*). Приходи ко мне сегодня служить за обедом!

И в а н. Слушаю-с, Юлий Капитоныч.

К а р а н д ы ш е в. Ты, братец, почище оденься!

И в а н. Известное дело — фрак; нешто не понимаем-с!

К а р а н д ы ш е в. Василий Данилыч, вот что: приезжайте-ка вы ко мне обедать сегодня!

В о ж е в а т о в. Покорно благодарю. Мне тоже во фраке прикажете?

К а р а н д ы ш е в. Как вам угодно: не стесняйтесь. Однако дамы будут.

В о ж е в а т о в (*кланяясь*). Слушаю-с. Надеюсь не уронить себя.

К а р а н д ы ш е в (*переходит к Кнурову*). Мокий Парменыч, не угодно ли вам будет сегодня отобедать у меня?

К н у р о в (*с удивлением оглядывает его*). У вас?

О г у д а л о в а. Мокий Парменыч, это все равно, что у нас, — этот обед для Ларисы.

К н у р о в. Да, так это вы приглашаете? Хорошо, я приеду.

К а р а н д ы ш е в. Так уж я буду надеяться.

К н у р о в. Уж я сказал, что приеду. (*Читает газету*.)

О г у д а л о в а. Юлий Капитоныч — мой будущий зять: я выдаю за него Ларису.

К н у р о в (*продолжая читать*). Это ваше дело.

К а р а н д ы ш е в. Да-с, Мокий Парменыч, я рискнул. Я вообще всегда был выше предрассудков.

Кнуров закрывается газетой.

Вожеватов (*Огудаловой*). Мокий Парменыч строг.

Карандышев (*отходя от Кнурова к Вожеватову*). Я желаю, чтоб Ларису Дмитриевну окружали только избранные люди.

Вожеватов. Значит, и я к избранному обществу принадлежу? Благодарю, не ожидал. (*Гавриле.*) Гаврило, сколько с меня за чай?

Гаврило. Две порции изволили спрашивать?

Вожеватов. Да, две порции.

Гаврило. Так уж сами знаете, Василий Данилыч, не в первый раз... Тринадцать рублей-с.

Вожеватов. То-то, я думал, что подешевле стало.

Гаврило. С чего дешевле-то быть! Курсы, пошлина, помилуйте!

Вожеватов. Да ведь я не спорю с тобой: что ты пристаешь! Получай деньги и отстань! (*Отдает деньги.*)

Карандышев. За что так дорого, я не понимаю.

Гаврило. Кому дорого, а кому нет... Вы такого чая не кушаете.

Огудалова (*Карандышеву*). Перестаньте вы, не мешайтесь не в свое дело!

Иван. Василий Данилыч, «Ласточка» подходит.

Вожеватов. Мокий Парменыч, «Ласточка» подходит; не угодно ли взглянуть? Мы вниз не пойдем, с горы посмотрим.

Кнуров. Пойдемте. Любопытно. (*Встает.*)

Огудалова. Вася, я доеду на твоей лошади.

Вожеватов. Поезжайте, только пришлите поскорей! (*Подходит к Ларисе и говорит с ней тихо.*)

Огудалова (*подходит к Кнурову*). Мокий Парменыч, затеяли мы свадьбу, так не поверите, сколько хлопот.

Кнуров. Да.

Огудалова. И вдруг такие расходы, которых никак нельзя было ожидать... Вот завтра рождение Ларисы, хотелось бы что-нибудь подарить.

Кнуров. Хорошо, я к вам заеду.

Огудалова уходит.

Лариса (*Вожеватову*). До свидания, Вася!

Вожеватов и Кнуров уходят. Лариса подходит к Карандышеву.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Карандышев, Лариса.

Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела: как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!

К а р а н д ы ш е в. Вы за Волгу смотрели? А что с вами Вожеватов говорил?

Л а р и с а. Ничего, так,—пустяки какие-то. Меня так и манит за Волгу, в лес... (*Задумчиво.*) Уедемте, уедемте отсюда!

К а р а н д ы ш е в. Однако это странно! Об чем он мог с вами разговаривать?

Л а р и с а. Ах, да об чем бы он ни говорил,—что вам за дело!

К а р а н д ы ш е в. Называете его Васей. Что за фамильярность с молодым человеком?

Л а р и с а. Мы с малолетства знакомы; еще маленькие играли вместе — ну, я и привыкла.

К а р а н д ы ш е в. Вам надо старые привычки бросить. Что за короткость с пустым, глупым мальчиком! Нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было.

Л а р и с а (*обида*). У нас ничего дурного не было.

К а р а н д ы ш е в. Был цыганский табор-с — вот что было.

Лариса утирает слезы.

Чем же вы обиделись, помилуйте!

Л а р и с а. Что ж, может быть, и цыганский табор; только в нем было, по крайней мере, весело. Сумеете ли вы дать мне что-нибудь лучше этого табора?

К а р а н д ы ш е в. Уж конечно.

Л а р и с а. Зачем вы постоянно попрекаете меня этим табором? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано, так нужно было маменьке; значит, волей или неволей, я должна была вести такую жизнь. Колоть беспрестанно мне глаза цыганской жизнью или глупо, или безжалостно. Если бы я не искала тишины, уединения, не захотела бежать от людей — разве бы я пошла за вас? Так умеете это понять и не приписывать моего выбора своим достоинствам, я их еще не вижу. Я еще только хочу полюбить вас; меня манит скромная семейная жизнь, она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье: поддержите меня, мне нужно ободрение, сочувствие; относитесь ко мне нежно, с лаской! Ловите эти минуты и не пропустите их!

К а р а н д ы ш е в. Лариса Дмитриевна, я совсем не хотел вас обидеть, это я сказал так...

Л а р и с а. Что значит «так»? То есть не подумавши? Вы не понимаете, что в ваших словах обида, так, что ли?

К а р а н д ы ш е в. Конечно, я без умыслу.

Л а р и с а. Так это еще хуже. Надо думать, о чем говорить. Болтайте с другими, если вам нравится, а со мной говорите осторожнее! Разве вы не видите, что положение мое очень серьезно? Каждое слово, которое я сама говорю и которое

я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна.

К а р а н д ы ш е в. В таком случае, я прошу извинить меня.

Л а р и с а. Да бог с вами, только вперед будьте осторожны! (*Задумчиво.*) Цыганский табор... Да, это, пожалуй, правда... но в этом таборе были и хорошие, и благородные люди.

К а р а н д ы ш е в. Кто же эти благородные люди? Уж не Сергей ли Сергеич Паратов?

Л а р и с а. Нет, я прошу вас, вы не говорите о нем!

К а р а н д ы ш е в. Да почему же-с?

Л а р и с а. Вы его не знаете, да хоть бы и знали, так... извините, не вам о нем судить.

К а р а н д ы ш е в. Об людях судят по поступкам. Разве он хорошо поступил с вами?

Л а р и с а. Это уж мое дело. Если я боюсь и не смею осуждать его, так не позволю и вам.

К а р а н д ы ш е в. Лариса Дмитриевна, скажите мне, только, прошу вас, говорите откровенно!

Л а р и с а. Что вам угодно?

К а р а н д ы ш е в. Ну чем я хуже Паратова?

Л а р и с а. Ах, нет, оставьте!

К а р а н д ы ш е в. Позвольте, отчего же?

Л а р и с а. Не надо, не надо! Что за сравнения!

К а р а н д ы ш е в. А мне бы интересно было слышать от вас.

Л а р и с а. Не спрашивайте, не нужно!

К а р а н д ы ш е в. Да почему же?

Л а р и с а. Потому что сравнение не будет в вашу пользу. Сами по себе вы что-нибудь значите, вы хороший, честный человек; но от сравнения с Сергеем Сергеичем вы теряете все.

К а р а н д ы ш е в. Ведь это только слова: нужны доказательства. Вы разберите нас хорошенько!

Л а р и с а. С кем вы равняетесь! Возможно ли такое ослепление! Сергей Сергеич... это идеал мужчины. Вы понимаете, что такое идеал? Быть может, я ошибаюсь, я еще молода, не знаю людей; но это мнение изменить во мне нельзя, оно умрет со мной.

К а р а н д ы ш е в. Не понимаю-с, не понимаю, что в нем особенного; ничего, ничего не вижу. Смелость какая-то, дерзость... Да это всякий может, если захочет.

Л а р и с а. Да вы знаете, какая это смелость?

К а р а н д ы ш е в. Да какая ж такая, что тут необыкновенного? Стоит только напустить на себя.

Л а р и с а. А вот такая, я вам расскажу один случай. Проезжал здесь один кавказский офицер, знакомый Сергея Сергеича, отличный стрелок; были они у нас. Сергей Сергеич и говорит: «Я слышал, вы хорошо стреляете». — «Да, недурно», — говорит офицер. Сергей Сергеич дает ему пистолет, ста-

вит себе стакан на голову и отходит в другую комнату, шагов на двенадцать. «Стреляйте», — говорит.

К а р а н д ы ш е в. И он стрелял?

Л а р и с а. Стрелял и, разумеется, сшиб стакан, но только побледнел немного. Сергей Сергеич говорит: «Вы прекрасно стреляете, но вы побледнели, стреляя в мужчину и человека вам не близкого. Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею». Дает мне держать какую-то монету, равнодушно, с улыбкой, стреляет на таком же расстоянии и выбивает ее.

К а р а н д ы ш е в. И вы послушали его?

Л а р и с а. Да разве можно его не послушать?

К а р а н д ы ш е в. Разве уж вы были так уверены в нем?

Л а р и с а. Что вы! Да разве можно быть в нем неуверенной?

К а р а н д ы ш е в. Сердца нет, оттого он так и смел.

Л а р и с а. Нет, и сердце есть. Я сама видела, как он помогал бедным, как отдавал все деньги, которые были с ним.

К а р а н д ы ш е в. Ну, положим, Паратов имеет какие-нибудь достоинства, по крайней мере в глазах ваших; а что такое этот купчик Вожеватов, этот ваш Вася?

Л а р и с а. Вы не ревновать ли? Нет, уж эти глупости оставьте! Это пошло, я не переношу этого, я вам заранее говорю. Не бойтесь, я не люблю и не люблю никого.

К а р а н д ы ш е в. А если б явился Паратов?

Л а р и с а. Разумеется, если б явился Сергей Сергеич и был свободен, так довольно одного его взгляда... Успокойтесь, он не явился, а теперь хоть и явится, так уж поздно. Вероятно, мы никогда и не увидимся более.

На Волге пушечный выстрел.

Что это?

К а р а н д ы ш е в. Какой-нибудь купец-самодур слезает с своей баржи, так в честь его салютуют.

Л а р и с а. Ах, как я испугалась!

К а р а н д ы ш е в. Чего, помилуйте!

Л а р и с а. У меня нервы расстроены. Я сейчас с этой скамейки вниз смотрела, и у меня закружилась голова. Тут можно очень ушибиться?

К а р а н д ы ш е в. Ушибиться! Тут верная смерть: внизу мощено камнем. Да, впрочем, тут так высоко, что умрешь прежде, чем долетишь до земли.

Л а р и с а. Пойдемте домой, пора!

К а р а н д ы ш е в. Да и мне нужно, у меня ведь обед.

Л а р и с а (подходя к решетке). Подождите немного. (Смотрит вниз.) Ай, ай! держите меня!

К а р а н д ы ш е в (берет Ларису за руку). Пойдемте, что за ребячество! (Уходит.)

Г а в р и л о, И в а н выходят из кофейной.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г а в р и л о и И в а н.

И в а н. Пушка! Барин приехал, барин приехал, Сергей Сергеич.

Г а в р и л о. Я говорил, что он. Уж я знаю: видно сокола по полету.

И в а н. Коляска пустая в гору едет, значит, господа пешком идут. Да вот они! (Убегает в кофейную.)

Г а в р и л о. Милости просим. Чем только их попотчевать-то, не сообразишь.

Входят П а р а т о в (черный однобортный сюртук в обтяжку, высокие лаковые сапоги, белая фуражка, через плечо дорожная сумка), Р о б и н з о н (в плаще, правая пола закинута на левое плечо, мягкая высокая шляпа надета набок), К н у р о в, В о ж е в а т о в; И в а н выбегает из кофейной с веничком и бросается обметать Паратова.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

П а р а т о в, Р о б и н з о н, К н у р о в, В о ж е в а т о в, Г а в р и л о и И в а н.

П а р а т о в (Ивану). Да что ты! Я с воды, на Волге-то не пыльно.

И в а н. Все-таки, сударь, нельзя же... порядок требует. Целый год-то вас не видали, да чтобы... с приездом, сударь.

П а р а т о в. Ну, хорошо, спасибо! На! (Дает ему рублевую бумажку.)

И в а н. Покорнейше благодарим-с. (Отходит.)

П а р а т о в. Так вы меня, Василий Данилыч, с «Самолетом» ждали?

В о ж е в а т о в. Да ведь я не знал, что вы на своей «Ласточке» прилетите; я думал, что она с баржами идет.

П а р а т о в. Нет, я баржи продал. Я думал нынче рано утром приехать, мне хотелось обогнать «Самолет»; да трус машинист. Кричу кочегарам: «Шуруй!», а он у них дрова отнимает. Вылез из своей мурьи: «Если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь». Боялся, что котел не выдержит, цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то. А я, господа, и позабыл

познакомить вас с моим другом. Мокий Парменыч, Василий Данилыч! Рекомендую: Робинзон.

Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову и Вожеватову.

Вожеватов. А как их по имени и отчеству?

Паратов. Так, просто, Робинзон, без имени и отчества.

Робинзон (*Паратову*). Серж!

Паратов. Что тебе?

Робинзон. Полдень, мой друг, я стражду.

Паратов. А вот погоди, в гостиницу приедем.

Робинзон (*показывая на кофейную.*) Voilà!¹

Паратов. Ну, ступай, черт с тобой!

Робинзон идет в кофейную.

Гаврило, ты этому барину больше одной рюмки не давай; он характера непокойного.

Робинзон (*пожимая плечами*). Серж! (*Уходит в кофейную, Гаврило за ним.*)

Паратов. Это, господа, провинциальный актер, Счастливец Аркадий.

Вожеватов. Почему же он Робинзон?

Паратов. А вот почему: ехал он на каком-то пароходе, уж не знаю, с другом своим, с купеческим сыном Непутевым; разумеется, оба пьяные до последней возможности. Творили они, что только им в голову придет, публика все терпела. Наконец, в довершение безобразия, придумали драматическое представление: разделись, разрезали подушку, вывалились в пуху и начали изображать диких; тут уж капитан, по требованию пассажиров, и высадил их на пустой остров. Бежим мы мимо этого острова, гляжу, кто-то взывает, поднявши руки кверху. Я сейчас «стоп», сажусь сам в шлюпку и обретаю артиста Счастливецва. Взяв его на пароход, одел с ног до головы в свое платье, благо у меня много лишнего. Господа, я имею слабость к артистам... Вот почему он Робинзон.

Вожеватов. А Непутевый на острове остался?

Паратов. Да, на что он мне; пусть проветрится. Сами посудите, господа, ведь в дороге скука смертная, всякому товарищу рад.

Кнуров. Еще бы, конечно.

Вожеватов. Это такое счастье, такое счастье! Вот находка-то золотая!

Кнуров. Одно только неприятно, пьянством одолеет.

Паратов. Нет, со мной, господа, нельзя: я строг на этот счет. Денег у него нет, без моего разрешения давать не велено,

¹ Voilà (франц.) — вот.

а у меня как попросит, так я ему в руки французские разговоры — на счастье нашлись у меня; изволь прежде страницу выучить, без того не дам. Ну, и учит, сидит. Как старается!

Вожеватов. Эко вам счастье, Сергей Сергеич! Кажется, ничего б не пожалел за такого человека, а нет как нет. Он хороший актер?

Паратов. Ну, нет, какой хороший! Он все амплуа прошел и в суфлерах был; а теперь в оперетках играет. Ничего, так себе смешит.

Вожеватов. Значит, веселый?

Паратов. Потешный господин.

Вожеватов. А пошутить с ним можно?

Паратов. Ничего, он не обидчив. Вот отводите свою душу, могу его вам дня на два, на три предоставить.

Вожеватов. Очень благодарен. Коли придет по нраву, так не останется в накладе.

Кнуров. Как это вам, Сергей Сергеич, не жаль «Ласточку» продавать?

Паратов. Что такое «жаль», этого я не знаю. У меня, Мокий Парменыч, ничего заветного нет; найду выгоду, так все продам, что угодно. А теперь, господа, у меня другие дела и другие расчеты. Я женюсь на девушке очень богатой, беру в приданое золотые прииски.

Вожеватов. Приданое хорошее.

Паратов. Но достается оно мне не дешево; я должен проститься с моей свободой, с моей веселой жизнью; поэтому надо постараться как можно повеселей провести последние дни.

Вожеватов. Будем стараться, Сергей Сергеич, будем стараться.

Паратов. Отец моей невесты важный чиновный господин; старик строгий: он слышать не может о цыганах, о кутежах и о прочем; даже не любит, кто много курит табаку. Тут уж надевай фрак и *parlez français!*¹ Вот я теперь и практикуюсь с Робинзоном. Только он, для важности, что ли, уж не знаю, зовет меня «ля-Серж», а не просто «Серж». Умора!

На крыльце кофейной показывается Робинзон, что-то жует, за ним —
Гаврило.

¹ *Parlez français* (франц.) — говорите по-французски.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило и Иван.

Паратов (*Робинзону*). *Que faites-vous là? Venez!*¹

Робинзон (*с важностью*). *Comment?*²

Паратов. Что за прелесть! Каков тон, господа! (*Робинзону*.) Оставь ты эту вашу скверную привычку бросать порядочное общество для трактира!

Вожеватов. Да, это за ними водится.

Робинзон. Ля-Серж, ты уж успел... Очень нужно было.

Паратов. Да, извини, я твой псевдоним раскрыл.

Вожеватов. Мы, Робинзон, тебя не выдадим, ты у нас так за англичанина и пойдешь.

Робинзон. Как, сразу на «ты»? Мы с вами брудершафта не пили.

Вожеватов. Это все равно... Что за церемонии!

Робинзон. Но я фамильярности не терплю и не позволяю всякому...

Вожеватов. Да я не всякий.

Робинзон. А кто же вы?

Вожеватов. Купец.

Робинзон. Богатый?

Вожеватов. Богатый.

Робинзон. И тороватый?

Вожеватов. И тороватый.

Робинзон. Вот это в моем вкусе. (*Подает руку Вожеватову*.) Очень приятно! Вот теперь я могу тебе позволить обращаться со мной запросто.

Вожеватов. Значит, приятели: два тела — одна душа.

Робинзон. И один карман. Имя-отчество? То есть одно имя, отчество не надо.

Вожеватов. Василий Данилыч.

Робинзон. Так вот, Вася, для первого знакомства заплати за меня!

Вожеватов. Гаврило, запиши! Сергей Сергеич, мы нынче вечером прогулочку сочиним за Волгу. На одном катере цыгане, на другом мы; приедем, усядемся на коврике, жженочку сварим.

Гаврило. А у меня, Сергей Сергеич, два ананасика давно вас дожидаются; надо их нарушить для вашего приезда.

¹ *Que faites-vous là? Venez!* (*франц.*) — Что вы там делаете? Идите сюда!

² *Comment?* (*франц.*) — Как?

П а р а т о в (Гавриле). Хорошо, срежь! (Вожеватову.)
Делайте, господа, со мной, что хотите!

Г а в р и л о. Да уж я, Василий Данилыч, все заготовлю,
что требуется; у меня и кастрюлечка серебряная водится для
таких okazji; уж я и своих людей с вами отпущу.

В о ж е в а т о в. Ну, ладно. Чтобы к шести часам все было
готово; коли что лишнее припасешь, взыску не будет, а за
недостачу ответишь.

Г а в р и л о. Понимаем-с.

В о ж е в а т о в. А назад поедem, на катерах разноцветные
фонарики зажжем.

Р о б и н з о н. Давно ли я его знаю, а уж полюбил, господа.
Вот чудо-то!

П а р а т о в. Главное, чтоб весело. Я прощаюсь с холостой
жизнью, так чтоб было чем ее вспомнить. А откусать сего-
дня, господа, прошу ко мне.

В о ж е в а т о в. Эка досада! Ведь нельзя, Сергей Сергееч.

К н у р о в. Отозваны мы.

П а р а т о в. Откажитесь, господа!

В о ж е в а т о в. Отказаться-то нельзя: Лариса Дмитриев-
на выходит замуж: так мы у жениха обедаем.

П а р а т о в. Лариса выходит замуж! (Задумывается.)
Что ж... Бог с ней! Это даже лучше... Я немножко виноват
перед ней, то есть так виноват, что не должен бы и носу к
ним показывать; ну, а теперь она выходит замуж, значит, ста-
рые счета покончены, и я могу опять явиться поцеловать
ручки у ней и у тетеньки. Я Хариту Игнатьевну для кратко-
сти тетенькой зову. Ведь я было чуть не женился на Лари-
се,—вот бы людей-то насмешил! Да, разыграл было дура-
ка. Замуж выходит... Это очень мило с ее стороны; все-таки
на душе у меня немного полегче... и дай ей бог здоровья и
всякого благополучия! Заеду я к ним, заеду; любопытно,
очень любопытно поглядеть на нее.

В о ж е в а т о в. Уж наверное и вас пригласят.

П а р а т о в. Само собой, как же можно без меня!

К н у р о в. Я очень рад, все-таки будет с кем хоть слово
за обедом перемолвить.

В о ж е в а т о в. Там и потолкуем, как нам веселее время
провести, может, и еще что придумаем.

П а р а т о в. Да, господа, жизнь коротка, говорят фило-
софы, так надо уметь ею пользоваться. N'est ce pas¹, Робин-
зон?

Р о б и н з о н. Вуй, ля-Серж.

В о ж е в а т о в. Постараемся, скучать не будете: на том

¹ N'est ce pas? (франц.) — Не правда ли?

стоим. Мы третий катер прихватим, полковую музыку посадим.

П а р а т о в. До свидания, господа! Я в гостиницу. Марш, Робинзон!

Р о б и н з о н (*поднимая шляпу*).

Да здравствует веселье!
Да здравствует Услад!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЛИЦА:

О г у д а л о в а.

Л а р и с а.

К а р а н д ы ш е в.

П а р а т о в.

К н у р о в.

В о ж е в а т о в.

Р о б и н з о н.

И л ь я - ц ы г а н.

Л а к е й Огудаловой.

Комната в доме Огудаловой; две двери: одна, в глубине, входная; другая налево от актеров; направо окно; мебель приличная; фортепьяно, на нем лежит гитара.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

О г у д а л о в а одна. Подходит к двери налево, с коробочкой в руках.

О г у д а л о в а. Лариса! Лариса!

Лариса за сценой: «Я, мама, одеваюсь».

Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез!

Лариса за сценой: «После погляжу!»

Какие вещи — рублей пятьсот стоят. «Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите, от кого». А ведь знает, плутишка, что я не утерплю, скажу. Я его просила посидеть, не остался, с каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нарочно он или вправду. «Надо, говорит, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать». Хотел к нам привезти этого иностранца. (*Взглянув в окно.*) А вот и Мокий Парменыч! Не выходи, я лучше одна с ним потолкую.

Входит К н у р о в.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

О г у д а л о в а, К н у р о в.

К н у р о в (в дверях). У вас никого нет?

О г у д а л о в а. Никого, Мокий Парменыч!

К н у р о в (входит). Ну, и прекрасно.

О г у д а л о в а. На чем записать такое счастье! Благодарна, Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада, растерялась, право... не знаю, где и посадить вас.

К н у р о в. Все равно, сяду где-нибудь. (Садится.)

О г у д а л о в а. А Ларису извините, она переодевается. Да ведь можно ее поторопить.

К н у р о в. Нет, зачем беспокоить!

О г у д а л о в а. Как это вы вздумали?

К н у р о в. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то, ну, вот и зашел.

О г у д а л о в а. Будьте уверены, Мокий Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит; ни с чем этого сравнить нельзя.

К н у р о в. Так выдаете замуж Ларису Дмитриевну?

О г у д а л о в а. Да, замуж, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Нашелся жених, который берет без денег?

О г у д а л о в а. Без денег, Мокий Парменыч, где ж нам взять денег-то.

К н у р о в. Что ж он, средства имеет большие, жених-то ваш?

О г у д а л о в а. Какие средства! Самые ограниченные.

К н у р о в. Да... А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного?

О г у д а л о в а. Не знаю, Мокий Парменыч. Я тут ни при чем, ее воля была.

К н у р о в. Ну, а этот молодой человек, как, по-вашему: хорошо поступает?

О г у д а л о в а. Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны.

К н у р о в. Ничего тут нет похвального, напротив, это непохвально. Пожалуй, с своей точки зрения, он не глуп. Что он такое, кто его знал, кто на него обращал внимание! А теперь весь город заговорит про него, он влезает в лучшее общество, он позволяет себе приглашать меня на обед, например... Но вот что глупо: он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует.

О г у д а л о в а. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Как вы думаете о вашей дочери, что она такое?

О г у д а л о в а. Да уж я не знаю, что и говорить; мне одно осталось: слушать вас.

К н у р о в. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет. Ну, понимаете, тривиального, что нужно для бедной семейной жизни.

О г у д а л о в а. Ничего нет, ничего.

К н у р о в. Ведь это эфир.

О г у д а л о в а. Эфир, Мокий Парменыч.

К н у р о в. Она создана для блеску.

О г у д а л о в а. Для блеску, Мокий Парменыч.

К н у р о в. Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск?

О г у д а л о в а. Нет, где же!

К н у р о в. Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что ж остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, — чахотка.

О г у д а л о в а. Ах, что вы, что вы! Сохрани бог!

К н у р о в. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам.

О г у д а л о в а. Опять беда, Мокий Парменыч, чем нам жить с дочерью!

К н у р о в. Ну, эта беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека...

О г у д а л о в а. Хорошо, как найдется это участие.

К н у р о в. Надо постараться приобрести. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного, иметь необходимо.

О г у д а л о в а. Уж как необходимо-то.

К н у р о в. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем. Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко, а ведь может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтоб вы еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтоб знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Что вы улыбаетесь?

О г у д а л о в а. Я очень рада, Мокий Парменыч, что вы так расположены к нам.

К н у р о в. Вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны?

О г у д а л о в а. Ах, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Обижайтесь, если угодно, прогоните меня!

О г у д а л о в а (конфузясь). Ах, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром, да тогда и браните меня. Не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка?

Огудалова. Это я, Мокий Парменыч, хотела дочери подарок сделать.

Кнуров (*рассматривая вещи*). Да...

Огудалова. Да дорого, не по карману.

Кнуров (*отдает коробочку*). Ну, это пустяки, есть дела поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб, то есть мало сказать хороший — очень хороший. Подвенечное платье, ну, и все там, что следует.

Огудалова. Да, да, Мокий Парменыч.

Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кой-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине, да не рассчитывайте, не копейничайте! А счета пришлите ко мне, я заплачу.

Огудалова. Право, даже уж и слов-то не подберешь, как благодарить вас.

Кнуров. Вот зачем собственно я зашел к вам. (*Встает.*)

Огудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете...

Кнуров (*берет коробочку*). Ну, что там такое? Что стоит?

Огудалова. Оцените, Мокий Парменыч!

Кнуров. Что тут ценить! Пустое дело! Триста рублей это стоит. (*Достает из бумажника деньги и отдает Огудаловой.*) До свиданья! Я пойду еще побродить, я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся. (*Идет к двери.*)

Огудалова. Очень, очень вам благодарна за все, Мокий Парменыч, за все!

Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руке.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Огудалова, Лариса.

Лариса (*ставит корзинку на столик и рассматривает вещи в коробочке*). Это Вася-то подарил? Недурно. Какой милый!

Огудалова. «Недурно». Это очень дорогие вещи. Будто ты не рада?

Лариса. Никакой особенной радости не чувствую.

Огудалова. Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо: «благодарю, мол». И Кнурову тоже.

Лариса. А Кнурову за что?

Огудалова. Уж так надо, я знаю, за что.

Лариса. Ах, мама, все-то у тебя секреты да хитрости.

Огудалова. Ну, ну, хитрости! Без хитрости на свете не проживешь.

Лариса (*берет гитару, садится к окну и запекает*).

Матушка, голубушка, солнышко мое,
Пожалей, родимая, дитяtko твое!

Юлий Капитоныч хочет в мировые судьи баллотироваться.

Огудалова. Ну, вот и прекрасно. В какой уезд?

Лариса. В Заболотье!

Огудалова. Ай, в лес ведь это. Что ему вздумалось такую даль?

Лариса. Там кандидатов меньше: наверное выберут.

Огудалова. Что ж, ничего, и там люди живут.

Лариса. Мне хоть бы в лес, да только поскорей отсюда вырваться.

Огудалова. Да оно и хорошо в захолустье пожить, там и твой Карандышев мил покажется; пожалуй, первым человеком в уезде будет; вот помаленьку и привыкнешь к нему.

Лариса. Да он и здесь хорош, я в нем ничего не замечаю дурного.

Огудалова. Ну, что ж! Такие ль хорошие-то бывают!

Лариса. Конечно, есть и лучше, я сама это очень хорошо знаю.

Огудалова. Есть, да не про нашу честь.

Лариса. Теперь для меня и этот хорош. Да что толковать, дело решенное.

Огудалова. Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится. Слава богу. Осуждать его перед тобой я не стану; а и притворяться-то нам друг перед другом нечего — ты сама не слепая.

Лариса. Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитонычу. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды, грибы...

Огудалова. Вот для чего ты корзиночку-то приготовила! Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи, вот и будешь пастушкой.

Лариса. И шляпу заведу. (*Запевает.*)

Не искушай меня без нужды...

Там спокойствие, тишина.

Огудалова. А вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет, ветер-то загудит в окна.

Лариса. Ну, что ж такое.

Огудалова. Волки завоют на разные голоса.

Лариса. Все-таки лучше, чем здесь. Я по крайней мере душой отдохну.

Огудалова. Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой! Только знай, что Заболотье

не Италия. Это я обязана тебе сказать; а то как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила.

Лариса. Благодарю тебя. Но пусть там и дико, и глухо, и холодно; для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем. Что это Юлий Капитоныч медлит, я не понимаю.

Огудалова. До деревни ль ему! Ему покрасоваться хочется. Да и не удивительно: из ничего, да в люди попал.

Лариса (напевает).

Не искушай меня без нужды...

Экая досада, не налажу никак... (Взглянув в окно.) Илья, Илья! Зайди на минутку! Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки.

Входит Илья.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Огудалова, Лариса, Илья.

Илья. С праздником! Дай бог здорово да счастливо! (Кладет фуражку на стул у двери.)

Лариса. Илья, наладь мне: «Не искушай меня без нужды!» Все сбиваюсь. (Подает гитару.)

Илья. Сейчас, барышня. (Берет гитару и подстраивает.) Хороша песня; она в три голоса хороша, тенор надо: второе колено делает... Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда!

Огудалова. Какая беда?

Илья. Антон у нас есть, тенором поет.

Огудалова. Знаю, знаю.

Илья. Один тенор и есть, а то все басы. Какие басы, какие басы! А тенор один Антон.

Огудалова. Так что ж?

Илья. Не годится в хор,—хоть брось.

Огудалова. Нездоров?

Илья. Нет, здоров, совсем невредимый.

Огудалова. Что же с ним?

Илья. Пополам перегнуло набок, совсем углом; так глаголем и ходит, другая неделя. Ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит; а без тенора как быть! К дохтору ходил, дохтор и говорит: «Через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь». А нам теперь его надо.

Лариса. Да ты пой.

Илья. Сейчас, барышня. Секунда фальшивит. Вот беда, вот беда! В хоре надо браво стоять, а его набок перегнуло.

О г у д а л о в а. От чего это с ним?

И л ь я. От глупости.

О г у д а л о в а. От какой глупости?

И л ь я. Такая есть глупость в нас. Говорил: «Наблюдай, Антон, эту осторожность!» А он не понимает.

О г у д а л о в а. Да и мы не понимаем.

И л ь я. Ну, не вам будь сказано, гулял, так гулял, так гулял. Я говорю: «Антон, наблюдай эту осторожность!» А он не понимает. Ах, беда, ах, беда! Теперь сто рублей человек сто́ит, вот какое дело у нас; такого барина ждем. А Антона набок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой. (*Запевает басом.*) «Не искушай...»

Голос в окне: «Илья, Илья, ча адарі́к! ча сеге́р!»¹

Намо? Со туке тебе?²

Голос с улицы: «Иди, барин приехал!»

Хохавеса!³

Голос с улицы: «Верно, приехал!»

Некогда, барышня, барин приехал. (*Кладет гитару и берет фуражку.*)

О г у д а л о в а. Какой барин?

И л ь я. Такой барин, ждем не дождемся: год ждали — вот какой барин! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

О г у д а л о в а, Л а р и с а.

О г у д а л о в а. Кто ж бы это приехал? Должно быть, богатый и, вероятно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно, уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?

Л а р и с а. Ах, мама, мало, что ли, я страдала? Нет, довольно унижаться.

О г у д а л о в а. Экое страшное слово сказала: «унижаться»! Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться смолodu, чтоб потом пожить по-человечески.

Л а р и с а. Нет, не могу; тяжело, невыносимо тяжело.

О г у д а л о в а. А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь и останешься ничем.

¹ Поди сюда! Иди скорей! (*Перевод А. Н. Островского.*)

² Зачем? Что тебе? (*Перевод А. Н. Островского.*)

³ Обманываешь! (*Перевод А. Н. Островского.*)

Лариса. Опять притворяться, опять лгать!

Огудалова. И притворяйся, и лги! Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь.

Входит Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Огудалова, Лариса и Карандышев.

Огудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню собралась, вот и корзинку для грибов приготовила!

Лариса. Да, сделайте для меня эту милость, поедemте поскорей!

Карандышев. Я вас не понимаю; куда вы торопитесь, зачем?

Лариса. Мне так хочется бежать отсюда.

Карандышев (запальчиво). От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?

Лариса (холодно). Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали.

Карандышев. Так зачем бежать, зачем скрываться от людей! Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя! Я рад, я счастлив... дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения!

Огудалова. Повеличаться.

Карандышев. Да, повеличаться, я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия, моя гордость не раз была оскорблена; теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться.

Лариса. Вы когда же думаете ехать в деревню?

Карандышев. После свадьбы когда вам угодно, хоть на другой день. Только венчаться — непременно здесь; чтобы не сказали, что мы прячемся, потому что я не жених вам, не пара, а только соломинка, за которую хватается утопающий.

Лариса. Да ведь последнее-то почти так, Юлий Капитоныч, вот это правда.

Карандышев (с сердцем). Так правду эту вы знайте про себя! (Сквозь слезы.) Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен.

Лариса. Зачем это?

Карандышев. Как зачем? Разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбия?

Лариса. Самолюбие! Вы только о себе! Все себя любят! Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до гибели.

О г у д а л о в а. Полно, Лариса, что ты?

Л а р и с а. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте: если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее!

О г у д а л о в а. Нет, ты не фантазируй! Свадьба — так свадьба; я Огудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали.

К а р а н д ы ш е в. Да и я ничего не пожалею.

Л а р и с а. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла; поиграете вы мной, изломаете и бросите.

К а р а н д ы ш е в. Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево.

О г у д а л о в а. А этот обед ваш я считаю уж совсем лишним — напрасная трата.

К а р а н д ы ш е в. Да если б он стоил мне вдвое, втрое, я б не пожалел денег.

О г у д а л о в а. Никому он не нужен.

К а р а н д ы ш е в. Мне нужен.

Л а р и с а. Да зачем, Юлий Капитоныч?

К а р а н д ы ш е в. Лариса Дмитриевна, три года я терпел унижения, три года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых; надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними.

О г у д а л о в а. Что вы еще придумываете! Ссору, что ли, хотите затеять? Так мы с Ларисой и не поедem.

Л а р и с а. Ах, пожалуйста, не обижайте никого!

К а р а н д ы ш е в. Не обижайте! А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет, все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все, вот и вся моя месть!

О г у д а л о в а. И все это совсем не нужно.

К а р а н д ы ш е в. Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство; что ж они им хвастаются! По пятнадцати рублей за порцию чаю бросать!

О г у д а л о в а. Все это вы на бедного Васю нападаете.

К а р а н д ы ш е в. Да не один Вася, все хороши. Вон посмотрите, что в городе делается, какая радость на лицах! Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу: «Барин приехал, барин приехал». Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицы, из трактира в трактир перекликаются: «Барин приехал, барин приехал». Цыгане с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд,

толпа народу. Сейчас к гостинице четыре цыганки разряженные в коляске подъехали, поздравить с приездом. Чудо, что за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем, последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила, развратный человек, и весь город рад. Хороши нравы!

О г у д а л о в а. Да кто приехал-то?

К а р а н д ы ш е в. Ваш Сергей Сергееч Паратов.

Лариса в испуге встает.

О г у д а л о в а. А, так вот кто!

Л а р и с а. Поедьте в деревню, сейчас поедьте!

К а р а н д ы ш е в. Теперь-то и не нужно ехать.

О г у д а л о в а. Что ты, Лариса, зачем от него прятаться! Он не разбойник.

Л а р и с а. Что вы меня не слушаете! Топите вы меня, толкаете в пропасть!

О г у д а л о в а. Ты сумасшедшая.

К а р а н д ы ш е в. Чего вы боитесь?

Л а р и с а. Я не за себя боюсь.

К а р а н д ы ш е в. За кого же?

Л а р и с а. За вас.

К а р а н д ы ш е в. О, за меня не бойтесь! Я в обиду не дам. Попробуй он только задеть меня, так увидит.

О г у д а л о в а. Нет, что вы! Сохрани вас бог! Это ведь не Вася. Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете.

К а р а н д ы ш е в (у окна). Вот, извольте видеть, к вам подъехал; четыре иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает! Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится; а в сущности-то и гнусно, и глупо.

Л а р и с а (Карандышеву). Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов!

Л а р и с а и К а р а н д ы ш е в уходят. Входит П а р а т о в.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

О г у д а л о в а, П а р а т о в¹.

П а р а т о в. Тетенька, ручку!

О г у д а л о в а (простирая руку). Ах, Сергей Сергееч! Ах, родной мой!

П а р а т о в. В объятия желаете заключить? Можно. (Обнимаются и целуются.)

О г у д а л о в а. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно?

¹ Паратов всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне (Прим. автора.).

П а р а т о в. Нарочно сюда, и первый визит к вам, тетенька.

О г у д а л о в а. Благодарю. Как поживаете, как дела ваши?

П а р а т о в. Гневить бога нечего, тетенька, живу весело, а дела неважны.

О г у д а л о в а (*поглядев на Паратова*). Сергей Сергеич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?

П а р а т о в. Неприятную телеграмму получил, тетенька.

О г у д а л о в а. Какую?

П а р а т о в. Управители мои и управляющие свели без меня домок мой в ореховую скорлупку-с. Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спасать свои животики-с.

О г у д а л о в а. И, разумеется, все спасли и все устроили.

П а р а т о в. Никак нет-с; устроил, да не совсем, брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька, духу не теряю и веселого расположения не утратил.

О г у д а л о в а. Вижу, что не утратил.

П а р а т о в. На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька; вот наше дело какое.

О г у д а л о в а. На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели?

П а р а т о в. Не нам, легкомысленным джентельменам, новые обороты заводить! За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку.

О г у д а л о в а. Понимаю: выгодно жениться хотите. А во сколько вы цените свою волюшку?

П а р а т о в. В полмиллиона-с.

О г у д а л о в а. Порядочно.

П а р а т о в. Дешевле, тетенька, нельзя-с, расчету нет, себе дороже, сами знаете.

О г у д а л о в а. Молодец мужчина.

П а р а т о в. С тем возьмите.

О г у д а л о в а. Экой сокол! Глядеть на тебя да радоваться.

П а р а т о в. Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуйста! (*Целует руку.*)

О г у д а л о в а. А покупатели, то есть покупательницы-то, есть?

П а р а т о в. Поискать, так найдутся.

О г у д а л о в а. Извините за нескромный вопрос!

П а р а т о в. Коли очень нескромный, так не спрашивайте: я стыдлив.

О г у д а л о в а. Да полно тебе шутить-то! Есть невеста или нет? Коли есть, кто она?

П а р а т о в. Хоть зарежьте, не скажу.

О г у д а л о в а. Ну, как знаешь.

П а р а т о в. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?

О г у д а л о в а. Отчего же. Я ее сейчас пришлю к вам. *(Берет футляр с вещами.)* Да вот, Сергей Сергеич, завтра Ларисы рождение, хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает.

П а р а т о в. Тетенька, тетенька! ведь уж человек с трех взяла! Я тактику-то вашу помню.

О г у д а л о в а *(берет Паратова за ухо)*. Ах ты проказник!

П а р а т о в. Я завтра сам привезу подарок, получше этого.

О г у д а л о в а. Я позову к вам Ларису. *(Уходит.)*

Входит Л а р и с а.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

П а р а т о в, Л а р и с а.

П а р а т о в. Не ожидали?

Л а р и с а. Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.

П а р а т о в. Отчего же перестали ждать?

Л а р и с а. Не надеялась дожидаться. Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма.

П а р а т о в. Я не писал потому, что не мог сообщить вам ничего приятного.

Л а р и с а. Я так и думала.

П а р а т о в. И замуж выходите?

Л а р и с а. Да, замуж.

П а р а т о в. А позвольте вас спросить: долго вы меня ждали?

Л а р и с а. Зачем вам знать это?

П а р а т о в. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна, меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека: на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц... имел ли право Гамлет сказать матери, что она «башмаков еще не износила» и так далее.

Л а р и с а. На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеич; можете думать обо мне, что вам угодно.

П а р а т о в. Об вас я всегда буду думать с уважением; но женщины вообще, после вашего поступка, много теряют в глазах моих.

Л а р и с а. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.

П а р а т о в. Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий любовный шепот,— когда каждое слово чередуется с глубоким

вздохом,— эти клятвы... И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины!

Лариса. Что женщины?

Паратов. Ничтожество вам имя!

Лариса. Ах, как вы смее так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?

Паратов. Я не уверен, но полагаю.

Лариса. Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать.

Паратов. Вы выходите замуж?

Лариса. Но что меня заставило... Если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать и из дому и даже из городу?

Паратов. Лариса, так вы?..

Лариса. Что я? Ну, что вы хотели сказать?

Паратов. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не забыли меня, вы еще... меня любите?

Лариса молчит.

Ну, скажите, будьте откровенны!

Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать.

Паратов (*нежно целует руку Ларисы*). Благодарю вас, благодарю.

Лариса. Вам только и нужно было: вы — человек гордый.

Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам; но любовь вашу уступить было бы тяжело.

Лариса. Неужели?

Паратов. Если б вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.

Лариса. А теперь?

Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся, как лучшие друзья.

Лариса. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас?

Паратов. Что делать, Лариса Дмитриевна! В любви равенства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать.

Лариса. И непременно женщине?

Паратов. Уж, разумеется, не мужчине.

Лариса. Да почему?

Паратов. Очень просто; потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут; а эта кличка для муж-

чины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий.

Лариса. Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так слез-то бы не было. Бывает это когда-нибудь?

Паратов. Изредка случается. Только уж это какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе.

Лариса. Сергей Сергеич, я сказала вам то, чего не должна была говорить; я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности.

Паратов. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете! Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор... Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать: ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами?

Лариса. Нет, одним только.

Паратов. Немного.

Лариса. Зато дорогим.

Паратов. А именно?

Лариса. Он любит меня.

Паратов. Действительно дорогим; это для домашнего обихода очень хорошо.

Входят Огудалова и Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Паратов, Лариса, Огудалова, Карандышев, потом лакей.

Огудалова. Позвольте вас познакомить, господа! (*Паратову.*) Юлий Капитоныч Карандышев. (*Карандышеву.*) Сергей Сергеич Паратов.

Паратов (*подавая руку Карандышеву*). Мы уже знакомы. (*Кланяясь.*) Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Хариты Игнатьевны и Ларисы Дмитриевны.

Карандышев, (*сдержанно*). Очень приятно.

Огудалова. Сергей Сергеич у нас в доме как родной.

Карандышев. Очень приятно.

Паратов (*Карандышеву*). Вы не ревнивы?

Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым.

Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода.

Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитоныч меня ревновать не будет.

Карандышев. Да, конечно; но если бы...

П а р а т о в. О да, да. Вероятно, это было бы что-нибудь очень ужасное.

О г у д а л о в а. Что вы, господа, затеяли! Разве нет других разговоров, кроме ревности!

Л а р и с а. Мы, Сергей Сергеевич, скоро едем в деревню.

П а р а т о в. От прекрасных здешних мест?

К а р а н д ы ш е в. Что же вы находите здесь прекрасного?

П а р а т о в. Ведь это как кому; на вкус, на цвет образца нет

О г у д а л о в а. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня.

П а р а т о в. Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, а другой — свиной хрящик.

О г у д а л о в а. Ах, проказник! Откуда вы столько пословиц знаете?

П а р а т о в. С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучишься.

К а р а н д ы ш е в. У бурлаков учиться русскому языку?

П а р а т о в. А почему ж у них не учиться?

К а р а н д ы ш е в. Да потому, что мы считаем их...

П а р а т о в. Кто это: мы?

К а р а н д ы ш е в (*разгорячась*). Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки.

П а р а т о в. Ну-с, чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступаюсь за них, я сам такой же бурлак.

К а р а н д ы ш е в. Мы считаем их образцом грубости и невежества.

П а р а т о в. Ну, далее, господин Карандышев!

К а р а н д ы ш е в. Все, больше ничего.

П а р а т о в. Нет, не все, главного недостает: вам нужно просить извинения.

К а р а н д ы ш е в. Мне — извиняться!

П а р а т о в. Да, уж нечего делать, надо.

К а р а н д ы ш е в. Да с какой стати? Это мое убеждение.

П а р а т о в. Но-но-но-но! Отвильять нельзя.

О г у д а л о в а. Господа, господа, что вы!

П а р а т о в. Не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову: ваш жених цел останется; я только поучу его. У меня правило: никому ничего не прощать; а то страх забудут, забываться станут

Л а р и с а (*Карандышеву*). Что вы делаете? Просите извинения сейчас, я вам приказываю.

П а р а т о в (*Огудаловой*). Кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь да казнь придумываю.

К а р а н д ы ш е в (*Паратову*). Я не понимаю...

П а р а т о в. Так выучитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте!

О г у д а л о в а. Сергей Сергеич, я на колени брошусь перед вами; ну, ради меня, извините его!

П а р а т о в (*Карандышеву*). Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей! Я еду-еду, не свищу, а наеду — не спущу.

Карандышев хочет отвечать.

О г у д а л о в а. Не возражайте, не возражайте! А то я с вами поссорюсь. Лариса! Вели шампанского подать да налей им по стаканчику — пусть выпьют мировую.

Л а р и с а уходит.

И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера; я люблю, чтоб все дружно было, согласно.

П а р а т о в. Я сам мирного характера, курицы не обижу, я никогда первый не начну; за себя я вам ручаюсь.

О г у д а л о в а. Юлий Капитоныч, вы — еще молодой человек, вам надо быть поскромнее, горячиться не следует. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеича на обед, извольте непременно! Нам очень приятно быть с ним вместе.

К а р а н д ы ш е в. Я и сам хотел. Сергей Сергеич, угодно вам откусать у меня сегодня?

П а р а т о в (*холодно*). С удовольствием.

Входит Лариса, за ней человек с бутылкой шампанского в руках и стаканами на подносе.

Л а р и с а (*наливает*). Господа, прошу покорно.

Паратов и Карандышев берут стаканы.

Прошу вас быть друзьями.

П а р а т о в. Ваша просьба для меня равняется приказу.

О г у д а л о в а (*Карандышеву*). Вот и вы берите пример с Сергея Сергеича!

К а р а н д ы ш е в. Про меня нечего и говорить: для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны — закон.

Входит Вожеватов.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Огудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Вожеватов, потом Робинзон.

Вожеватов. Где шампанское, там и мы. Каково чутье! Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте белокурому в комнату войти!

О г у д а л о в а. Какому белокурому?

В о ж е в а т о в. Сейчас увидите. Войди, белокур!

Р о б и н з о н входит.

Честь имею представить вам нового друга моего: лорд Робинзон.

О г у д а л о в а. Очень приятно.

В о ж е в а т о в (*Робинзону*). Целуй ручки!

Робинзон целует руки у Огудаловой и Ларисы.

Ну, милорд, теперь поди сюда!

О г у д а л о в а. Что это вы как командуете вашим другом?

В о ж е в а т о в. Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Все больше путешествовал, и по воде, и по суше, а вот недавно совсем было одичал на необитаемом острове. (*Карандышеву*.) Позвольте вас познакомить! Лорд Робинзон, Юлий Капитоныч Карандышев!

К а р а н д ы ш е в (*подавая руку Робинзону*). Вы уж давно выехали из Англии?

Р о б и н з о н. Yes (Йес)¹.

В о ж е в а т о в (*Паратову*). Я его слова три по-английски выучил, да, признаться, и сам-то не много больше знаю. (*Робинзону*.) Что ты на вино-то поглядываешь? Харита Игнатьевна, можно?

О г у д а л о в а. Сделайте одолжение.

В о ж е в а т о в. Англичане ведь целый день пьют вино, с утра.

О г у д а л о в а. Неужели вы целый день пьете?

Р о б и н з о н. Yes.

В о ж е в а т о в. Они три раза завтракают да потом обедают с шести часов до двенадцати.

О г у д а л о в а. Возможно ли?

Р о б и н з о н. Yes.

В о ж е в а т о в (*Робинзону*). Ну, наливай!

Р о б и н з о н (*налив стаканы*). If you please! (Иф ю плиз)!²

Пьют.

П а р а т о в (*Карандышеву*). Пригласите и его обедать! Мы с ним везде вместе, я без него не могу.

К а р а н д ы ш е в. Как его зовут?

П а р а т о в. Да кто же их по имени зовет! Лорд, милорд...

К а р а н д ы ш е в. Разве он лорд?

¹ Yes (*англ.*) — да.

² If you please (*англ.*) — пожалуйста.

П а р а т о в. Конечно, не лорд; да они так любят. А то просто: сэр Робинзон.

К а р а н д ы ш е в (*Робинзону*). Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня откусать у меня.

Р о б и н з о н. I thank you (*Ай сенк ю*)¹

К а р а н д ы ш е в (*Огудаловой*). Харита Игнатьевна, я отправлюсь домой, мне нужно похлопотать кой о чем. (*Кланяюсь всем.*) Я вас жду, господа. Честь имею кланяться! (*Уходит.*)

П а р а т о в (*берет шляпу*). Да и нам пора, надо отдохнуть с дороги.

В о ж е в а т о в. К обеду приготовиться.

О г у д а л о в а. Погодите, господа, не все вдруг.

О г у д а л о в а и Л а р и с а уходят за К а р а н д ы ш е в ы м в переднюю.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

П а р а т о в, В о ж е в а т о в и Р о б и н з о н.

В о ж е в а т о в. Понравился вам жених?

П а р а т о в. Чему тут нравится! Кому он может нравиться! А еще разговаривает, гусь лапчатый.

В о ж е в а т о в. Разве было что?

П а р а т о в. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек, петушиться тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. (*Ударив себя по лбу.*) Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся...

В о ж е в а т о в. Что такое?

П а р а т о в. А вот что... (*Прислушиваясь.*) Идут! После скажу, господа.

Входят О г у д а л о в а и Л а р и с а.

Честь имею кланяться.

В о ж е в а т о в. До свидания!

Раскланиваются.

¹ I thank you (*англ.*) — благодарю вас.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛИЦА:

Ефросинья Потаповна, тетка Карандышева.

Карандышев.

Огудалова.

Лариса.

Паратов.

Кнуров.

Вожеватов.

Робинзон.

Иван.

Илья-цыган.

Кабинет Карандышева; комната, меблированная с претензиями, но без вкуса, на одной стене прибит над диваном ковер, на котором развешано оружие; три двери: одна в середине, две по бокам.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ефросинья Потаповна, Иван (выходят из двери налево).

Иван. Лимонов пожалуйста!

Ефросинья Потаповна. Каких лимонов, аспид?

Иван. Мессинских-с.

Ефросинья Потаповна. На что они тебе понадобились?

Иван. После обеда которые господа кофей кушают, а которые чай, так к чаю требуются.

Ефросинья Потаповна. Вымотали вы из меня всю душеньку нынче. Подай клюковного морсу, разве не все равно Возьми там у меня графинчик; ты поосторожнее, графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится, сургучиком подклеена. Пойдем, я сама выдам. (*Уходит в среднюю дверь, Иван за ней.*)

Входят Огудалова и Лариса слева.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Огудалова и Лариса.

Лариса Ах, мама, я не знала, куда деться.

Огудалова. Я так и ожидала от него.

Лариса. Что за обед, что за обед! А еще зовет Мокия Парменыча! Что он делает?

Огудалова. Да, угостил, нечего сказать.

Лариса Ах, как нехорошо! Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Вот мы ни в чем не виноваты, а стыдно, стыдно, так бы убежала куда-нибудь. А он как будто не замечает ничего, он даже весел.

Огудалова. Да ему и заметить нельзя: он ничего не знает, он никогда не видывал, как порядочные люди обедают. Он еще думает, что удивил всех своей роскошью, вот он и весел. Да разве ты не замечаешь? Его нарочно подпаивают.

Лариса. Ах, ах! Останови его, останови его!

Огудалова. Как остановить! Он — не малолетний, пора без няньки жить.

Лариса. Да ведь он же глуп, как же он не видит этого!

Огудалова. Не глуп, да самолюбив. Над ним подтрунивают, вина похваляют, он и рад; сами-то только вид делают, что пьют, а ему подливают.

Лариса. Ах! я боюсь, всего боюсь. Зачем они это делают?

Огудалова. Да так просто, позабавиться хотят.

Лариса. Да ведь они меня терзают-то!

Огудалова. А кому нужно, что ты терзаешься. Вот, Лариса, еще ничего не видя, а уж терзание; что дальше-то будет?

Лариса. Ах, дело сделано; можно только жалеть, а поправить нельзя.

Входит Ефросинья Потаповна.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Огудалова, Лариса и Ефросинья Потаповна.

Ефросинья Потаповна. Уж откушали? А чаю не угодно?

Огудалова. Нет, увольте.

Ефросинья Потаповна. А мужчины-то что?

Огудалова. Они там сидят, разговаривают.

Ефросинья Потаповна. Ну, покушали и вставали бы; чего еще дожидаются? Уж достался мне этот обед; что хлопот, что изъяну! Поваришки разбойники, в кухню-то точно какой победитель придет, слова ему сказать не смей!

Огудалова. Да об чем с ним разговаривать? Коли он хороший повар, так учить его не надо.

Ефросинья Потаповна. Да не об ученье речь, а много очень добра изводят. Кабы свой материал, домашний, деревенский, так я бы слова не сказала; а то купленный, дорогой, так его и жалко. Помилуйте, требует сахару, ванилю, рыбьего клею; а ваниль этот дорогой, а рыбий клей еще дороже. Ну и положил бы чуточку для духу, а он валит зря; сердце-то и мрет, на него глядя.

Огудалова. Да, для расчетливых людей, конечно...

Ефросинья Потаповна. Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел. Возьмем стерлядь: разве вкус-то в ней

не один, что большая, что маленькая? А в цене-то разница, ох, велика! Полтинничек десятков и за глаза бы, а он по полтиннику штуку платил.

О г у д а л о в а. Ну, этим, что были за обедом, еще погулять по Волге да подрасти бы не мешало.

Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а. Ах, да ведь, пожалуй, есть и в рубль, и в два; плати, у кого деньги бешеные. Кабы для начальника какого высокого али для владыки, ну, уж это так и полагается, а то для кого! Опять вино хотел было дорогое покупать в рубль и больше, да купец честный человек попался: берите, говорит, кругом по шести гривен за бутылку, а ерлыки наклеим какие прикажете! Уж и вино отпустил! Можно сказать, что на чести. Попробовала я рюмочку, так и гвоздикой-то пахнет, и розаном пахнет, и еще чем-то. Как ему быть дешевым, когда в него столько дорогих духов кладется! И деньги немалые: шесть гривен за бутылку; а уж стоит дать. А дороже платить не из чего, жалованьем живем. Вот у нас сосед женился, так к нему этого одного пуху: перин да подушек, возили-возили, возили-возили, да все чистого; потом пушного: и лисица, и куница, и соболь! Все это в дом, так есть из чего ему тратиться. А вот рядом чиновник женился, так всего приданого привезли фортепьяны старые. Не разживешься. Все равно и нам форсить некстати.

Л а р и с а (Огудаловой). Бежала б я отсюда, куда глаза глядят.

О г у д а л о в а. Невозможно, к несчастью.

Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а. Да коли вам что не по себе, так пожалуйста ко мне в комнату; а то придут мужчины, накурят так, что не продохнешь. Что я стою-то! Бежать мне серебро сосчитать да запереть, нынче народ без креста.

О г у д а л о в а и Л а р и с а уходят в дверь направо, Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а — в среднюю.

Из двери налево выходят П а р а т о в, К н у р о в, В о ж е в а т о в.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

П а р а т о в, К н у р о в и В о ж е в а т о в.

К н у р о в. Я, господа, в клуб обедать поеду, я не ел ничего.

П а р а т о в. Подождите, Мокий Парменыч!

К н у р о в. Со мной первый раз в жизни такой случай. Приглашают обедать известных людей, а есть нечего... Он человек глупый, господа.

П а р а т о в. Мы не спорим. Надо ему отдать справедливость: он действительно глуп.

К н у р о в. И сам прежде всех напился.



А. Н. Островский
«БЕСПРИДАННИЦА»

Вожеватов. Мы его порядочно подстроили.

Паратов. Да, я свою мысль привел в исполнение. Мне еще давеча в голову пришло накатить его хорошенько и посмотреть, что выйдет.

Кнуров. Так у вас было это задумано?

Паратов. Мы прежде условились. Вот, господа, для таких случаев Робинзоны-то и дороги.

Вожеватов. Золото, а не человек.

Паратов. Чтобы напоить хозяина, надо самому пить с ним вместе; а есть ли возможность глотать эту микстуру, которую он вином величает. А Робинзон — натура выдержанная на заграничных винах ярославского производства, ему нипочем. Он пьет да похваливает, пробует то одно, то другое, сравнивает, смакует с видом знатока, но без хозяина пить не соглашается; тот и попался. Человек непривычный, много ль ему надо, скорехонько и дошел до восторга.

Кнуров. Это забавно; только мне, господа, не шутя есть хочется.

Паратов. Еще успеете. Погодите немного, мы попросим Ларису Дмитриевну спеть что-нибудь.

Кнуров. Это другое дело. А где ж Робинзон?

Вожеватов. Они там еще допивают.

Входит Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон (*падая на диван*). Батюшки, помогите! Ну, Серж, будешь ты за меня богу отвечать!

Паратов. Что ж ты, пьян, что ли?

Робинзон. Пьян! Разве я на это жалуюсь когда-нибудь? Кабы пьян, это бы прелесть что такое — лучше бы и желать ничего нельзя. Я с этим добрым намерением ехал сюда да с этим добрым намерением и на свете живу. Это цель моей жизни.

Паратов. Что ж с тобой?

Робинзон. Я отравлен, я сейчас караул закричу.

Паратов. Да ты что пил-то больше, какое вино?

Робинзон. Кто ж его знает? Химик я, что ли! Ни один аптекарь не разберет.

Паратов. Да что на бутылке-то, какой этикет?

Робинзон. На бутылке-то «бургонское», а в бутылке-то «киндер-бальзам» какой-то. Не пройдет мне даром эта специя, уж я чувствую.

Вожеватов. Это случается: как делают вино, так пе-

реложат лишнее что-нибудь против пропорции. Ошибиться долго ли? человек — не машина. Мухоморов не переложил ли?

Робинзон. Что тебе весело! Человек погибает, а ты рад.

Вожеватов. Шабаш! Помирать тебе, Робинзон.

Робинзон. Ну, это вздор, помирать я не согласен... Ах! хоть бы знать, какое увечье-то от этого вина бывает.

Вожеватов. Один глаз лопнет непременно, ты так и жди.

За сценой голос Карандышева: «Эй, дайте нам бургонского!»

Робинзон. Ну, вот, изволите слышать, опять бургонского! Спасите, погибаю! Серж, пожалей хоть ты меня! Ведь я в цвете лет, господа, я подаю большие надежды. За что ж искусство должно лишиться...

Паратов. Да не плачь, я тебя вылечу; я знаю, чем помочь тебе; как рукой снимет.

Входит Карандышев с ящиком сигар.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон и Карандышев.

Робинзон (*взглянув на ковер*). Что это у вас такое?

Карандышев. Сигары.

Робинзон. Нет, что развешано-то? Бутафорские вещи?

Карандышев. Какие бутафорские вещи! Это турецкое оружие.

Паратов. Так вот кто виноват, что австрийцы турок одолеть не могут.

Карандышев. Как? Что за шутки! Помилуйте, что это за вздор! Чем я виноват?

Паратов. Вы забрали у них все дрянное, негодное оружие; вот они с горя хорошим английским и запаслись.

Вожеватов. Да, да, вот кто виноват! теперь нашлось. Ну, вам австрийцы спасибо не скажут.

Карандышев. Да чем оно негодное? Вот этот пистолет, например. (*Снимает со стены пистолет.*)

Паратов (*берет у него пистолет*). Этот пистолет?

Карандышев. Ах, осторожнее, он заряжен.

Паратов. Не бойтесь! Заряжен ли он, не заряжен ли, опасность от него одинакова: он все равно не выстрелит. Стреляйте в меня в пяти шагах, я позволяю.

Карандышев. Ну, нет-с, и этот пистолет пригодиться может.

Паратов. Да, в стену гвозди вколачивать. (*Бросает пистолет на стол.*)

Вожеватов. Ну нет, не скажите! По русской пословице: «На грех и из палки выстрелишь».

Карандышев (*Паратову*). Не угодно ли сигар?

Паратов. Да ведь, чай, дорогие? Рублей семь сотня, я думаю.

Карандышев. Да-с, около того: сорт высокий, очень высокий сорт.

Паратов. Я этот сорт знаю: Регалия капустиссима dos amigos, я его держу для приятелей, а сам не курю.

Карандышев (*Кнурову*). Не прикажете ли?

Кнуров. Не хочу я ваших сигар — свои курю.

Карандышев. Хорошенькие сигары, хорошенькие-с.

Кнуров. Ну, а хорошие, так и курите сами.

Карандышев (*Вожеватову*). Вам не угодно ли?

Вожеватов. Для меня эти очень дороги; пожалуй, избалуешься. Не нашему носу рябину клевать: рябина — ягода нежная.

Карандышев. А вы, сэр Робинзон, курите?

Робинзон. Я-то? Станный вопрос! Пожалуйте пяточек! (*Выбирает пять штук, вынимает из кармана бумажку и тщательно завертывает.*)

Карандышев. Что же вы не закуриваете?

Робинзон. Нет, как можно! Эти сигары надо курить в природе, в хорошем местоположении.

Карандышев. Да почему же?

Робинзон. А потому, что если их закурить в порядочном доме, так, пожалуй, прибьют, чего я терпеть не могу.

Вожеватов. Не любишь, когда бьют?

Робинзон. Нет, с детства отвращение имею.

Карандышев. Какой он оригинал! А, господа, каков оригинал! Сейчас видно, что англичанин. (*Громко.*) А где наши дамы? (*Еще громче.*) Где дамы?

Входит Огудалова.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев
и Огудалова.

Огудалова. Дамы здесь, не беспокойтесь. (*Карандышеву тихо.*) Что вы делаете? Посмотрите вы на себя!

Карандышев. Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите: все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую.

О г у д а л о в а. Торжествуйте, только не так громко. (*Подходит к Паратову.*) Сергей Сергееч, перестаньте издеваться над Юлием Капитонычем! Нам больно видеть: вы обижаете меня и Ларису.

П а р а т о в. Ах, тетенька, смею ли я!

О г у д а л о в а. Неужели вы еще не забыли давешнюю ссору? Как не стыдно!

П а р а т о в. Что вы! Я, тетенька, не злопамятен. Да извольте, я для вашего удовольствия все это покончу одним разом. Юлий Капитоныч!

К а р а н д ы ш е в. Что вам угодно?

П а р а т о в. Хотите брудершафт со мной выпить?

О г у д а л о в а. Вот это хорошо. Благодарю вас!

К а р а н д ы ш е в. Брудершафт, вы говорите? Извольте, с удовольствием.

П а р а т о в (*Огудаловой*). Да попросите сюда Ларису Дмитриевну! Что она прячется от нас!

О г у д а л о в а. Хорошо, я приведу ее. (*Уходит.*)

К а р а н д ы ш е в. Что же мы выпьем? Бургонского?

П а р а т о в. Нет, уж. от бургонского увольте! Я человек простой.

К а р а н д ы ш е в. Так чего же?

П а р а т о в. Знаете что: любопытно теперь нам с вами коньячку выпить. Коньяк есть?

К а р а н д ы ш е в. Как не быть! У меня все есть. Эй, Иван, коньяку!

П а р а т о в. Зачем сюда, мы там выпьем; только велите стаканчиков дать, я рюмок не признаю.

Р о б и н з о н. Что же вы прежде не сказали, что у вас коньяк есть? Сколько дорогого времени-то потеряно!

В о ж е в а т о в. Как он ожил!

Р о б и н з о н. С этим напитком я обращаться умею, я к нему применился.

П а р а т о в и К а р а н д ы ш е в уходят в дверь налево.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

К н у р о в, В о ж е в а т о в и Р о б и н з о н.

Р о б и н з о н (*глядит в дверь налево*). Погиб Карандышев. Я начал, а Серж его докончит. Наливают, устанавливаются в позу; живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыбка! Совсем Бертрам. (*Поет из «Роберта».*) «Ты мой спаситель.— Я твой спаситель! — И покровитель.— И покровитель». Ну, проглотил. Целуются. (*Поет.*) «Как счастлив я! — Жертва моя!»

Ай, уносит Иван коньяк, уносит! (Громко.) Что ты, что ты, оставь! Я его давно дожидаясь. (Убегает.)

Из средней двери выходит Илья.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Кнуров, Вожеватов, Илья, потом Паратов.

Вожеватов. Что тебе, Илья?

Илья. Да наши готовы, собрались совсем, на бульваре ждут. Когда ехать прикажете?

Вожеватов. Сейчас все вместе поедem, подождите немного!

Илья. Хорошо. Как прикажете, так и будет.

Входит Паратов.

Паратов. А, Илья, готовы?

Илья. Готовы, Сергей Сергеич!

Паратов. Гитара с тобой?

Илья. Не захватил, Сергей Сергеич.

Паратов. Гитару нужно, слышишь?

Илья. Сейчас сбегаю, Сергей Сергеич! (Уходит.)

Паратов. Я хочу попросить Ларису Дмитриевну спеть нам что-нибудь, да и поедemте за Волгу.

Кнуров. Не весела наша прогулка будет без Ларисы Дмитриевны. Вот если бы... Дорого можно заплатить за такое удовольствие.

Вожеватов. Если бы Лариса Дмитриевна поехала, я бы с радости всех гребцов по рублю серебром оделил.

Паратов. Представьте, господа, я и сам о том же думаю; вот как мы сошлись.

Кнуров. Да есть ли возможность?

Паратов. На свете нет ничего невозможного, говорят философы.

Кнуров. А Робинзон, господа, лишний. Потешились, и будет. Напьется он там до звериного образа — что хорошего! Эта прогулка дело серьезное, он нам совсем не компания. (Указывая в дверь.) Вон он как к коньяку-то прильнул.

Вожеватов. Так не брать его.

Паратов. Увяжется как-нибудь!

Вожеватов. Погодите, господа, я от него отделаюсь. (В дверь.) Робинзон!

Входит Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Паратов, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Робинзон. Что тебе?

Вожеватов (тихо). Хочешь ехать в Париж?

Робинзон. Как в Париж, когда?

Вожеватов. Сегодня вечером.

Робинзон. А мы за Волгу собирались.

Вожеватов. Как хочешь; поезжай за Волгу, а я в Париж.

Робинзон. Да ведь у меня паспорта нет.

Вожеватов. Это уж мое дело.

Робинзон. Я пожалуй.

Вожеватов. Так отсюда мы поедем вместе; я тебя завезу домой к себе; там и жди меня, отдохни, усни. Мне нужно заехать по делам места в два.

Робинзон. А интересно бы и цыган послушать.

Вожеватов. А еще артист! Стыдись! Цыганские песни, ведь это невежество. То ли дело итальянская опера или оперетка веселенькая! Вот что тебе надо слушать. Чай, сам играл!

Робинзон. Еще бы! я в «Птичках певчих» играл.

Вожеватов. Кого?

Робинзон. Нотариуса.

Вожеватов. Ну, как же такому артисту да в Париже не побывать! После Парижа тебе какая цена-то будет!

Робинзон. Руку!

Вожеватов. Едешь?

Робинзон. Еду!

Вожеватов (Паратову). Как он тут пел из «Роберта». Что за голос!

Паратов. А вот мы с ним в Нижнем на ярмарке дел наделаем.

Робинзон. Еще поеду ли я, спросить надо.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежества я и без ярмарки довольно вижу.

Паратов. Ого, как он поговаривать начал!

Робинзон. Нынче образованные люди в Европу ездят, а не по ярмаркам шатаются.

Паратов. Какие же государства и какие города Европы вы осчастливить хотите?

Робинзон. Конечно, Париж, я уж туда давно собираюсь.

Вожеватов. Мы с ним сегодня вечером едем.

Паратов. А, вот что! Счастливого пути! В Париж тебе действительно надо ехать. Там только тебя и недоставало. А где ж хозяин?

Робинзон. Он там, он говорил, что сюрприз нам готовит.

Входят справа Огудалова и Лариса, слева — Карандышев и Иван.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев, Иван, потом Илья и Ефросинья Потаповна.

Паратов (*Ларисе*). Что вы нас покинули?

Лариса. Мне что-то нездоровится.

Паратов. А мы сейчас с вашим женихом брудершафт выпили. Теперь уж друзья навек.

Лариса. Благодарю вас. (*Жмет руку Паратову.*)

Карандышев (*Паратову*). Серж!

Паратов (*Ларисе*). Вот видите, какая короткость. (*Карандышеву.*) Что тебе?

Карандышев. Тебя кто-то спрашивает.

Паратов. Кто там?

Иван. Цыган Илья.

Паратов. Так зови его сюда.

Иван уходит.

Господа, извините, что я приглашаю Илью в наше общество. Это мой лучший друг. Где принимают меня, там должны принимать и моих друзей. Это мое правило.

Вожеватов (*тихо Ларисе*). Я новую песенку знаю.

Лариса. Хорошая?

Вожеватов. Бесподобная! «Веревьюшки веревью, на барышне башмачки».

Лариса. Это забавно.

Вожеватов. Я вас выучу.

Входит Илья с гитарой.

Паратов (*Ларисе*). Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить вас осчастливить нас! Спойте нам какой-нибудь романс или песенку! Я вас целый год не слыхал, да, вероятно, и не услышу уж более.

Кнуров. Позвольте и мне повторить ту же просьбу!

Карандышев. Нельзя, господа, нельзя, Лариса Дмитриевна не станет петь.

Паратов. Да почему ты знаешь, что не станет? А может быть, и станет.

Лариса. Извините, господа, я не расположена сегодня, и не в голосе.

Кнуров. Что-нибудь, что вам угодно!

Карандышев. Уж коли я говорю, что не станет, так не станет.

Паратов. А вот посмотрим. Мы попросим хорошенько, на колени станем.

Вожеватов. Это я сейчас, я человек гибкий.

Карандышев. Нет, нет, и не просите, нельзя; я запрещаю.

Огудалова. Что вы! Запрещайте тогда, когда будете иметь право, а теперь еще погодите запрещать, рано.

Карандышев. Нет, нет! я положительно запрещаю.

Лариса. Вы запрещаете? так я буду петь, господа.

Карандышев, надувшись, отходит в угол и садится.

Паратов. Илья!

Илья. Что будем петь, барышня?

Лариса. «Не искушай».

Илья (*подстраивая гитару*). Вот третий голос надо! Ах, беда! Какой тенор был! От своей от глупости. (*Поют в два голоса.*)

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.

Все различным образом выражают восторг. Паратов сидит, запустив руки в волосы. Во втором куплете слегка пристает Робинзон.

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь
И не хочу предаться вновь
Раз обманувшим сновиденьям.

Илья (*Робинзону*). Вот спасибо, барин. Выручил.

Кнуров (*Ларисе*). Велико наслаждение видеть вас, а еще больше наслаждения слушать вас.

Паратов (*с мрачным видом*). Мне кажется, я с ума сойду. (*Целует руку Ларисы.*)

Вожеватов. Послушать да и умереть — вот оно что! (*Карандышеву.*) А вы хотели лишить нас этого удовольствия.

Карандышев. Я, господа, не меньше вашего восхищаюсь пением Ларисы Дмитриевны. Мы сейчас выпьем шампанского за ее здоровье.

Вожеватов. Умную речь приятно и слышать.

Карандышев (*громко*). Подайте шампанского!

Огудалова (*тихо*). Потихе! Что вы кричите!

К а р а н д ы ш е в. Помилуйте, я у себя дома. Я знаю, что делаю. (*Громко.*) Подайте шампанского!

Входит Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а.

Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а. Какого тебе еще шампанского? Поминутно то того, то другого.

К а р а н д ы ш е в. Не мешайтесь не в свое дело! Исполняйте, что вам приказывают!

Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а. Так поди сам! А уж я ноги отходила; я еще, может быть, не евши с утра. (*Уходит.*)

К а р а н д ы ш е в идет в дверь налево.

О г у д а л о в а. Послушайте, Юлий Капитоныч!.. (*Уходит за Карандышевым.*)

П а р а т о в. Илья, поезжай! Чтоб катера были готовы! Мы сейчас приедем.

И л ь я уходит в среднюю дверь.

В о ж е в а т о в (*Кнурову*). Оставим его одного с Ларисой Дмитриевной. (*Робинзону.*) Робинзон, смотри, Иван коньяк-то убирает.

Р о б и н з о н. Да я его убью. Мне легче с жизнью расстаться!

Уходят налево К н у р о в, В о ж е в а т о в и Р о б и н з о н.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Л а р и с а и П а р а т о в.

П а р а т о в. Очаровательница! (*Страстно глядит на Ларису.*) Как я проклинал себя, когда вы пели!

Л а р и с а. За что?

П а р а т о в. Ведь я — не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве легко?

Л а р и с а. Кто же виноват?

П а р а т о в. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя.

Л а р и с а. За что же, скажите!

П а р а т о в. Зачем я бежал от вас? На что променял вас?

Л а р и с а. Зачем же вы это сделали?

П а р а т о в. Ах, зачем! Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да бог с ним, с состоянием! Я проиграл больше, чем состояние, я потерял вас; я и сам страдаю, и вас заставил страдать.

Л а р и с а. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь.

П а р а т о в. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем опошвился, не совсем огрубел; во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да... еще несколько таких минут...

Л а р и с а (тихо). Говорите!

П а р а т о в. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня, разве вместе с моей жизнью.

Л а р и с а. Чего же вы хотите?

П а р а т о в. Видеть вас, слушать вас... Я завтра уезжаю.

Л а р и с а (опустя голову). Завтра.

П а р а т о в. Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.

Л а р и с а (тихо). О каком?

П а р а т о в. О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног.

Л а р и с а. Но как же?

П а р а т о в. Послушайте: мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах — поедemте!

Л а р и с а. Ах! а здесь? Я не знаю, право... Как же здесь?

П а р а т о в. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: тетка Карандышева, барин в крашенных шелковых платьях; разговор будет о соленых грибах.

Л а р и с а. Когда же ехать?

П а р а т о в. Сейчас.

Л а р и с а. Сейчас?

П а р а т о в. Сейчас или никогда.

Л а р и с а. Едемте.

П а р а т о в. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?

Л а р и с а. Куда вам угодно.

П а р а т о в. С нами, сейчас?

Л а р и с а. Когда вам угодно.

П а р а т о в. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!

Л а р и с а. Вы — мой повелитель.

Входят Огудалова, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван с подносом, на котором стаканы шампанского.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Огудалова, Лариса, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Карандышев и Иван.

П а р а т о в (Кнурову и Вожеватову). Она поедет.

К а р а н д ы ш е в. Господа, я предлагаю тост за Ларису

Дмитриевну. *(Все берут стаканы.)* Господа, вы сейчас восхищались талантом Ларисы Дмитриевны. Ваши похвалы — для нее не новость; с детства она окружена поклонниками, которые восхваляют ее в глаза при каждом удобном случае. Да-с, талантов у нее действительно много. Но не за них я хочу похвалить ее. Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны — то, господа... то, господа...

Вожеватов. Спутается.

Паратов. Нет, вынырнет, выучил.

Карандышев. То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры. Много блестящих молодых людей окружало ее; но она мишурным блеском не прельстилась. Она искала для себя человека не блестящего, а достойного...

Паратов *(одобрительно)*. Браво, браво!

Карандышев. И выбрала...

Паратов. Вас! Браво! браво!

Вожеватов и Робинзон. Браво, браво!

Карандышев. Да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем. Извините, господа, может быть, не всем это приятно слышать; но я счел своим долгом поблагодарить публично Ларису Дмитриевну за такое лестное для меня предпочтение. Господа, я сам пью и предлагаю выпить за здоровье моей невесты!

Паратов, Вожеватов и Робинзон. Ура!

Паратов *(Карандышеву)*. Еще есть вино-то?

Карандышев. Разумеется, есть; как же не быть! Что ты говоришь? Уж я достану.

Паратов. Надо еще тост выпить.

Карандышев. Какой?

Паратов. За здоровье счастливейшего из смертных Юлия Капитоныча Карандышева.

Карандышев. Ах, да. Так ты предложишь? Ты и предложи, Серж! А я пойду похлопочу; я достану. *(Уходит.)*

Кнуров. Ну, хорошенького понемножку. Прощайте! Я заеду, закушу и сейчас же на сборный пункт. *(Кланяется дамам.)*

Вожеватов *(указывая на среднюю дверь)*. Здесь пройдите, Мокий Парменыч! Тут прямо выход в переднюю, никто вас и не увидит.

Кнуров уходит.

Паратов *(Вожеватову)*. И мы сейчас едем. *(Ларисе.)* Собирайтесь!

Лариса уходит направо.

Вожеватов. Не дождавшись тоста?

Паратов. Так лучше.

Вожеватов. Да чем же?

Паратов. Смешнее.

Выходит Лариса с шляпой в руках.

Вожеватов. И то смешнее, Робинзон! едем!

Робинзон. Куда?

Вожеватов. Домой, собираться в Париж.

Робинзон и Вожеватов раскланиваются и уходят.

Паратов (тихо Ларисе). Едем! (Уходит.)

Лариса. Прощай, мама!

Огудалова. Что ты! Куда ты?

Лариса. Или тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге.

Огудалова. Бог с тобой! Что ты!

Лариса. Видно, от своей судьбы не уйдешь! (Уходит.)

Огудалова. Вот наконец до чего дошло: всеобщее бегство! Ах, Лариса!.. Догонять мне ее иль нет? Нет, зачем!.. Что бы там ни было, все-таки кругом нее люди... А здесь хоть и бросить, так потеря не велика!

Входят Карандышев и Иван с бутылкой шампанского.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Огудалова, Карандышев, Иван, потом Ефросинья
Потаповна.

Карандышев. Я, господа... (Оглядывает комнату.) Где ж они? Уехали? Вот это учтиво, нечего сказать! Ну, да тем лучше! Однако когда ж они успели? И вы, пожалуй, уедете? Нет, уж вы-то с Ларисой Дмитриевной погодите! Обиделись? — понимаю! Ну, и прекрасно. И мы останемся в тесном семейном кругу... А где же Лариса Дмитриевна? (У двери направо.) Тетенька, у вас Лариса Дмитриевна?

Ефросинья Потаповна (входя). Никакой у меня твоей Ларисы Дмитриевны нет.

Карандышев. Однако что ж это такое, в самом деле! Иван, куда девались все господа и Лариса Дмитриевна?

Иван. Лариса Дмитриевна, надо полагать, с господами вместе уехали... Потому как господа за Волгу собирались, вроде как пикник у них.

Карандышев. Как за Волгу?

Иван. На катерах-с. И посуда, и вина, все от нас пошло-с,

еще давеча отправили; ну, и прислуга — всё как следует-с.

К а р а н д ы ш е в (садится и хватается за голову). Ах, что же это, что же это!

И в а н. И цыгане, и музыка с ними — всё как следует.

К а р а н д ы ш е в (с горячностью). Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?

О г у д а л о в а. Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч; вы мне скажите, где моя дочь!

К а р а н д ы ш е в. И все это преднамеренно, умышленно — все вы вперед сговорились... (Со слезами.) Жестоко, бесчеловечно жестоко!

О г у д а л о в а. Рано было торжествовать-то!

К а р а н д ы ш е в. Да, это смешно... Я смешной человек... Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон — ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной — я того стою. Но разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить! Как мне жить!

Е ф р о с и н ь я П о т а п о в н а. Да полно ты, перестань! Не о чем-то сокрушаться-то!

К а р а н д ы ш е в. И ведь это не разбойники, это почетные люди... Это всё приятели Хариты Игнатьевны.

О г у д а л о в а. Я ничего не знаю.

К а р а н д ы ш е в. Нет, у вас одна шайка, вы все заодно. Но знайте, Харита Игнатьевна, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники — злодеи, и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься от стыда и отчаяния, или мстить, так уж я буду мстить. Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости; только злоба лютая и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока не убьют меня самого. (Схватывает со стола пистолет и убегает.)

О г у д а л о в а. Что он взял-то?

И в а н. Пистолет.

О г у д а л о в а. Беги, беги за ним, кричи, чтоб остановили.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЛИЦА:

П а р а т о в.
К н ъ р о в.
В о ж е в а т о в.
Р о б и н з о н.
Л а р и с а.
К а р а н д ы ш е в.
И л ь я.
Г а в р и л о.
И в а н.
Ц ы г а н е и ц ы г а н к и.

Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Р о б и н з о н с мазиком в руках и И в а н выходят из кофейной.

И в а н. Мазик-то пожалуйста!

Р о б и н з о н. Не отдам. Ты играй со мной! Отчего ты не играешь?

И в а н. Да как же играть с вами, когда вы денег не платите!

Р о б и н з о н. Я после отдам. Мои деньги у Василья Данилыча, он их увез с собой. Разве ты не веришь?

И в а н. Как же вы это с ними на пикник не поехали?

Р о б и н з о н. Я заснул; а он не посмел меня беспокоить, будить, ну, и уехал один. Давай играть!

И в а н. Нельзя-с, игра не равна: я ставлю деньги, а вы нет; выигрываете — берете, а проигрываете — не отдаете. Ставьте деньги-с!

Р о б и н з о н. Что ж, разве мне кредиту нет? Это странно! Я первый город такой вижу; я везде по всей России все больше в кредит.

И в а н. Это я очень верю-с. Коли спросить чего угодно, мы подадим; зная Сергея Сергеевича и Василья Данилыча, какие они господа, мы обязаны для вас кредит сделать-с; а игра денег требует-с.

Р о б и н з о н. Так бы ты и говорил. Возьми мазик и дай мне бутылку... чего бы?..

И в а н. Портвейн есть недурен-с.

Р о б и н з о н. Я ведь дешевого не пью.

И в а н. Дорогого подадим-с.

Р о б и н з о н. Да вели мне приготовить... знаешь, этого... как оно...

Иван. Дупелей зажарить можно; не прикажете ли?

Робинзон. Да, вот именно дупелей.

Иван. Слушаю-с. (Уходит.)

Робинзон. Они пошутить захотели надо мной; ну, и прекрасно, и я пошучу над ними. Я с огорчения задолжаю рублей двадцать, пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно — ошибаются; мне только бы кредит; а то я и один не соскучусь, я и solo могу разыграть очень веселое. К довершению удовольствия, денег бы занять...

Входит Иван с бутылкой.

Иван (ставит бутылку). Дупеля заказаны-с.

Робинзон. Я здесь театр снимаю.

Иван. Дело хорошее-с.

Робинзон. Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли?

Иван. Отчего не взять-с!

Робинзон. Только у меня — чтоб содержать исправно! И, для верности, побольше задатку сейчас же!

Иван. Нет, уж он учен, задатку не дает: его так-то уж двое обманули.

Робинзон. Уж двое? Да, коли уж двое...

Иван. Так третьему не поверит.

Робинзон. Какой народ! Удивляюсь. Везде поспевают; где только можно взять, все уж взято, непочатых мест нет. Ну, не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то он подумает, что и я хочу обмануть; а я горд.

Иван. Да-с, оно конечно... А как давеча господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали! Очень гневались, даже убить кого-то хотели, так с пистолетом и ушли из дому.

Робинзон. С пистолетом? Это нехорошо.

Иван. Хмельненьки были; я полагаю, что это у них постепенно пройдет-с. Они по бульвару раза два проходили... да вон и сейчас идут.

Робинзон (оробев). Ты говоришь, с пистолетом? Он кого убить-то хотел — не меня ведь?

Иван. Уж не могу вам сказать. (Уходит.)

Входит Карандышев, Робинзон старается спрятаться за бутылку.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Робинзон, Карандышев, потом Иван.

Карандышев (*подходит к Робинзону*). Где ваши товарищи, господин Робинзон?

Робинзон. Какие товарищи? У меня нет товарищей.

Карандышев. А те господа, которые обедали у меня с вами вместе?

Робинзон. Какие же это товарищи? Это так... мимолетное знакомство.

Карандышев. Так не знаете ли, где они теперь?

Робинзон. Не могу сказать, я стараюсь удалиться от этой компании; я человек смирный, знаете ли... семейный...

Карандышев. Вы семейный?

Робинзон. Очень семейный... Для меня тихая семейная жизнь выше всего; а неудовольствие какое или ссора — это боже сохрани; я люблю и побеседовать, только чтоб разговор умный, учтивый, об искусстве, например... Ну, с благородным человеком, вот как вы, можно и выпить немножко. Не прикажете ли?

Карандышев. Не хочу.

Робинзон. Как угодно. Главное дело, чтобы неприятности не было.

Карандышев. Да вы должны же знать, где они.

Робинзон. Кутят где-нибудь: что ж им больше-то делать!

Карандышев. Говорят, они за Волгу поехали?

Робинзон. Очень может быть.

Карандышев. Вас не звали с собой?

Робинзон. Нет; я человек семейный.

Карандышев. Когда же они воротятся?

Робинзон. Уж это они и сами не знают, я думаю. К утру вернутся.

Карандышев. К утру?

Робинзон. Может быть, и раньше.

Карандышев. Все-таки надо подождать; мне кой с кем из них объясниться нужно.

Робинзон. Коли ждать, так на пристани; зачем они сюда пойдут! С пристани они прямо домой проедут. Чего им еще? Чай, и так сыты.

Карандышев. Да на какой пристани? Пристаней у нас много.

Робинзон. Да на какой угодно, только не здесь; здесь их не дождетесь.

К а р а н д ы ш е в. Ну, хорошо, я пойду на пристань. Прощайте! (*Подает руку Робинзону.*) Не хотите ли проводить меня?

Р о б и н з о н. Нет, помилуйте, я человек семейный.

К а р а н д ы ш е в уходит.

Иван, Иван!

Входит И в а н.

Накрой мне в комнате и вино перенеси туда!

И в а н. В комнате, сударь, душно. Что за неволя!

Р о б и н з о н. Нет, мне на воздухе вечером вредно; доктор запретил. Да если этот барин спрашивать будет, так скажи, что меня нет. (*Уходит в кофейную.*)

Из кофейной выходит Г а в р и л о.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г а в р и л о и И в а н.

Г а в р и л о. Ты смотрел на Волгу? Не видать наших?

И в а н. Должно быть, приехали.

Г а в р и л о. Что так?

И в а н. Да под горой шум, эфиопы загалдели. (*Берет со стола бутылку и уходит в кофейную.*)

Входит И л ь я и х о р ц ы г а н.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г а в р и л о, И л ь я, ц ы г а н е и ц ы г а н к и.

Г а в р и л о. Хорошо съездили?

И л ь я. И, хорошо! Так хорошо, не говори!

Г а в р и л о. Господа веселы?

И л ь я. Разгулялись, важно разгулялись, дай бог на здоровье! Сюда идут; всю ночь, гляди, прогуляют.

Г а в р и л о (*потирая руки*). Так ступайте, усаживайтесь! Женщинам велю чаю подать, а вы к буфету — закусите!

И л ь я. Старушкам к чаю-то ромку вели — любят.

И л ь я, ц ы г а н е, ц ы г а н к и, Г а в р и л о уходят в кофейную. Входят К н у р о в и В о ж е в а т о в.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

К н у р о в и В о ж е в а т о в.

К н у р о в. Кажется, драма начинается.

В о ж е в а т о в. Похоже.

К н у р о в. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел.

В о ж е в а т о в. Да ведь у них дешевы.

К н у р о в. Как хотите, а положение ее незавидное.

В о ж е в а т о в. Дело обойдется как-нибудь.

К н у р о в. Ну, едва ли.

В о ж е в а т о в. Карандышев посердится немножко, поломается, сколько ему надо, и опять тот же будет.

К н у р о в. Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы подумайте: Сергей Сергеич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеича; иначе зачем он ей!

В о ж е в а т о в. Так вы думаете, что тут не без обмана, что он опять словами поманил ее?

К н у р о в. Да непременно. И, должно быть, обещания были определенные и серьезные; а то как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее!

В о ж е в а т о в. Мудреного нет; Сергей Сергеич ни над чем не задумается: человек смелый.

К н у р о в. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет.

В о ж е в а т о в. Еще бы! что за расчет!

К н у р о в. Так посудите, каково ей, бедной!

В о ж е в а т о в. Что делать-то! мы не виноваты, наше дело сторона.

На крыльце кофейной показывается Р о б и н з о н.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

К н у р о в, В о ж е в а т о в и Р о б и н з о н.

В о ж е в а т о в. А, милорд! Что во сне видел?

Р о б и н з о н. Богатых дураков; то же, что и наяву вижу.

В о ж е в а т о в. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?

Р о б и н з о н. Превосходно. Живу в свое удовольствие и притом в долг, на твой счет. Что может быть лучше!

В о ж е в а т о в. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью?

Робинзон. Да ты чудак, я вижу. Ты подумай: какой же мне расчет отказываться от таких прелестей!

Вожеватов. Что-то я не помню: как будто я тебе открытого листа не давал?

Робинзон. Так ты в Париж обещал со мной ехать — разве это не все равно?

Вожеватов. Нет, не все равно! Что я обещал, то исполню; для меня слово — закон, что сказано, то свято. Ты спроси: обманывал ли я кого-нибудь?

Робинзон. А покуда ты собираешься в Париж, не воздухом же мне питаться?

Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас.

Робинзон. Теперь поздно; поедem, Вася, завтра.

Вожеватов. Ну, завтра так завтра. Послушай, вот что: поезжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед.

Робинзон. Как один? Я дороги не найду.

Вожеватов. Довезут.

Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно... Хочу выучиться, да все времени нет.

Вожеватов. Да зачем тебе французский язык?

Робинзон. Как же, в Париже да по-французски не говорить?

Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили! Что ты меня за дурака, что ли, считаешь?

Вожеватов. Да какая столица! Что ты, в уме ли? О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть «Париж», вот я куда хотел с тобой ехать.

Робинзон. Браво, браво!

Вожеватов. А ты полагал, в настоящий? Хоть бы ты немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя! Ну, зачем я тебя туда возьму, с какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя?

Робинзон. Хорошей ты школы, Вася, хорошей; серьезный из тебя негодник выйдет.

Вожеватов. Да ничего; я стороной слышал, одобряют.

Кнуров. Василий Данилыч, оставьте его! Мне нужно вам сказать кой-что.

Вожеватов (подходя). Что вам угодно?

Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким

людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.

Робинзон прислушивается.

Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?

Кнуров. Да, пожалуй, если угодно: это одно и то же.

Вожеватов. Так за чем же дело стало? Кто мешает?

Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь; а все-таки неловко, беспокойно; гораздо лучше, когда поле чисто.

Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменыч!

Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь.

Вожеватов. Да вот, лучше всего. *(Вынимает из кармана монету и кладет под руку.)* Орел или решетка?

Кнуров *(в раздумье)*. Если скажу: орел, так проиграю; орел, конечно, вы. *(Решительно.)* Решетка.

Вожеватов *(поднимает руку)*. Ваше. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке; расходов меньше.

Кнуров. Только, Василий Данилыч, давши слово, держись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать, что значит слово.

Вожеватов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном.

Кнуров. Вон Сергей Сергеич идет с Ларисой Дмитриевной! Войдемте в кофейную, не будем им мешать.

Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную.
Входят Паратов и Лариса.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Лариса и Робинзон.

Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взошла на гору. *(Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.)*

Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж ты, скоро в Париж едешь?

Робинзон. С кем это? С тобой, ля-Серж, куда хочешь, а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежи!

Паратов. Будто? Давно ли ты догадался?

Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян.

Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по

времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век. Но, уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы, для собственного удовольствия, прокатят — на какого Медичиса нападешь. Не отлучайся, ты мне будешь нужен!

Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. (Уходит в кофейную.)

Паратов (Ларисе). Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие — нет, этого мало, — за счастье, которое вы нам доставили.

Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеевич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я — жена ваша или нет?

Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра.

Лариса. Я не поеду домой.

Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем — это еще можно допустить; но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением! Какую пищу вы дадите для разговоров.

Лариса. Что мне за дело до разговоров! С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой.

Паратов. Вы поедете на моих лошадях — разве это не все равно?

Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха, маменька видела, как мы уехали — она не будет беспокоиться, как бы поздно мы ни возвратились... Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать... чтоб благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.

Паратов. Что такое? Что значит: «совсем не являться»? Куда деться вам?

Лариса. Для несчастных людей много простора в божьем мире: вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, на Волге — выбирай любое место. Везде утопиться легко, если есть желание да сил достанет.

Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви, в уважении! Да тот же ваш жених: он будет радехонек, если вы опять его приласкаете.

Лариса. Что вы говорите! Я мужа своего если уж не любить, так хоть уважать должна; а как я могу уважать человека,

который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления! Это дело кончено: он для меня не существует. У меня один жених: это вы.

П а р а т о в. Извините, не обижайтесь на мои слова! Но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне.

Л а р и с а. Что вы говорите! Разве вы забыли? Так я вам опять повторю сначала. Я год страдала, год не могла забыть вас, жизнь стала для меня пуста; я решилась, наконец, выйти замуж за Карандышева, чуть ли не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите: «Брось все, я твой». Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала.

П а р а т о в. Все это прекрасно, и обо всем мы с вами по-толкуем завтра.

Л а р и с а. Нет, сегодня, сейчас.

П а р а т о в. Вы требуете?

Л а р и с а. Требую.

В дверях кофейной видны К н у р о в и В о ж е в а т о в.

П а р а т о в. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна! Вы допускаете мгновенное увлечение?

Л а р и с а. Допускаю. Я сама способна увлечься.

П а р а т о в. Нет, я не так выразился; допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи?

Л а р и с а. Ну, что, же! И хорошо, что он забудет.

П а р а т о в. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю; но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны.

Л а р и с а (задумчиво). Неразрывные цепи! (Быстро.) Вы женаты?

П а р а т о в. Нет.

Л а р и с а. А всякие другие цепи — не помеха! Будем носить их вместе, я разделю с вами эту ношу, бо́льшую половину тяжести я возьму на себя.

П а р а т о в. Я обручен.

Л а р и с а. Ах!

П а р а т о в (показывая обручальное кольцо). Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь.

Л а р и с а. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! (Садится на стул.)

Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь! Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.

Лариса. Поглядите на меня!

Паратов смотрит на нее.

«В глазах, как на небе, светло...» Ха, ха, ха! (Истерически смеется.) Подите от меня! Довольно! Я уж сама об себе подумаю. (Опирает голову на руку.)

Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов Робинзон.

Паратов (подходя к кофейной). Робинзон, поди сыщи мою коляску! Она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой.

Робинзон. Ля-Серж! Он тут, он ходит с пистолетом.

Паратов. Кто «он»?

Робинзон. Карандышев.

Паратов. Так что ж мне за дело!

Робинзон. Он меня убьет.

Паратов. Ну вот, велика важность! Исполни, что приказываю! Без рассуждений! Я этого не люблю, Робинзон.

Робинзон. Я тебе говорю: как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет.

Паратов. Убьет он тебя или нет — это еще неизвестно; а вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж наверное! (Уходит в кофейную.)

Робинзон (грозя кулаком). О варвары, о разбойники! Ну, попал я в компанию! (Уходит.)

Вожеватов подходит к Ларисе.

Лариса (взглянув на Вожеватова). Вася, я погибаю!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что делать-то? Ничего не поделаешь.

Лариса. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные; что мне делать — научи!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы.. я ничего не могу. Верьте моему слову!

Лариса. Да я ничего и не требую от тебя; прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!

Вожеватов. Не могу, ничего не могу.

Лариса. И у тебя тоже цепи?

Вожеватов. Кандалы, Лариса Дмитриевна.

Л а р и с а. Какие?

В о ж е в а т о в. Честное купеческое слово. (*Отходит в кофейную.*)

К н у р о в (*подходит к Ларисе*). Лариса Дмитриевна, выслушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку?

Лариса отрицательно качает головой.

И полное обеспечение на всю жизнь?

Лариса молчит.

Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит; я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону.

Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат.

Лариса молчит.

Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте! Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня, и с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были. Для меня невозможного мало. (*Почтительно кланяется и уходит в кофейную.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Л а р и с а одна.

Л а р и с а. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть. (*Подумав.*) Вот хорошо бы броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь... Да, это лучше... в беспамятстве, ни боли... ничего не будешь чувствовать! (*Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает.*) Ой, ой! Как страшно! (*Чуть не падает, хватается за беседку.*) Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! (*Садится у стола подле беседки.*) Ох, нет... (*Сквозь слезы.*) Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот

и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя; их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? (*Задумывается.*) Ах, нет, нет... не Кнуров... роскошь, блеск... нет, нет... я далека от суеты... (*Вздвинув.*) Разврат... ох, нет... Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь... Как хорошо умереть... пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть... Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть... Ах, как дурно, как кружится голова. (*Подпирает голову рукой и сидит в забытьи.*)

Входят Робинзон и Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Лариса, Робинзон и Карандышев.

Карандышев. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой?

Робинзон. Да-с, велено.

Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее?

Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее?

Карандышев. Она сама виновата: ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди; наконец она сама могла, она имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, а тем более оскорблять. Это уж мое дело: прощу я ее или нет; но защитником ее я обязан явиться. У ней нет ни братьев, ни близких; один я, только один я обязан вступить за нее и наказать оскорбителей. Где она?

Робинзон. Она здесь была. Вот она!

Карандышев. При нашем объяснении посторонних не должно быть; вы будете лишний. Оставьте нас!

Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться! (*Уходит в кофейную.*)

Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лариса и Карандышев.

Лариса (*поднимая голову*). Как вы мне противны, кабы вы знали! Зачем вы здесь?

Карандышев. Где же быть мне?

Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.

Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отомстить за ваше оскорбление.

Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.

Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жеребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку — и это не оскорбление? Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас как на женщину, как на человека, — человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, — это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может.

Лариса (*глубоко оскорбленная*). Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (*С горячностью*.) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!

Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставляю, на кого я вас оставляю?

Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину

Карандышев (*с жаром*). Я беру вас, я ваш хозяин. (*Хватает ее за руку*.)

Лариса (*оттолкнув его*). О, нет! Каждой вещи своя цена есть.. Ха, ха, ха... Я слишком дорога для вас.

Карандышев. Что вы говорите! мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?

Лариса (*со слезами*). Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: подите пошлите ко мне Кнурова.

Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!

Лариса. Ну, так я сама пойду.

Карандышев. Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю, я все прощаю.

Лариса (*с горькой улыбкой*). Вы мне прощаете? Благо-

дарю вас. Только я-то себя не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы.

К а р а н д ы ш е в. Уедемте, уедемте сейчас из этого города, я на все согласен.

Л а р и с а. Поздно. Я вас просила взять меня поскорей из цыганского табора, вы не умели этого сделать; видно, мне жить и умереть в цыганском таборе.

К а р а н д ы ш е в. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня!

Л а р и с а. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты.

К а р а н д ы ш е в. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас.

Л а р и с а (с отвращением). Подите, вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня.

К а р а н д ы ш е в. Скажите же, чем мне заслужить любовь вашу? (Падает на колени.) Я вас люблю, люблю.

Л а р и с а. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла... ее нет на свете... нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

К а р а н д ы ш е в (вставая). О, не раскайтесь! (Кладет руку за борт сюртука.) Вы должны быть моей.

Л а р и с а. Чьей ни быть, но не вашей!

К а р а н д ы ш е в (запальчиво). Не моей?

Л а р и с а. Никогда.

К а р а н д ы ш е в. Так не доставайся ж ты никому! (Стреляет в нее из пистолета.)

Л а р и с а (хватаясь за грудь). Ах! Благодарю вас! (Опускается на стул.)

К а р а н д ы ш е в. Что я, что я... ах, безумный! (Роняет пистолет.)

Л а р и с а (нежно). Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама... сама. Ах, какое благодеяние!.. (Поднимает пистолет и кладет на стол.)

Из кофейной выходят П а р а т о в, К н у р о в, В о ж е в а т о в, Р о б и н з о н, Г а в р и л о и И в а н.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов,
Робинзон, Гаврило и Иван.

Все. Что такое, что такое?

Лариса. Это я сама... Никто не виноват, никто... Это я сама.

За сценой цыгане запевают песню.

Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать!

Лариса *(постепенно слабеющим голосом)*. Нет, нет, зачем... Пусть веселятся, кому весело... Я не хочу мешать никому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо... умереть... Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю. *(Посылает поцелуй.)*

Громкий хор цыган.



Комментарии

И. С. ТУРГЕНЕВ

(1817—1883)

Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле. Его мать, Варвара Петровна Лутовинова, происходила из старинной дворянской семьи. Отец, Сергей Николаевич Тургенев,— блестящий гвардейский офицер. Детские годы Тургенева прошли в Спасском — имении, унаследованном матерью. Учился Тургенев в частных пансионах в Москве, а затем, в 1833 году, поступил на словесное отделение Московского университета, но в 1834 году перевелся в Петербургский университет на филологическое отделение философского факультета, который и окончил со степенью кандидата. С 1838 по 1839 год слушал лекции в Берлинском университете. После кратковременного пребывания в Петербурге он отправился в заграничное путешествие в Италию и поселился в Риме, затем посетил Швейцарию и Германию. В 1841 году Тургенев закончил Берлинский университет и в 1842 году сдал в Петербургском университете экзамены на степень магистра философии и снова отправился за границу. Недолгое время писатель служил в канцелярии министерства иностранных дел. В 1843 году он познакомился со знаменитой певицей Полиной Виардо, приехавшей на гастроли в Россию.

Литературная деятельность Тургенева началась в 1840-е годы поэтическими произведениями. Особенное внимание привлекла поэма Тургенева «Параша», высоко оцененная Белинским. Тургенев в это время тесно сближается с передовыми литературными кругами и выступает в русле натуральной школы, теоретические принципы которой отстаивал Белинский. В 1846 году в «Петербургском сборнике» Некрасова опубликованы повесть Тургенева «Три портрета» и поэма «Помещик». Широкая известность пришла к писателю в 1847 году, когда в «Современнике» появился рассказ «Хорь и Калиныч», открывший цикл «Записки охотника». Сам Тургенев в ту пору находился в Германии, а затем переехал во Францию, где оказался свидетелем в 1848 году революционных событий и сблизился с А. И. Герценом. С 1850 по 1860 год жил то в России, то за границей. Все произведения Тургенева печатались в «Современнике».

Там появились его романы принесшие ему всемирную известность. В 1859 году писатель порывает с «Современником» и печатается в «Русском вестнике», «Библиотеке для чтения», «Эпохе». После 1864 года поселяется за границей и лишь изредка наезжает в Россию. Однако тесные контакты с родиной он не прерывает, интересуется революционной молодежью, знакомится с выдающимися народниками, пристально всматривается в жизнь русского общества, пропагандирует за границей русскую культуру. Активную общественную деятельность Тургенев ведет не только на чужбине, но в последние годы своей жизни и в России. Умер он близ Парижа, в Буживале; похоронен в Петербурге. Горячий патриот, Тургенев всеми мыслями и чувствами стремился содействовать прогрессу своей отчизны. Ее историческая жизнь с 1840-х годов и по 1880-е отражена в его многочисленных романах и других замечательных произведениях.

«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Из 25 рассказов и очерков, составивших первое по времени большое произведение И. С. Тургенева, в данное издание вошло 12. Над «Записками охотника» Тургенев начал работать в пору наибольшей идейной близости к Белинскому. 21 очерк был опубликован в лучшем журнале второй половины 1840-х годов — «Современнике». В 1852 году вышло отдельное издание «Записок охотника», включившее 22 рассказа. В дальнейшем они дополнились тремя произведениями. «Записки охотника» были чрезвычайно высоко оценены передовой русской и зарубежной критикой и стали одним из самых читаемых и почитаемых гуманистических произведений нашей литературы.

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Когда возник замысел рассказа, точно неизвестно. Предполагают, что он окончен в ноябре 1846 года. В рассказе отразились реальные жизненные впечатления Тургенева, места, события и люди, с которыми писатель встречался на охоте. Так, например, прототипом Хоря был крепостной крестьянин. Как вспоминал впоследствии редактор-издатель газеты «Утро» И. А. Баталин, он лично знал Хоря и утверждал, что Хоря — «крепостного крестьянина, выслившегося из общины» — хорошо знали в Жиздринском и Болховском уездах. Тот же И. А. Баталин сообщал, что Хорь, которому Тургенев прислал свой рассказ, «с гордостью перечитывал его каждому гостю». В начале 1860-х годов с Хорем познакомился А. А. Фет. «Я,— писал он,— ночевал у самого Хоря». Прототипом Полутыкина послужил помещик Калужской губернии Н. А. Голофеев, который узнал себя и очень обиделся на писателя.

К о м у с л у ч а л о с ь и з Б о л х о в с к о г о у е з д а... в Ж и з д р и н с к и й...— Болховский и Жиздринский уезды находились соответственно в Орловской и Калужской губерниях. В Жиздринском уезде Тургенев владел семью деревнями, доставшимися ему в наследство после смерти матери и раздела с братом. Крестьяне этих деревень за плату, вдвое меньшую по сравнению с принятой в уезде, были отпущены Тургеневым на оброк.

Х в а л и л с о ч и н е н и я А к и м а Н а х и м о в а и п о в е с т ь П и н н у...— А. Н. Нахимов (1783—1815) — русский поэт-сатирик; «П и н н а» — повесть незначительного писателя М. А. Маркова (1810—1876), подражавшего А. А. Бестужеву-Марлинскому; повести М. А. Маркова подверглись уничтожающим насмешкам Белинского.

С к л а д е г о л и ц а н а п о м и н а л С о к р а т а...— Сократ (469—399 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ.

К т о б е з б о р о д ы ж и в е т, т о т Х о р ю и н á б о л ь ш и й.— Хорь, освободившись от крепостной неволи, боится зависеть от чиновников (по указу от 2 апреля 1837 года чиновникам запрещалось носить бороду и усы).

З а м а ш к и — домотканый холст или посконная пряжа из конопли.

ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ

Рассказ был написан, по-видимому, в марте—апреле 1847 года. Прототипом послужил реальный человек с той же фамилией. В образе «дедушки» отразились семейные воспоминания о дяде матери Тургенева Алексее Ивановиче Лутовинове и его самоуправстве. В помещике-славянофиле Любозвонове современники узнавали черты Константина Аксакова.

О д н о д в о р е ц — государственный крестьянин, освобожденный от крепостной зависимости и владевший наделом земли в один двор. Однодворцы имели право на землю и крепостных крестьян, как и помещики, но, подобно крепостным, облагались подушной податью.

Ф е р я з ь — старинная русская одежда.

«С е б о н» — это хорошо (от франц.: «C'est bon»).

О д и н в и н ф а н т е р и и — то есть в пехоте.

...г р а ф а А л е к с е я Г р и г о р ь е в и ч а О р л о в а - Ч е с м е н с к о г о.— А. Г. Орлов (1737—1807) — екатерининский вельможа, военный и государственный деятель; за победу над турецким флотом в Чесменской бухте (1770) удостоился почетного добавления к фамилии: Чесменский.

...п о с л у ч а ю р а з м е ж е в а н и я.— В 1836 году были созданы специальные посреднические комиссии с целью размежевать земли помещиков, а также собрать воедино разрозненные и разбросанные крестьянские наделы, чтобы приблизить их к деревням. Помещики всячески сопротивлялись деятельности комиссий. В Орловской губернии размежевание затянулось до 1884 года.

Х о д и т б а р и н в п л и с о в ы х п а н т а л о н а х, с л о в н о к у ч е р, а с а п о ж к и о б у л с о т о р о ч к о й; р у б а х у к р а с н у ю н а д е л и к а ф т а н т о ж е к у ч е р с к о й; б о р о д у о т п у с т и л, а н а г о л о в е т а к а ш а п о н ь к а м у д р е н а я, и л и ц о т а к о е м у д р е н о е—п ь я н, н е п ь я н, а н е в с в о е м у м е.— Сатирическое изображение внешнего вида славянофилов, рядившихся в старинную русскую одежду; плисовые панталоны — из бумажного бархата на льняной основе; сапожки... с оторочкой — голенища сапог, отороченные красным сафьяном; красная рубаша — косоворотка красного цвета с застежкой на левом плече; кафтан... кучерской — из синего сукна особого покроя; шапонька

м у д р е н а я — мурмолка (плоская меховая или бархатная шапка; часто упоминается в народных сказках и песнях). А. И. Герцен в «Былом и думах» писал, что славянофилы хотели возвратиться «к старинным неуклюжим костюмам». «Во всей России,— продолжал он,— кроме славянофилов, никто не носит мурмолок. К. С. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев».

В с л у х к а н т ы п р о и з н о с и т ь...— К а н т ы — здесь: стихотворения на торжественные случаи (от лат.: canto — пою).

С б е с с р о ч н ы м и — то есть с крестьянами, освобожденными по болезни или по другим причинам от военной службы на неопределенный срок, до особого призыва.

А ф р а н ц ю з я т о п и м...— Эпизод несостоявшегося потопления Леже-ня сопоставлен Герценом в «Былом и думах» с принудительным купаньем французского шпиона в лондонском Гайд-парке. «Вот как,— писал Герцен,— повторилось через пятьдесят лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское «французья топим».

ЛЪГОВ

Рассказ написан, по-видимому, во второй половине февраля — начале марта 1877 года. Большое село Льгов находилось всего в четырех верстах от села Тургенево, принадлежавшего отцу писателя. Однако расположено оно не на берегу Росоты, а на реке Вытебеть. До наших дней сохранилась упоминаемая Тургеневым церковь. На кладбище есть и могила графа Бланжия, но основной стихотворной надписи послужила эпитафия с другого надгробия (Николаю Этьену на кладбище села Спасского). Предполагают, что автором текста был основатель Спасского-Лутовинова Н. И. Лутовинов (1753—1813).

...п а н т а л о н а х ц в е т а г р и - д е - л е н ь и л и б л ё - д - а м у р...— французские названия оттенков серого цвета — розовато- и голубовато-серого (от франц. слов: gris de lin и bleu-d'amour).

С у б т и л ь н ы й — тонкий, нежный, кажущийся совсем хрупким.

Н а ч а л в ы к и д ы в а т ь р у ж ь е м а р т и к у л - с.— А р т и к у л — ружейный прием (устар.).

...а т о и в к о ф и ш е н к и п о п а л.—Искаженное «кофишенк» (от нем.: Kaffeeschenk) — придворный чин смотрителя за кофеем, чаем, шоколадом и пр.

Ф а л е т е р о м б ы л... а т о и д о е з ж а ч и м.— Ф а л е т е р — искаженное «фореитор» — верховой на одной из передних лошадей при езде цугом (то есть запряжкой лошадей гуськом); д о е з ж а ч и й — старший псарь, ведающий борзыми и гончими на охоте.

БЕЖИН ЛУГ

Замысел рассказа возник в августе—сентябре 1850 года, а написан рассказ в начале 1851 года. Места, описанные Тургеневым, реально существовали. Бежин луг находится в 13 верстах от Спасского-Лутовинова, там же были и Парахинские кусты. Невдалеке от родового гнезда Тургенева помещались

деревни Варнавицы и Шаламово. Упомянутый в рассказе пруд считался крестьянами «нечистым».

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Замысел рассказа относится, вероятно, к концу 1850 года, а работал над ним Тургенев в январе—феврале 1851 года. В «Касьяне с Красивой Мечи» отразилось знакомство Тургенева с народной крестьянской идеологией в ее религиозно-сектантском обличье (в частности, с сектой «бегунов»). Сектантство привлекло Тургенева тем, что в религиозной оболочке представала враждебность крестьян существующему тогда режиму, в котором они не видели «правды» и «справедливости». На этом основании они отрицали все институты самодержавного порядка: православную церковь, брак, собственность, денежную систему. Переводчик «Записок охотника» на французский язык И. Делаво, пользовавшийся, как полагают, указаниями самого Тургенева, комментировал, например, нежелание Касьяна говорить о своей родне следующим образом: «Сектанты не признают авторитета официальной церкви, и естественно, что браки, которые они заключают между собою, рассматриваются властью как незаконные. Поэтому они не любят говорить о своей семье посторонним; постоянные преследования, которым они подвергаются, сделали их очень подозрительными». Касьян в рассказе Тургенева не занят крестьянским трудом, проникнут любовью ко всему живому, полон поэтических мечтаний о счастливой стране, социальном «рае».

Красивая Меча (Мечь) — река в Тульской губернии, приток Дона. На берегу Красивой Мечи находилось село Кадное Меньшее, которое принадлежало матери Тургенева, а затем ему.

На передней грядке — на переднем крае кузова телеги; **грядки** — две продольные жерди, сверху и снизу, образующие боковые края кузова и соединенные с концом вязками; в грядки вдавливаются дуги.

Птица Гамаян — сказочная вешая райская птица с человеческим лицом.

БУРМИСТР

Рассказ был начат, вероятно, в апреле и окончен к началу сентября 1847 года. К рассказу, высоко оцененному современной Тургеневу критикой, дважды обращался В. И. Ленин (статьи «Внутреннее обозрение» и «Памяти графа Гейдена»).

Бурмистр — управляющий из крепостных крестьян, назначаемый помещиком.

«Вечного жид» едва осилил... — роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857) «Вечный жид» в 1844—1845 годах выходил отдельными томами и пользовался успехом.

Объявляет себя поклонником Эпикура — то есть человеком, видящим смысл жизни в удовольствиях и наслаждениях; **Эпикур** (341—270 гг. до н. э.) — греческий философ.

Из Лючин и Сомнамбулы тоже иное помнит.— «Лючия ди Ламмермур» (1835) — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797—1848); «Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835). В России были популярны и входили в репертуар итальянской труппы в Петербурге.

Доморощенного Карема — то есть повара; Карем (Marie Antoine Carême) — знаменитый французский повар, служивший сначала у Талейрана, а затем при австрийском и русском императорских дворах.

...в клетчатых паневах... — в юбках.

Третьего дня сказку подписали.— Здесь: письменное свидетельство размежевания; сказка — реестр, опись, список.

Земский — здесь: писарь или помещик при бурмистре.

Что ж, купите... на мое имя... — Крестьяне не имели права на земельную собственность и поэтому могли купить землю только на имя помещика. Но, оформленная на Пеночкина, она фактически становилась его владением. Недаром Тургенев пишет: «На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал».

БИРЮК

Тургенев работал над рассказом с августа по ноябрь 1847 года. В этом рассказе также описываются реальные места: недалеко от Спасского-Лутовинова, близ оврага Кобылий верх, стояла когда-то избушка лесника.

...«как в море челнок» — цитата из баллады М. Ю. Лермонтова «Три пальмы»:

И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.

ДВА ПОМЕЩИКА

Рассказ задуман, по-видимому, в апреле—июне, а закончен к ноябрю 1847 года.

Иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина.— Тургенев иронически перефразировал пушкинские стихи («Евгений Онегин», гл. 8, строфа LI):

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Бабы носят кокошники... — только сверху кичек.— Кичка (кика) — женский головной убор.

«Journal des Débats» — ежедневная парижская газета; в 1789 году.

Кисейные рукава надевает — то есть из тонкой и редкой ткани.

Купил... у Бутенопа... молотильную машину.— Братья

Б у т е н о п в 1832 году основали в Москве завод земледельческих орудий и машин.

С а ж а л к и даже нету.— С а ж а л к а — колдобина, водой, или небольшой искусственный прудик.

«В о т о н а, с т а р а я - т о Р у с ь!» — Эти слова явно метили в славянофилов.

ПЕВЦЫ

Рассказ написан в августе—сентябре 1850 года. Прототип Якова Турка — Яков Пасынков, работавший на бумажной фабрике Н. С. Тургенева, брата писателя. Сельский учитель, бывший крепостной Тургенева, А. И. Замятин вспоминал, что прозвище свое — «Турок» — он получил потому, что был сыном пленной турчанки.

Н е б о л ь ш о е с е л ь ц о К о л о т о в к а...— Село с таким названием находилось недалеко от села Тургенева.

...п о м е щ и ц е... п р о з в а н н о й С т р ы г а н и х о й.— Прозвище помещицы происходит от слов «строгать» и «стричь» (отдавать в солдаты).

Ц е л о в а л ь н и к — продавец вина в питейных домах и кабаках (устар.).

В к р а с н о м т о в а р е.— К р а с н ы й т о в а р — то есть товар, продаваемый не поштучно, а в линейной мере (ткани, например).

В о ф р и з о в о й ш и н е л и — то есть из толстой, ворсистой байки.

С у к о н н а я ч у й к а — суконный кафтан халатного покроя.

Р я д ч и к — мелкий подрядчик, занимающийся не производством работ, а лишь поставкой рабочих.

О с ь м у х у п и в а п о с т а в и л и — то есть восьмую долю ведра.

В с е « л о т о ш и л » — то есть болтал, бойко, бестолково, по-бабьи молил языком; спешил, торопился, суетился, хлопотал по-пустому.

Р а с с к а ж у я, м о л о д а - м о л о д е н ь к а...— русская народно-лирическая песня с плясовым припевом; более известна с другим зачином: «Я посею, млада-младенька...»; П. И. Чайковский положил мелодию этой песни в основу финала Первой симфонии.

Ф о ф а н — простак, простофиля, глупец.

«Н е о д н а в о п о л е д о р о ж е н ь к а п р о л е г а л а» — знаменитая русская народно-лирическая песня. По воспоминаниям Л. А. Жемчужникова, Тургенев устроил песенное соревнование между ним (мемуаристом) и художником К. А. Горбуновым, который в числе других песен исполнял и «Дороженьку».

ЛЕС И СТЕПЬ

Закрывающий «Записки охотника» рассказ был задуман в апреле—июне 1847 года, а написан в ноябре—декабре 1848 года. Стихотворный эпиграф принадлежит Тургеневу.

...f ü r s i c h — буквально: для себя.

О т ь е з ж е е п о л е — уголье для псовой охоты на длительный срок.

Д р а х в ы — дрофы, степные птицы величиной с индейку, из породы журавлиных.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Роман был задуман писателем в августе 1860 года, а закончен 30 июля 1861 года. Напечатан в 1862 году, и тогда же вышло его отдельное издание с посвящением В. Г. Белинскому. Прототипом Базарова послужил некий доктор Д., как о том писал сам Тургенев в статье «По поводу «Отцов и детей»: «В основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма». Но конечно, писатель дополнил свои наблюдения и другими «подобными ему (доктору Д.; предполагают — уездному врачу Дмитриеву) лицами». О Николае Петровиче и Павле Петровиче Кирсановых Тургенев высказался в одном из писем: «...Николай Петрович — это я, Огарев и тысячи других; Павел Петрович — Столыпин, Есаков, Россет — тоже наши современники. Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность». Роман создавался в пору коренной ломки общественных отношений в России, в период подготовки и проведения реформы 1861 года, отменившей крепостное право. В этих условиях столкнулись две общественные силы — либералы и демократы. Их представления о новой России отразились в романе.

Николай Петрович вышел из университета кандидатом. — Низшая ученая степень кандидата присваивалась лучшим воспитанникам университетов, представившим по окончании курса письменную работу на избранную ими тему; учреждена в 1804 и отменена в 1884 году.

Записался в Английский клуб. — Английский клуб — привилегированное собрание, куда допускались только состоятельные и знатные дворяне; в Английском клубе они обменивались политическими новостями, к их услугам были газеты, всевозможные развлечения и пр. Первый Английский клуб в России создан в 1770 году.

«Как грустно мне твое явленье...» — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. VII, строфа II).

Одетый в темный английский сьют. — Сьют — форма короткополой верхней одежды особого фасона, модная во второй половине XIX века.

Толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины. — Николая Петровича Кирсанова заботит предстоящая отмена крепостного права, в связи с чем земледельческий труд приходилось механизировать. Вести о крестьянской реформе уже разлетелись: 3 января 1857 года Александр II под своим председательством основал Секретный комитет, переименованный затем в Главный комитет. В 1858 году по всей России возникли губернские комитеты, в которых готовились проекты Закона об отмене крепостного права. Эти проекты направлялись в редакционные комиссии, составлявшие общий проект закона.

...гамбсовом кресле.— Гамбс — французский мебельщик, живший в Петербурге.

..последний номер *Galignani* — «*Galignani's Messenger*» («Вестник Галиньяни») — ежедневная либеральная газета, издававшаяся в Париже на английском языке. Ее основал в 1864 году Джованни Антонио Галиньяни (1752—1821).

Нигилист... это от слова *nihiil*, ничего.— Слово «нигилист» не выдумано Тургеневым. Оно употреблялось и раньше, но именно Тургенев придал этому слову особый смысловой оттенок. «Нигилист» — разnochинец, представитель демократического лагеря, то есть определенной социальной и политической силы, противоположной либерально-дворянской интеллигенции.

Прежде были гегелисты.— В 1830—1840-е годы русские интеллигенты увлекались философией Фридриха Вильгельма Гегеля (1770—1831).

...тулью его... шляпы — то есть верхнюю часть шляпы, а также шапки, фуражки.

Под навес маркизы.— Маркиза — наружный занавес шатром перед окнами.

Дай вам бог здоровья и генеральский чин — несколько измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5, слова Фамусова).

Либих — Юстус Либих (1803—1873) — знаменитый немецкий химик, создатель учения о минеральных удобрениях.

В пажеском корпусе — то есть в привилегированном военно-учебном заведении для детей генералов и высших сановников (основан в 1759 году в Петербурге).

Однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа.— Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель, выигравший битву у Наполеона при Ватерлоо. Людовик-Филипп (1773—1850) — французский король (1830—1848), в февральскую революцию 1848 года отрекся от престола и бежал в Англию.

В ней пахло... мелиссой — то есть растением, называемым иначе медовкой, пчельником.

И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной?.. — Тургенев, несколько огрубляя, повторяет слова Н. А. Добролюбова в рецензии «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью»: «Мы совестимся представить себе вещи, как они есть; мы непременно стараемся украсить, облагородить их... Кто не убирал розовыми цветами идеализма — простой, весьма понятной склонности к женщине?.. Нет, что ни говорите, а желание поидеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты «имеют резон».

Ермолов — Алексей Петрович Ермолов (1772—1861) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года, бывший затем главнокомандующим русскими войсками на Кавказе.

Разрозненный том Стрельцов Масальского.— Речь

идет о четырехтомном историческом романе «Стрельцы» (1832) русского писателя К. П. Масальского (1802—1861).

«О ж и д а н и е» Ш у б е р т а...— песня «Die Erwartung» австрийского композитора Франца Шуберта (1797—1828).

...П у ш к и н а ч и т а е т... это никуда не годится.— Тургенев полемизировал с резкими высказываниями о Пушкине Добролюбова, который считал, что «класс людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся, весьма малочислен у нас». И подчеркивал: «Говорим это с удовольствием».

Б ю х н е р о в о S t o f f u n d K r a f t.— Имеется в виду сочинение «Материя и сила» немецкого физиолога и вульгарного материалиста Фридриха Карла Христиана Людвиг Б ю х н е р а (1824—1899), появившееся в русском переводе в 1860 году.

...П о м н и т с я, Ц ы г а н е м н е п о п а л и с ь.— Речь идет о поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824).

И в е л и к а в а ж н о с т ь, т а й н ы й с о в е т н и к! — Т а й н ы й с о в е т н и к — один из высших гражданских чинов в царской России; соответствовал военному званию генерал-лейтенанта и морскому — вице-адмирала.

...и п b a r b o u i l l e u r — п а ч к у н, м а з и л а (о плохом художнике).

Н а ш и х у д о ж н и к и в В а т и к а н н и н о г о й.— В а т и к а н (резиденция главы католической церкви папы римского) изобилует ценнейшими памятниками искусства, но русские художники, выступавшие против академизма, игнорировали классические образцы. Создавая самобытное реалистическое искусство, они отрицали подражание итальянским мастерам.

Р а ф а э л я с ч и т а ю т ч у т ь л и н е д у р а к о м.— Р а ф а э л ь С а н т и (1483—1520) — великий итальянский живописец эпохи Возрождения; отзыв о Рафаэле Тургенев слышал от художника Е. С. Сорокина.

V i e i l l i — по-старому.

О т з ы в а л с я с б о л ь ш и м у в а ж е н и е м о Г и з о.— Речь идет об известном французском историке и буржуазном государственном деятеле Франсуа Пьере Гийоме Г и з о (1787—1874).

Г о т о в я с ь и д т и н а в е ч е р к г о с п о ж е С в е ч и н о й, ж и в ш е й т о г д а в П е т е р б у р г е, п р о ч и т ы в а л и п о у т р у с т р а н и ц у и з К о н д и л ь я к а...— Софья Петровна Свечина (1782—1859) — писательница, жившая преимущественно в Париже; ее произведения, проникнутые мистикой, вышли в 1860 году и широко обсуждались в дворянских кругах. Этьенн де Бонно К о н д и л ь я к (1765—1780) — французский просветитель и философ-сенсуалист, оказавший влияние на развитие материализма. Сопоставление сочинений Свечиной и Кондильяка намеренно иронично: «государственные мужи Александровского времени» утром читали материалистические сочинения, чтобы вечером принять участие в мистических прениях.

Ш л а ф р о к — халат.

...п р о з в а л и Б у р д а л у — то есть именем французского проповедника Луи Б у р д а л у (1632—1704), проповеди которого на русский язык были переведены в начале XIX века.

...н а з ы в а я и х б р а т ь я м и К а й с а р о в ы м и.— Б р а т ь я А. С.

и М. С. К а й с а р о в ы — известные литераторы начала XIX века, входили в «Дружеское литературное общество», причем А. С. Кайсаров примыкал к его радикальной, а М. С. Кайсаров — к умеренной группе, хотя оба выступали против крепостного права. Сравнение Базарова и Кирсанова с братьями Кайсаровыми не лишено иронии. Губернатор живет стародавними представлениями и совершенно отрешен от современных потребностей.

...п о о т к у п а м.— Речь идет о винных откупах; царская казна продавала на срочное пользование одному лицу или обществу право продажи вина, приносящее и ей и откупщикам крупные доходы.

Нечто вроде поддевки или пальто-сака.— Поддевка — полукафтан или кафтан без рукавов; пальто-сак — один из фасонов пальто; короткое пальто.

Чего ты пружишься? — то есть ломаешься (неестественно себя ведешь).

К и с л я к о в — вероятно, вымышленная фамилия.

«Московские ведомости» — газета, издававшаяся с 1756 по 1917 год.

Ж о р ж С а н д — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804—1876).

Э м е р с о н.— Речь идет о Рольфе Уолдо Эмерсоне (1803—1882) — американском писателе и философе-идеалисте.

Е л и с е е в и ч — намек на сотрудника «Современника» Г. З. Елисеева (1821—1891). Возможно, что слово «Елисеевич» скрывает каламбур: «еле сеять». В таком случае прозвище Елисеевич обнаруживает и другие смысловые оттенки: в нем контрастируют удалство сказочного героя (Елисей), что соответствует критической деятельности Елисеева, подвергавшего лихим наскокам творчество русских писателей, и малые плоды этой деятельности («еле сеять»). Высказано предположение, что в прозвище Елисеевич контаминированы две фамилии: Елисеев и Антонович (М. А. Антонович (1835—1918) — русский критик).

П а т ф а й н д е р К у п е р а.— П а т ф а й н д е р (следопыт) — герой романов «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикиан» американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851).

Б у н з е н.— Немецкий химик Роберт Вильгельм Бунзен (1811—1899) с 1852 по 1889 год был профессором Гейдельбергского университета.

...м н е н и е П р у д о н а.— Французский публицист, социолог и экономист Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) был противником женской эмансипации, утверждая, что назначение женщины — материнство и домашнее хозяйство.

М а к о л е й.— Речь идет об английском историке Томасе Бабингтоне Маколее (1800—1859).

Д о м о с т р о й — русский письменный памятник XVI века, представляющий собой свод правил общественного, религиозного и семейно-бытового поведения. Впоследствии понятие «домострой» стало нарицательным, обозначая суровый и грубый бытовой уклад.

...п р о ч т и т е л у ч ш е к н и г у М и ш л е: D e l' a m o u r.— Книга

французского историка Жюль Мишле (1798—1874) была напечатана в 1859 году.

...романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гренада». — Имеется в виду романс композитора Сеймур-Шиффа «Ночь в Гренаде» на слова К. А. Тарновского (последние строки из романа переданы Тургеневым неточно). Сеймур-Шифф гастролировал в России и выступал со своими импровизациями на темы «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы».

...на Бедлам похоже — то есть на сумасшедший дом. Бедлам — от слова *Bethlehem* — дом умалишенных в Лондоне.

...безо всякой кринолины — то есть без обычного бального туалета, часть которого состояла из широкой юбки колоколом на тонких обручах.

...легкие ветки фуксий. — Фуксия — декоративное растение с яркими, преимущественно красными цветками.

Живописью *à l' fresco* — то есть фресковой живописью; название возникло от способа написания водяными красками по еще влажному «свежему» (*fresco* — свежий) цементному покрову стен, сводов и потолков.

Сперанский. — Михаил Михайлович Сперанский (1772—1830) — русский государственный деятель и автор проектов реформ, в царствование Александра I был сыном сельского священника.

...ремизился да ремизился — то есть не добирал положенного числа карточных взяток.

Тоггенбург — герой баллады Ф. Шиллера, переведенной на русский язык В. А. Жуковским.

Pelouse et Frémy. — Речь идет о книге «Общие основы химии», написанной французскими учеными-химиками Теофилом Жюлем Пелузом (1807—1867) и Эдмондом Фреми (1814—1894) и вышедшей в Париже в 1853 году.

Canot, Traité élémentaire de physique expérimentale. — Имеется в виду «Элементарный учебник экспериментальной физики» французского физика и математика Адольфа Гано (1804—1887).

Портрет Гуфеланда. — Христофор Вильгельм Гуфеланд (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни (Макробиотика)» (1796).

Преферанс — предпочтение.

Фуляр — здесь: платок из легкой шелковой ткани.

«Друг здравия» — медицинская газета, издававшаяся в Петербурге с 1833 по 1869 год.

Френология — ложная наука, ставящая задачу распознавать психические и моральные свойства человека по форме черепа.

Шенлейн — Иоганн Лукас Шейнлейн (1793—1864) — немецкий врач.

Радемахер — Иоганн Годфрид Радемахер (1772—1849) — немецкий ученый-медик.

Гуморалист Гоффман. — Фридрих Гоффман (1660—1742), немецкий терапевт, был сторонником гуморальной патологии и считал, что

причины заболеваний заключаются в нарушении нормального сокообмена (humor (лат.) — жидкость) в организме. Гуморалисты основывались не на экспериментах, а на умозрительно-схоластических рассуждениях.

Броун с его витализмом.— Известный английский врач-терапевт Джон Броун (1735—1788) признавал существование некоей «жизненной силы» (vita (лат.) — жизнь), управляющей процессами, происходящими в организме.

Витгенштейн.— Речь идет о фельдмаршале русской армии Петре Христиановиче Витгенштейне (1768—1842), участнике Отечественной войны 1812 года.

Жуковский.— Имеется в виду знаменитый русский поэт Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)

...тех-то в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете.— Намек на Южное общество декабристов, в состав которого входили офицеры, принимавшие участие в походе во Францию в 1814 году.

Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к лу...— то есть генерал Кирсанов не был декабристом-заговорщиком.

Старик Парацельский.— Имеется в виду знаменитый швейцарский врач и химик Теофраст Бомбаст Парацельс (1493—1541).

Говорил о тяжелых опасениях, внушаемых ему наполеоновской политикой и запутанностью итальянского вопроса.— Наполеон III при заключении Виллафранкского мира (11 июля 1859 года) по существу предал Италию, которая лишилась Венеции, отошедшей к побежденной Австрии. Борьба итальянцев за свободу от австрийского владычества и за объединение страны в 1860-х годах привлекла внимание русского общества и широко обсуждалась в печати.

Гораций — Квинт Флакк Гораций (65—8 гг. до н. э.) — римский поэт.

Вобьятия к Морфию — то есть ко сну; **Морфей** в греческой мифологии — бог сна.

Встала... в четверговую соль.— **Четверговая соль** — пережженная в четверг перед церковным праздником пасхи с квасною гущею; с нею едят на пасху яйца и пользуют как лекарство.

Иоанн Предтеча — по библейскому преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа; был казнен Иродиадой, отомстившей ему за разоблачение ее порочной жизни; отрубленная голова Иоанна Предтечи была преподнесена Иродиаде на блюде.

...кроме Алексиса, или Хижины в лесу.— Имеется в виду sentimentalno-дидактический роман французского писателя Дюпре-Дюмениля (1761—1819).

Цинциннат.— Имеется в виду Луций Квинций Цинциннат (V в. до н. э.) — римский консул, который вел простой образ жизни, сам обрабатывал землю и прославился как образцовый гражданин.

...надо трудиться самому И выходит, что Жан-Жак Руссо прав.— Великий французский просветитель и демократ Жан-

Жак Руссо (1712—1778) считал, что решающим условием воспитания и счастливой жизни человека является труд.

Предложил эфиризацию — то есть эфирными маслами.

Паллиативные средства — то есть приносящие лишь временное облегчение.

...занял из «Роберта». — Имеется в виду опера «Роберт-Дьявол» (1836) французского композитора Джакомо Мейербера (1791—1864).

Пушкин никогда не был военным! — Помилуй, у него на каждой странице: «На бой, на бой! за честь России! — И. С. Тургенев, по воспоминаниям П. В. Анненкова, писал ему: «На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь». Мнение писателя-разночинца Н. В. Успенского, высказанное в 1861 году в Париже при встрече с Тургеневым, вложено в уста Базарова.

Кастор и Поллукс — здесь в значении: неразлучные друзья; в греческой мифологии **Кастор и Полидевк** (в римской мифологии — **Поллукс**) по одному из мифов сыновья-близнецы Зевса и красавицы Леды.

Диоскуры. — Кастор и Поллукс прозывались **Диоскурами**.

Ералаш — старинная карточная игра.

Получил Владимира. — Имеется в виду орден святого Владимира, учрежденный 22 сентября 1782 года для наград за гражданские заслуги.

Опекунский совет — орган, ведавший воспитательными домами, сиротскими приютами, богадельнями и другими заведениями. **Опекунский совет** принимал в заклад дворянские имения, выдавал помещикам ссуды под проценты.

...под предлогом изучения механизма воскресных школ. — В начале 1860-х годов воскресные школы были еще новым явлением: первая такая школа возникла в 1859 году. Воскресные школы создавались для обучения по воскресным дням безграмотного и малограмотного взрослого населения. Царское правительство противилось их распространению и 10 июня 1862 года издало распоряжение об их закрытии, но под давлением демократической общественности в 1864 году разрешило открыть, однако под надзором инспекции.

По поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян. — **Остзейские** (прибалтийские дворяне в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии) выступали против освобождения крестьян с землей, доказывая, что право собственности на землю — исключительная привилегия дворянства. Они опасались, что освобождение крестьян с землей в центральной России вынудит и их отдать землю прибалтийским крестьянам. Их крайне реакционная позиция, обрекавшая крестьян на батрачество, подверглась резкой критике в русской печати, в частности в выступлениях Н. Г. Чернышевского и Ю. Ф. Самарина.

...статью «о креозоте». — **Креозот** — маслянистая желтоватая жидкость с неприятным сильным запахом и вкусом.

С е л а д о н — здесь: назойливый ухажер; от имени **С е л а д о н** — героя пасторального романа французского писателя О. д'Юфре «Астрей».

Г о л о в н я — болезнь пшеницы, превращающая пшеничный колос в угольную пыль; сорняк, плевел.

Г о с п о ж а Р а т к л и ф ф. — Речь идет об английской писательнице Энн Радклиф (1764—1823), произведения которой наполнены ужасами и тайнами.

...о с э р е Р о б е р т е П и л е. — Речь идет об английском государственном деятеле консерваторе Роберте Пиле (1788—1850).

Т о ч н о н а ч и т а л с я п и с е м Г о г о л я к к а л у ж с к о й г у б е р н а т о р ш е. — Имеется в виду письмо Н. В. Гоголя к А. О. Смирновой от 4 июля 1846 года. Под заглавием «Что такое губернаторша» оно было впервые напечатано в газете «Современность и экономический вопрос» (1860, № 1).

...э в о л а т у — вот и все.

Г у л я р д о в о й в о д ы — то есть свинцовой воды, в состав которой входит свинцовый уксус.

А д с к и й к а м е н ь — ляпис, азотнокислое серебро.

П и э м и я — гносекровие, болезнь крови (проникшие в кровь микробы вызывают нагноение).

...н е о т п р а в л я ю т с я в Е л и с е й с к и е... — здесь иносказательно: не умирают; Елисейские поля в греческой мифологии — загробный мир праведников.

П и т о м е ц Э с к у л а п а — то есть врач; **Э с к у л а п** — латинская форма имени Асклепия (бога врачебного искусства в греческой мифологии).

...в г л а з е т о в о м к о к о ш н и к е. — **Г л а з е т о в ы й к о к о ш н и к** — женский головной убор из парчи на шелковой основе и с вплетенными золотыми или серебряными нитями.

Г р а н с е н ь й о р с т в о — здесь в ироническом смысле: аристократичность (от исп.: Grand Señor — родовитый дворянин).

В Д р е з д е н е , н а Б р ю л е в с к о й т е р р а с е. — Терраса была расположена на бывшей крепостной стене Дрездена, над Эльбой, и называлась по имени Генриха Брюля (1700—1763) — министра Августа III, короля польского и курфюрста саксонского.

Б о г е м с к и е в о д ы — Карлсбад и Мариенбад.

...г о в о р я т к а к ...» о в е л и к о м с п о к о й с т в и и «р а в н о д у ш н о й п р и р о д ы»... и о ж и з н и б е с к о н е ч н о й... — Две скрытые цитаты: одна из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» («И равнодушная природа Красою вечною сиять»), другая — из церковного песнопения «Со святыми упокой» («...идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»).

Н. С. ЛЕСКОВ

Николай Семенович Лесков (1831—1895) родился в Орловской губернии, в семье мелкого чиновника. Образование получил в Орловской гимназии, окончив которую, служил чиновником уголовной палаты в Орле.

Литературной деятельностью стал заниматься с начала 1860-х годов.

В 1849 году Лесков переехал в Киев, где поступил на государственную службу. Здесь он сблизился с университетскими кружками большого города, познакомился с давними научными и художественными традициями. За время пребывания в Киеве Лесков изучил украинский язык и хорошо овладел польским языком. Здесь же он устроил и свою семейную жизнь. В начале 50-х годов он женился, но затем разошелся с женой и сочетался вторым браком с Екатериной Степановной Савицкой, женщиной необыкновенной красоты. Браки Лескова не были счастливы из-за материальных недостатков и увлекающейся натуры писателя. От первого брака у Лескова остались сын и дочь, а от второго — сын, Андрей Николаевич, оставивший замечательную книгу воспоминаний об отце «Жизнь Николая Лескова».

В 1857 году Лесков подает в отставку и поступает на частную службу. В это время он много путешествует по России. В 1860 году он поступает в канцелярию киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, но, прослужив около двух месяцев, вновь выходит в отставку.

С начала 1860 годов начинается литературная деятельность Лескова, выступившего в печати со статьями по экономическим и социальным вопросам. На интенсивности журналистской работы сказывается и переезд в 1861 году в Петербург, где Лесков знакомится с крупными литераторами. Он печатается в самых различных журналах.

В сентябре 1862 года писатель уехал за границу. Его маршрут лежал через Украину, Польшу и Чехию во Францию, в Париж. Весной 1863 года Лесков вернулся в Петербург.

Вскоре после приезда в столицу он принимает поручение правительства и обследует старообрядческие школы, глубоко изучив историю раскольнического движения. В это же время от журналистской деятельности он переходит к писательской, создавая рассказы, повести и романы.

Первые произведения Н. С. Лескова создавались в полемике с революционными демократами (рассказ «Овцебык», роман «Некуда»), которая продолжалась и позднее — в 1870-х годах (роман «На ножах»). Однако постепенно в творчестве Лескова укрепляются реалистические тенденции.

Крутой поворот в мировоззрении и творчестве Лескова наступает в начале 1870-х годов. Карикатурное изображение нигилистов, заметное еще в романе «Соборяне», уступает место типам праведников, переживающих духовную драму. Герои Лескова — внутренне богатые и душевно одаренные люди — испытывают на себе влияние морали, поверий, представлений, уходящих корнями в глубь народной жизни.

В 1870 году Лесков целиком отдается литературному труду. К нему приходит известность, в кругу его знакомых — виднейшие литераторы эпохи. Летом

1875 года он снова отправляется в заграничное путешествие и посещает Вену и Париж. В те же годы он по временам служит и состоит членом ученого комитета при министерстве народного просвещения. С этой должности его увольняют «без прошения» в 1883 году, и с тех пор Лесков уже не возвращается на государственную службу. Осенью 1884 года он знакомится со Львом Толстым. Личность великого писателя производит на него неизгладимое впечатление. В 1890-х годах Лесков гостит в Ясной Поляне.

В тот же период Лесков создает политически острые сатирические произведения и, что существенно, выступает прямым противником реакционеров, сочувственно рисуя молодых поборников обновления страны, хотя идеалом писателя остается не революция, а просвещение народа.

Таков поучительный итог духовных исканий большого русского художника, который от критики прогрессивной молодежи пришел в конце концов к сочувственному ее изображению.

Умер Н. С. Лесков в Петербурге.

ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА

В очерке, по-видимому, отразились ранние орловские впечатления Н. С. Лескова. В его памяти («Как я учился праздновать. Из детских воспоминаний писателя») отложился следующий случай: «Раз одному соседу старику, который «зажился» за семьдесят годов и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая...»

Л е д и М а к б е т — жестокая и коварная героиня трагедии В. Шекспира «Макбет».

М ц е н с к и й у е з д — один из уездов Орловской губернии.

...т о р г о в а л и к р у п ч а т к о ю — то есть белою пшеничною мукой лучшего помола.

Л у з г а — шелуха от семян подсолнечника.

К и е в с к и й п а т е р и к — имеется в виду «Киево-Печерский патерик» (книга отцов), одно из произведений древнерусской литературы.

П и х т е р ь — большая плетеная корзина.

...н а о п р о к и н у т у ю м е р к у — то есть на сосуд, предназначенный для измерения сыпучих товаров (например, хлебная мерка).

...г р е б л а н е з а м а й — то есть не трогай дощечки, которой ровняют сыпучий товар, сгребая лишнее; иначе говоря: сыпь с верхом.

Д е в и ч у р — волокита.

Г у л е в о й — праздный, не тягловой, не занятый

Д о п р е ж — прежде.

...н е в о з в р а щ а л с я с п о п р у д к и. — П о п р у д к а — устройство нижнего пруда для мельницы.

П е к л ы й — жгучий.

О м а р и в а е т — становится нестерпимо жарко; окутывает наваждениями.

П у н с о в ы м — красным.

К и с а — кожаный мешок.

Ч а в р е л а — чахла, сохла.

Ч а с т о ч к а, или ч а с о ч к а, — причастие, частица просфоры

Д в у н а д е с я т ы — п р а з д н и к — один из главных 12 религиозных праздников.

П р е с т о л — день памяти святого или события, в честь чего сооружен храм.

Р е г е н т — управляющий хором песенников и певчих в церкви.

П а п е р т ь — крыльцо (притвор) перед входом в церковь.

Ф о р ш л я г — небольшая мелодическая фигура.

Н е т о к м о — не только.

П е с т р я д и н н о й п о в я з к и — из грубой ткани, пестрой или полосатой (преимущественно с синими полосами).

Ж и р у ю т — резвятся, проказят.

И о в — библейский праведник, безропотно сносивший посланные ему богом испытания.

«З а о к н о м в т е н и м е л ь к а е т...» — строки из стихотворения Я. П. Полонского «Вызов» (вместо слова «полой» у автора — «плащом»).

М и р с к а я т а б а к е р к а — женщина легкого поведения.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Повесть, которую Лесков назвал рассказом, была, по-видимому, задумана им в 1872 году после летней поездки по Ладожскому озеру. Материалом для повести, как предполагают, послужили воспоминания и впечатления от службы в фирме Шкотт в Пензенской губернии. Ощутимы в повести народно-поэтические и литературные (романтические и реалистические) традиции.

В а л а а м — остров на Ладожском озере, где в начале XIV века находился мужской монастырь.

С у д б и щ е — судебное разбирательство, судебная расправа.

П о с л у ш н и к о н б ы л и л и п о с т р и ж е н н ы й м о н а х. — П о с л у ш н и к — готовящийся к принятию монашеского сана и выполняющий различные церковные и хозяйственные службы в монастырях. П о с т р и ж е н н ы й м о н а х — прошедший обряд посвящения в монахи, который сопровождался крестовидным выстрижением волос на голове.

...напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. — Имеются в виду картина В. П. Верещагина (1835—1909) «Илья Муромец на пиру у князя Владимира» (1871) и баллада А. К. Толстого (1817 — 1875) «Илья Муромец» (1871).

С и д е т ь б ы е м у н а «ч у б а р о м» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор». — Эпитет «ч у б а р ы й» (конь рыжей шерсти, примешанной к серой или к черной и белой) взят из баллады А. К. Толстого

«Илья Муромец»; «с м о л о й и з е м л я н и к о й т е м н ы »
б о р» — последние стихи той же баллады.

Черноризец — монах.

Епархия — ведомство архиерея, область, управляемая им.

...чуть было не расстригли — то есть не лишили духовного сана (дьякона, священника, монаха).

Ф и л а р е т — (1782—1876) — московский митрополит.

Преподобный Сергей — имеется в виду Сергей Радонежский (1314—1392), основатель Троице-Сергиева монастыря, видный деятель церкви и русский патриот, причисленный к лику святых (1452).

С т а т о ч н о е — исполнимое, сбыточное.

Иерей — то есть христианский священник, поп.

Стратопедарх — начальник военного лагеря.

Проскомидия — первая часть церковной службы.

На троицу, не то на духов день.— Религиозные праздники.

Иеромонах — монах, имеющий сан священника.

...в рясофоре — то есть в монашеской одежде без пострижения.

П о м а з о к — плохой живописец.

Кантонист.— Кантонистами до 1856 года назывались в России дети солдат, обязанные по своему происхождению служить в армии.

К о н э с е р — знаток (франц.: *connaisseur*).

Ремонтер — офицер, в обязанности которого входит подбор и закупка лошадей для кавалерийской части.

Р а р е й — имеется в виду американский дрессировщик лошадей Джон Р а р е й (1827—1866), приехавший в Россию в 1857 году демонстрировать свой метод.

Князь Всеволод-Гавриил — новгородский князь Всеволод Мстиславич (Гавриил), умер в 1137 году, причисленный к лику святых.

Муравный горшок — покрытый глазурью.

Г р а ф К.—Сергей Михайлович Каменский (1776—1835), деспотичный помещик, ведший расточительный образ жизни. См. также «Тупейный художник».

В о р о к — скотный двор, загон.

Старинною синею ассигнациею жалован — то есть пятью рублями.

Оборкаются — привыкнут.

Ф о р е й т о р — от нем. *Vorreiter*, верховой кучер при запряжке четверкой или шестеркой на одной из передних лошадей.

П... п у с т ы н ь — по-видимому, Предтечева Яминская пустынь, находившаяся в Орловской губернии.

...поехали мы... в Воронеж,— к новоявленным мощам.— Речь идет об «открытых» в 1832 году в Воронеже «мощах» епископа Митрофания.

Воздухом дух оморило — то есть дух захватило, впал в обморок.

С т р а ж б а — м ўка.

О г у м е н н и к — гумно; крытый ток.

За коней мы взяли триста рублей... на ассигнацию.— Бумажная ассигнация достоинством в 1 рубль составляла 27 копеек серебром.

Крест... от Митрофана — то есть от воронежского благовещенского Митрофаниевского монастыря.

Сарацины — мусульмане.

Невежничая — поступаю невежливо, грублю.

Хан Джангар — предводитель Буковской киргизской Орды, кочевавшей в Астраханской губернии; вел крупную торговлю лошадьми.

Рынь-пески — от казахского «нарын» — узкий песок; гряда холмов в низовьях Волги.

Зорость — желание, стремление, жажда.

Курохтан — степная птица (турухтан).

Пригородник — то есть близ города живущий.

Спрохвала — исподволь, полегоньку.

Караковый — темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами, желтизной на морде и в пахах.

Батырь — богатырь.

Сабур — алоэ.

Калганый корень — растение, употребляемое в пищу и как лекарство.

Таволочка — куст волжанки, степной березки.

Чилизник — степная полынь.

Хлупь — кончик крестца у птицы.

...ни живота — здесь: ни жизни.

Тюбенька — зимнее пастбище.

...ибо и по апостолу Павлу... рабы должны повиноваться.— Имеются в виду следующие слова Павла из «Послания к ефессянам»: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу».

Агнца — ягненок.

Подставки — под кибитки.

Зынули — поглядели, взглянули.

Епитимья — церковное наказание.

...Керемети бычка жертвую.— Керемети — добрые духи, живущие в лесах (чувашская мифология).

Зачичкался — захилел, похудел.

Храпок — часть переносья у лошади.

Соколок — артерия.

Гранмерси — большое спасибо (от франц.: grand merci).

Иов на гноище.— В Библии («Книга Иова») рассказано о том, как бог, испытывая веру Иова, поразила его проказой, это вынудило Иова уйти из города и сидеть в пепле и навозе.

Силанс — молчание (от франц.: silence).

Атанде — подождите (от франц.: attendre).

Лонтрыга — мот, пьяница, праздный гуляка.

Ч е т м и н е й — то есть «Четьи-Минеи», книга житий святых, изданная Дмитрием Ростовским.

П т и - к о м - р е — маленький компот; здесь: неожиданное представление.

...и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет. — Ассигнации различались по цвету: синие достоинством в пять рублей; серые — в десять; красные — в двадцать пять; белые — в сто и в двести.

«Челнок» — романс на слова Дениса Давыдова «И моя звездочка».

Е р и х о н и т с я — важничает, ломается.

К о н и к — ларь с подъемной крышкой.

О б е л ь м а — множество, куча.

В е л и к а т и т с я — держится с достоинством, величаво, осанисто.

А н ф а н — дитя (от франц.: enfant).

Ж е в у п р и — я вас прошу (франц.: Je vous prie).

П у р к у а — почему (от франц.: pourquoi).

Н е д р о — живот, чрево.

М о р е в о е — парчовое.

П е р е з н и я л — сгнил, истлел.

В м а р е н о в ы х красных юбках — то есть в синих (окрашенных мареновой краской) красивых праздничных юбках.

Т я г о с т н а я — беременная.

...у старых бортей. — Б о р т ь — дуплистое дерево, в котором водятся пчелы.

Л у н о в о ч к а — ладонь.

А в а р и я — Аварское ханство, впоследствии — Аварский округ (ныне — Дагестан).

З е л ь е — здесь: порох.

...б у к и, или покой, или како — названия букв «б», старославянского алфавита.

В б а л а г а н е на Адмиралтейской площади. — Имеются в виду представления для народа, даваемые вплоть до 1873 года в Петербурге на религиозные праздники рождество и пасху.

С т р а с т н а я неделя — последняя неделя великого поста перед пасхой.

М а л ы й постриг — обряд посвящения в монахи без наложения строгих правил.

С т а р ш и й постриг — обряд посвящения в монахи пожизненно и с наложением строгих правил.

У Я к о в а - а п о с т о л а. — Имеется в виду «Соборное послание апостола Иакова».

Е л и к о — сколько.

...на М о к р о г о С п а с а — религиозный праздник, отмечавшийся 1 августа по старому стилю.

Ж и т и е преподобного Тихона Задонского. — Имеется в виду «Житие иже во святых отцах нашего Тихона, епископа Воро-

нежского, Задонского и всея Руси», впервые опубликованное в 1862 году ...в Соловки к Зосиме и Савватию — то есть в Соловецкий мужской монастырь, основанный в XV веке Зосимой и Савватием.

ЛЕВША

Замысел рассказа возник, вероятно, не ранее 1878 года. Написан рассказ в мае 1881 года. В первоначальной публикации его название было иным, впоследствии измененным: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе (Цеховая легенда)». В предисловии к отдельному изданию рассказа (1882) Лесков писал: «Я не могу сказать, где именно родилась первая заводка баснословия о стальной блохе, то есть завелась ли она в Туле, на Ижме или в Сестрорецке, но, очевидно, она пошла из одного из этих мест. Во всяком случае сказ о стальной блохе есть специально оружейничья легенда, и она выражает собою гордость русских мастеров ружейного дела. В ней изображается борьба наших мастеров с английскими мастерами, из которой наши вышли победоносно и англичан совершенно посрамили и унизили. Здесь же выясняется некоторая секретная причина военных неудач в Крыму. Я записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу от старого оружейника, тульского выходца, переселившегося на Сестру-реку еще в царствование императора Александра Первого. Рассказчик два года тому назад был еще в добрых силах и в свежей памяти; он охотно вспоминал старину, очень чествовал государя Николая Павловича, жил по «старой вере», читал божественные книги и разводил канареек. Люди к нему относились с почтением». Критика приняла эти слова Лескова за чистую монету, и в ней раздались голоса о том, что писатель, мол, ограничился «простым стенографированием», пересказом «давно всем известной сказки о стальной блохе». Между тем сам Лесков иначе смотрел на свое произведение и решительно отклонил мнение рецензентов. «Все, что есть чисто народного в «Сказе о тульском Левше и стальной блохе», заключается в следующей шутке или прибаутке: «Англичане из стали блоху сделали, а наши туляки ее подковали да им назад отослали». Более ничего нет «о блохе», а о «левше», как о герое всей истории и о выразителе русского народа, нет никаких народных сказов, и я считаю невозможным, что об нем кто-нибудь «давно слышал», потому что,— приходится признаться,— я весь этот рассказ сочинил в мае месяце прошлого года, и левша есть лицо мною выдуманное. Что же касается самой подкованной туляками английской блохи, то это совсем не легенда, а коротенькая шутка или прибаутка, вроде «немецкой обезьяны», которую «немец выдумал, да она садиться не могла (все прыгала), а московский меховщик взял да ей хвост пришил,— она и села».

В этой обезьяне и в блохе даже одна и та же идея и один и тот же тон, в котором похвальбы, может быть, гораздо менее, чем мягкой иронии над своею способностью усовершенствовать всякую заморскую хитрость».

Сын писателя, А. Н. Лесков, свидетельствовал, что его отец «не раз доискивался корней ходившего присловья о том, как англичане стальную блоху сделали, а туляки ее подковали да им назад отослали. Все улыбались, подтверждая, что что-то слышали, но что все это, мол, пустое».

Таким образом, рассказ — плод художественного вымысла писателя, а вовсе не воспроизведение легенды. Кстати, в Сестрорецке, где возник замысел, Лесков, вопреки его «Предисловию», не знал никакого «старого тульского выходца», а был знаком лишь с одним помощником начальника местного оружейного завода.

Критика по-разному оценила рассказ: одни посчитали его развлекательным сочинением, другие увидели в нем апофеоз славянофильского учения, третьи — насмешку над русским человеком и т. д. Н. С. Лесков ответил своим критикам заметкой «О русском Левше», в которой писал: «Моя небольшая книжечка о тульском Левше и о стальной блохе» вызвала несколько литературных отзывов, из которых два убеждают меня в надобности сделать маленькое объяснение.

Говоря это, я разумею отзывы «Нового времени», которое нашло, что в моем рассказе народ несколько принижен, и отзыв «Голоса», которому кажется, что в этом рассказе народ очень польщен.

...Рецензент «Нового времени» замечает, что в левше я имел мысль вывести не одного человека, а что там, где стоит «левша», надо читать «русский народ».

Я не стану оспаривать, что такая обобщающая мысль действительно не чужда моему вымыслу, но не могу принять без возражения укоры за желание принизить русский народ или польстить ему.

Ни того, ни другого не было в моих намерениях, и я даже недоумеваю, из чего могли быть выведены такие крайние противоречивые заключения? Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он «расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по псалтырю да по полусоннику. Он видит, как в Англии тому, кто трудится,— все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки стремится к родине и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как надо, но это левше не удастся, потому что его на «парат роняют». В этом все дело.

Я никак не могу согласиться, что в такой фабуле была какая-нибудь лесть народу или желание принизить русских людей в лице «левши».

Во всяком случае я не имел такого намерения».

Венский совет.— Речь идет о Венском конгрессе (1814—1815), в котором главную роль играл Александр I (царствовал с 1801 по 1825); после победы над Наполеоном на конгрессе была определена судьба Европы: восстановлена абсолютная власть прежних династий и определены границы государств.

Междоусобные разговоры — здесь: разговоры между собой.

Донской казак Платов.— Речь идет о графе Матвее Ивановиче Платове (1851—1818), атамане донского казачества, генерале-от-кавалерии, видном военачальнике во время Отечественной войны 1812 года; сопровождал Александра I в его поездках в Лондон.

Кунсткамера — собрание редкостей, музей.

Гриватый — горбатый.

Водка-кислярка — виноградная водка, производимая в Кизляре на Кавказе.

Складень — складная икона.

Ажидация — от слов «ожидать» «ажитация» (волнение, возбуждение).

Мортимерово ружье. — Г. В. Мортимер — английский оружейник XVIII в.

В Канделябри. — Возможно, соединение двух слов: «Калибрия» — полуостров в Италии и «канделябр» — подставка для свечей.

...благородным бы сделал — то есть произвел в дворянское достоинство.

Сугиб — сгиб.

Сахар мово — то есть сахар, изготовленный в Петербурге на заводах их владельца «коммерции советника и кавалера» Я. Н. Мольво.

Мово Бобринского завода — то есть сахар, изготовленный на рафинадном заводе графа А. А. Бобринского близ Киева.

Дансе танцевать — то есть танец танцевать (от франц.: danse — танец).

Алексей Федотов-Чеховский — священник таганрогской соборной церкви; Александр I исповедовался у него перед смертью.

Корешковая трубка — выточенная из корня дерева.

Жукова табак — то есть табак, производимого на петербургской табачной фабрике, которой владел Василий Жуков.

Императрица Елисавета Алексеевна (1779—1826) — жена Александра I.

При восходе его было смятение. — Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, происшедшее при вступлении Николая I на престол.

От Аничкина моста из противной аптеки. — Имеется в виду аптека против Аничкова моста (в Петербурге).

Платов был еще жив. — Платов к тому времени уже умер.

...тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали. — На русских географических картах XVIII и начала XIX веков город носил разные названия.

Не проронят — то есть не забудут, не утратят из памяти.

«Два девяносто верст» — то есть 180 верст.

Святой Афон — полуостров в Греции, где было много монастырей и скитов, в том числе русских.

Петь с вавилонами — то есть вести трудные, извилистые и вычурные партии.

Собирают сборы даже там, где взять нечего. — Имеются в виду просьбы Афонского монастыря к русскому населению о милостыне, против которых выступал Лесков.

Зуша — река, на которой стоит Мценск.

Святитель Мир-Ликийских. — Имеется в виду Николай-чудотворец (IV в.), который был архиепископом в г. Миры в Ликии (Малой Азии).

Нощию — ночью.

Потная спираль — то есть душный, спертый от обильного потовыделения воздух (спираль от слова «спирать»).

...свою любимую дочь Александру Николаевну
Речь идет о младшей дочери царя Александре Николаевне (1825—1844)

Озямчик — азам, крестьянская верхняя долгополая одежда.

Граф Кисельвроде — Имеется в виду министр иностранных дел граф Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862).

«Ай люли — се тре жули» — то есть «Ай люли — это очень мило»

Камрад — товарищ.

Ерфикс — сжатый воздух (от франц.: air fixe).

...боготворные иконы и гроботочивые главы и мощи — вместо: чудотворные иконы и мироточивые главы и мощи (то есть будто бы источающие благовонное миро).

Ногапочки — носочки.

Сапажу — вид обезьян с короткой и густой шерстью.

Плисовая тальма — длинная накидка без рукавов из хлопчатобумажной ткани вроде бархата.

Не с бойлом — не с побоями.

Золотые часы с трепетиром — то есть золотые часы с боем (трепетир от слова «репетир» — механизм в карманных часах, отбивающий время при нажатии особой пружины, и слова «трепетать»).

Отлыгаться — отделяться ложью, отвираться.

Путина — дорога, путь.

Динаминде — Дюнамюнде (ныне Даугавпилс, порт в устье Западной Двины).

Мурин — негр.

На холодном парате — то есть на полу.

Обухвинскую больницу — то есть Обуховскую.

...к графу Клейнмихелю. — Речь идет о графе Петре Андреевиче Клейнмихеле (1793—1869), главном управляющем путями сообщения и публичными зданиями.

Комендант Скобелев. — Имеется в виду комендант Петропавловской крепости Иван Никитич Скобелев (1778—1849).

...доктора Мартын-Сольского — то есть Мартына Дмитриевича Сольского (1798—1881), сына священника, известного в 60—70-е годы петербургского военного медика.

...графу Чернышеву — то есть военному министру Александру Ивановичу Чернышеву (1786—1857).

...«дела минувших дней» — неточная цитата из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (начало первой песни).

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Рассказ впервые напечатан в 1883 году, однако о событиях, описываемых в нем, Н. С. Лесков слышал еще в детстве. Рассказ посвящен освобождению

крепостных. В рассказе изложены исторически достоверные эпизоды, связанные с семейством графов Каменских. Глава семьи, генерал-фельдмаршал граф Михаил Федорович Каменский (1738—1809), за зверское обращение был убит своими крестьянами. Его старший сын, Сергей Михайлович Каменский (1771—1835), генерал-от-инфантерии, в 1822 году вышел в отставку и устроил крепостной театр, удивляя окружающих роскошью и чудачествами. Младший сын фельдмаршала, Николай Михайлович Каменский (1779—1811), генерал-от-инфантерии, был назначен в 1810 году главнокомандующим молдавской армией. Сохраняя историческую основу, Н. С. Лесков все же значительно отступил от точной хронологии событий.

Тупейный художник — шутовское название парикмахера (от франц.: *toupet* — тупей, взбитый хохол на голове).

...в о б л а г и х — среди праведников.

Сазиков и Овчинников. — Павел Игнатьевич Сазиков (умер в 1868) и Павел Акимович Овчинников (1830—1888) — известные московские золотых дел мастера (чеканщики по золоту и серебру).

Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи»... — «Художником» Гейне назвал не портного, а сапожника Сакоцкого («знаменитого художника кожаной обуви») в «Лютении»; об «идеях» же портного речь идет в «Путевых картинах» немецкого поэта («В этом сюртуке есть несколько хороших идей», — сказал мой портной...).

Ворт. — Имеется в виду парижский портной Чарльз Фредерик Ворт (1825—1895).

Шнип — выступ на поясе женского платья или лифа.

...**Брет-Гарт** рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который работал над «мертвыми»... — У американского писателя Френсиса Брет-Гарта (1839—1902) действительно есть рассказ («Разговор в спальном вагоне»), в котором повествуется о провинциальном гробовщике, умевшем придавать лицам умерших «христиански-блаженную улыбку». Однако о том, как умер гробовщик, ничего не известно. Поэтому все дальнейшее рассуждение о гибели гробовщика — плод вымысла Лескова.

Тупейная гребенка — расческа с редкими зубьями.

Гримировальное туше — манера гримировки (от франц.: *touché* — манера художника).

Воображение — здесь: выражение.

Борисоглебских священников — то есть священников из собора святых Бориса и Глеба в Орле.

...м о е й б а б у ш к и А л ф е р ь е в о й. — А л ф е р ь е в а Акилина Васильевна (1790—ок. 1860) — бабушка Лескова по матери.

...к у п ц а И в а н а И в. А н д р о с о в а. — А н д р о с о в И в а н И в а н о в и ч; его Лесков описал в рассказе «Несмертельный Голован».

Подпури — то есть попури (соединенные в одно целое отрывки из нескольких музыкальных произведений).

Камариновые — то есть аквамариновые.

О д а л и с к а — наложница.

...святою Ц е ц и л и е й.— С в я т а я Ц е ц и л и я — святая католической церкви.

«З а в о л о х а т е л» — зарос, оброс волосами.

В о д в о ю — одновременно, сразу.

П о д о п л е к а — подкладка у крестьянской рубахи от плеч до середины груди и спины.

П р о щ а д ы — то есть пощады.

...я б ы л а о ч е н ь с л у х м е н а — то есть у меня был очень хороший слух.

Т р о б о к у — слишком много (от франц.: trop beaucoup).

С т р у н а — тонкая нить, употреблявшаяся при охоте на волков или в качестве орудия пытки (горло туго перехватывали струной).

...г о л о в у к р я ч к о м с к р я ч и в а л и.— К р я ч — толстая веревка; с к р я ч и в а л и — закручивали.

П р и п о л з у т,— говорит,— з м е и и в ы с о с у т о ч и...— неточная цитата из сербской песни «Марко-кравевич в темнице» в переводе А Х Востокова.

Т ь м а п р о м е ж н а я — то есть кромешная.

Х р у щ у к — то есть Рушук, город в Болгарии, находившийся в те годы под турецким игом.

С о с н о с о м — с краденым.

Л о б а н ч и к — золотая монета.

К о з ы р ь — стоячий воротник.

П е с т р я д ь — грубая бумажная ткань из разноцветных нитей.

В п р и з н а к п р и ш л а — в сознание.

П л а к о н — флакон.

Т а л ь к и — мотки пряжи.

З а г н е т к а — передняя часть русской печи.

Р а с т р о щ и л — раздробил.

А. Н. ОСТРОВСКИЙ

Александр Николаевич Островский (1823—1886) родился в Москве в семье чиновника, который, окончив духовную академию, избрал светскую службу и, кроме того, занялся частной адвокатской практикой среди купечества. Будущий драматург получил неплохое домашнее образование и воспитание, а затем с отличием окончил московскую гимназию и без экзамена был принят на юридический факультет Московского университета. Вскоре, однако, увлеченный литературой, он покидает университет, но под давлением отца служит в судах — сначала, с осени 1843 года, канцеляристом первого разряда в московском совестном суде, а затем, с декабря 1845 года, в коммерческом. В 1850 году Островский вступает в гражданский брак с мещанкой Агафьей Ивановной (умерла в 1867 году), чем навлекает на себя гнев отца, лишившего драматурга материальной помощи. Вскоре, в начале 1851 года, по состоянию здоровья оставляет службу в суде и занимается исключительно литературным трудом.

Первые литературные пробы относятся к 1840-м годам. Итогом их была знаменитая комедия «Свои люди — сочтемся» («Банкрут»), законченная в 1849 году и опубликованная в 1850-м. В это время Островский тесно связан с натуральной школой, с углублением реалистических тенденций в русской литературе, с передовыми эстетическими и общественными идеями эпохи. В начале 1850-х годов драматург сближается со славянофилами и их органом — журналом «Москвитянин», но с середины 1850-х годов сотрудничает уже с революционными демократами, выступая постоянным автором журнала «Современник», а затем и «Отечественные записки».

Большое значение для драматургической деятельности Островского имела его поездка вместе с группой литераторов по Волге в 1856 году. Выполняя поручение морского министерства, Островский смог расширить свое представление о России и народе. Впечатления, почерпнутые в путешествии, несмотря на то что его пришлось прекратить из-за болезни, отразились во многих произведениях драматурга. В это же время окончательно определяется мировоззрение Островского. Им написаны такие выдающиеся драматические произведения, как «Доходное место», «Воспитанница», «Гроза», с восторгом встреченные прогрессивной русской общественностью.

В начале 1862 года Островский отправляется в путешествие по Западной Европе. Он увидел Германию, Австро-Венгрию, Италию, Францию и Англию. В Лондоне он встретился с А. И. Герценом. В конце 1862 года Островский вернулся в Россию.

Основное драматургическое наследие Островского приходится на пореформенный период.

Писатель создает исторические пьесы, комедии из купеческой жизни, пристально всматривается в русскую жизнь, в положение маленького человека, судьбы дворянства, разночинцев, актеров. Он охватывает разные аспекты действительности, и вследствие этого заметно расширяется жанровый диапазон его творчества: картины нравов сменяются сатирическими комедиями и психологическими драмами.

В 1872 году московская и петербургская литературная и театральная общественность торжественно отметила 25-летие драматургической деятельности Островского. Несмотря на усиливающуюся болезнь, комедиограф не бросает перо. Талант Островского не теряет творческой силы: драматург пишет оригинальные и переводные пьесы, помогает молодым писателям.

Осенью 1883 года, надеясь отдохнуть, Островский сопровождает брата в поездке по Закавказью, где его восторженно встречают. В 1884 году писателя вместе с Л. Н. Толстым и И. А. Гончаровым избирают почетным членом Киевского университета.

В конце мая 1886 года угрожающие припадки грудной жабы заставили Островского уехать в свою усадьбу Щелыково. Там за письменным столом его застал сердечный приступ, от которого он скончался.

Всего Островский написал сорок семь оригинальных пьес, а вместе с соавторами еще семь. Им переведено также двадцать пьес иностранных авторов. Пьесы Островского составили русский народный театр. Велика была и общественная деятельность драматурга. Он выступил основным организатором Московского артистического кружка и Общества русских драматических писателей и композиторов. Островский, будучи видным теоретиком сценического искусства, способствовал победе реалистических принципов в русском театральном искусстве.

ГРОЗА

Пьеса была начата А. Н. Островским в июле, а закончена 9 октября 1859 года. В октябре же прочитана артистам Малого театра и одобрена Театрально-литературным комитетом и цензурой. Идейный смысл пьесы раскрыт Н. А. Добролюбовым в статье «Луч света в темном царстве». Высоко оценили «Грозу» И. С. Тургенев, И. А. Гончаров и другие писатели. Впервые «Гроза» была поставлена на сцене Малого театра (16 ноября 1859 года).

«Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» — первые строки популярной песни на слова поэта начала XIX века А. Ф. Мерзлякова (1778—1830).

Н е ш т о — разумеется, вестимо, ладно, пусть так.

А н т и к — здесь: редкость с оттенком: чудак, не от мира сего.

Х и м и к — ученый; возможно, мечтатель, выдумщик (от слова «химера»).

Е з у и т — здесь: лицемер, неискренний человек.

К о р а — здесь: состояние, положение.

Н а г е р б о в ы х л и с т а х — то есть на бумаге с изображением государственного герба или с наклеенными гербовыми марками; на такой бумаге писались официальные документы, просьбы, жалобы, и за нее взимали плату.

П е р п е т у - м о б и л ь — то есть перпетуум-мобиле (воображаемый «вечный двигатель»).

В е щ у н — предсказатель, отгадчик.

Д е н н о и н о щ н о — то есть ночью и днем, всегда, постоянно (устойчивое сочетание).

Н е в з д о р н а я — то есть основательная, не вороватая.

В р а г — здесь: черт, сатана, дьявол.

П о к о р — укор.

С о д о м — неразбериха, беспорядок, суматоха (от названия одного из городов древней Палестины, который, по библейскому преданию, был разрушен землетрясением и огненным дождем за грехи жителей).

П р о х л а д н о — здесь: не спеша, с отдыхом.

...о г н е н н о г о з м и я.— Имеется в виду паровоз (в 1851 году была построена двухколейная Петербургско-Московская железная дорога).

...с т о и т к т о - т о , л и ц о м ч е р е н — черт, дьявол.

П л е в е л ы — сорняки; ложные мысли, идеи.

«О т к р ы л а с ь б е з д н а з в е з д п о л н а , з в е з д а м ч и с л а н е т — б е з д н е д н а» — цитата из стихотворения М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»

«К а к д о н с к о й - ...» — народная песня.

З а р е к о ю , б ы с т р о ю , м о й В а н я г у л я е т... — русская народная песня.

«В с е д о м о й , в с е д о м о й !» — народная песня.

«Г у л я й , м л а д а , д о п о р ы ...» — отрывок из русской народной песни «Как у наших у ворот...»

«К а к з о р ю ш к а з а н я л а с ь ...» — русская народная песня.

Л и т о в с к о е р а з о р е н и е.— Имеется в виду польское нашествие в 1611—1612 годах.

О б ы в а т е л ь — здесь: житель.

«Я т е л о м в п р а х е и с т л е в а ю , У м о м г р о м а м в а ю» — цитата из оды Г Р Державина «Бог».

«С п о л н о ч н ы х с т р а н в с т а е т з а р я» — цитата из духовной оды М В Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния».

Р а ц и и — проповеди, наставления, назидательные речи, поучения.

«Н о ч н о ю т е м н о т о ю п о к р ы л и с ь н е б е с а ...» — начальные строки стихотворения М. В. Ломоносова (перевод из Анакреона).

Т я х т а — Кяхта, русский город на границе с Монголией.

З е л ь е — здесь: дурной человек, негодяй, беспутный.

П р и т ч а — внезапный, нечаянный и несчастный случай.

О к а з и я — здесь: беда.

ЛЕС

Комедия написана А. Н. Островским в 1870 году в Щелыкове. Первые постановки пьесы состоялись в Москве и в Петербурге в ноябре 1871 года.

А в а н т а ж — выгода, преимущество (от франц.: *avantage*).

Н а з е м с т в о — то есть на орган местного самоуправления, введенный в 1864 году и ведавший хозяйством, торговлей и образованием в уезде или губернии

Ма х а н а л ь н о — то есть машинально (от соединения двух слов: «махнул» и «машинально»).

К а т и с ь с д е р е в а т у р м а н о м — здесь: прыгай немедленно, даже вниз головой; т у р м а н — голубь-вертун, кувыркающийся в полете.

П р и б и р а е ш ь — собираешь (сплетни, вздор); капризничаешь.

О т в о д — здесь: обман.

З а м е р л а — онемела, притаилась.

З а к и н у т ь г о р с т ь н а с ч а с т ь е в т я т е н ь к и н у к о н т о р - к у — то есть взять деньги.

...«унеси ты мое горе» — строка из песни Ю. А. Нелединского-Мелецкого «Выйду ль я на реченьку...

Н и ж н и й — то есть Нижний Новгород.

Ч у й к а — длинный суконный кафтан, армяк.

Ш т у ц е р — нарезное ружье с коротким стволом.

Э с п а н ь о л к а — узкая борода.

М о с т р и к о в о е — шерстяное с лоском.

В И л ь и н с к у ю — то есть на Ильинской ярмарке в Полтаве, во время религиозного праздника Ильи-пророка.

С т я ж а л — здесь ирония: украл (вместо: стянул).

В е л и з а р и й — герой одноименной драмы немецкого драматурга Эдуарда Шенка (1788—1841).

Н и к о л а й Х р и с а н ф ы ч Р ы б а к о в — выдающийся русский провинциальный актер Н. Х. Рыбаков (1811—1876), сыграл много ролей в пьесах Шекспира, Шиллера, Грибоедова и др., был одним из первых исполнителей роли Несчастливцева в «Лесе»; считается, что он послужил прототипом Несчастливцева; на юбилее Н. Х. Рыбакова в Москве в 1876 году, игравшего, кстати, Несчастливцева, актера приветствовал А. Н. Островский.

Б и ч е в к и н.— А. Н. Островский воспользовался рассказом актера П. М. Медведева об эпизоде, происшедшем с ним. Однажды в Костроме Медведев играл Фидлера, Ляпунова же — актер Н. Г. Павлов-Веревкин. По ходу действия Веревкин так разошелся, что выбросил Фидлера—Медведева в окно, и тот две недели пролежал в больнице. Фамилию «Веревкин» драматург заменил на «Бичевкин».

О н Л я п у н о в а и г р а л, а я Ф и д л е р а - с.— Л я п у н о в и Ф и д л е р — персонажи драмы Н. В. Кукольника (1809—1868) «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский». Счастливцев рассказывает о финале 4-го акта.

Т а к, г о в о р и т, К а р а т ы г и н д е л а л.— Речь идет о трагике В. А. Каратыгине (1802—1853), которому была посвящена указанная драма Н. В. Кукольника.

...о т К р и о н а.— К р и о н Папа Никола — одесский табачный фабри-

...п о к о й н ы й К о р н е л и й.— Речь идет о Корнелии Николаевиче Полтавцеве (1823—1865) — актере-трагике Малого театра, которого горячо любили столичные и провинциальные актеры. Островский испытывал к нему особенную, предпочтительную любовь. Умер Полтавцев 29 декабря 1865 года в Москве. Хоронили его с большими почестями.

Мартынов.— Имеется в виду великий русский актер Александр Евстафьевич Мартынов (1816—1860), один из основоположников критического реализма на сцене; его игру высоко ценил А. Н. Островский. При зачислении Мартынова в труппу его долго держали на незначительных ролях.

Сганарель — герой комедий Мольера «Лекарь поневоле», «Хоть тресни, а женись», «Школа мужей», «Сганарель, или Мнимый рогоносец», «Замужество — лучший доктор», удачливый, ловкий и веселый слуга-пройдоха.

Камардин — искаженное: камердинер (слуга).

Термин — здесь: конец, срок.

«О, помяни меня в твоих святых молитвах» — слова Гамлета из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (д. III, явл. 3).

Дерево стоеросовое — здесь: болван, дурак, олух.

Состав — здесь: договор.

Вольт — здесь: ловкий поворот, ловкий прием (в карточной игре).

Алтынник — скупец, скряга, крохобор.

Золотник, гран — здесь: ничтожная малость; **золотник** — русская мера веса, равная 4,26 грамма; **гран** — единица аптекарского веса, равная 0,062 грамма.

Арлоб — самоуверенность.

Ампоше — прикарманить.

Офелия — героиня трагедии В. Шекспира «Гамлет»

«...люблю ее, как сорок тысяч братьев любить не могут» — фраза Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира.

Корнелий Непот — римский писатель (I в. до н. э.); считался простым и ясным.

Пифагоровы штаны.— Для запоминания теоремы Пифагора было придумано выражение: «Пифагоровы штаны во все стороны равны».

«...творя обеты и молитвы» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Кто из богов мне возвратил...».

Менестрель — средневековый странствующий поэт-музыкант.

Конвенансы — приличия.

Лир — герой трагедии В. Шекспира «Король Лир».

Мизерная жизнь — здесь: никчемная.

Межевые книги — здесь: вероятно, книги, которые велись в поместье Гурмыжской и в которых указывались границы (межи) ее земельных владений.

Ротшильд — известный европейский банкир; его имя стало нарицательным для обозначения бесстыдно нажитого богатства.

Коканец или киргиз-кайсак — **Коканец** — выходец из Кокандского ханства (ныне Ферганская обл.); **киргиз-кайсак** — старое название казаха.

Комлот — заговор.

«Люди, люди! Порождение крокодилов»... — цитата из «Разбойников» Шиллера (д. I, явл. 2)

БЕСПРИДАННИЦА

Драма была задумана А. Н. Островским 4 ноября 1874 года в Москве, а закончена в середине октября 1878 года. Первая постановка состоялась на сцене Малого театра 10 ноября 1878. Пьеса имела большой успех.

Б р я х и м о в.— Такого города во времена Островского не было, но, как известно из летописей, он существовал в древности.

...о т п о з д н е й о б е д н и.— Обедня — церковная служба.

В е ч е р н я — церковная служба.

М о ц и о н — прогулка.

...с «С а м о л е т о м».— «Самолет» — здесь: пароход, принадлежащий волжскому пароходному обществу «Самолет созданному в 1853 году.

К о ж у х и — покрышки над колесами парохода.

Н а т р е н з е л я х — то есть на металлических цепочках, которые удерживают мунштук во рту лошади; благодаря им натянутые поводья заставляют лошадь высоко держать голову.

Н а н и з у — в верховьях.

...в П а р и ж - т о н а в ы с т а в к у.— Имеется в виду Всемирная парижская выставка 1878 года.

«Х о р о ш в и н о г р а д, д а з е л е н» — измененная цитата из басни И. А. Крылова «Лисица и виноград».

М у р ь я — дыра, люк в пароходном трюме.

Ф р а н ц у з с к и е р а з г о в о р ы — здесь: русско-французский разговорник.

В у й — да.

«Д а з д р а в с т в у е т в е с е л ь е! Д а з д р а в с т в у е т У с л а д!» — слова из оперы А. Н. Верстовского «Аскольдова могила», либретто М. Н. Загоскина.

«М а т у ш к а, г о л у б у ш к а, с о л н ы ш к о м о е, П о ж а л е й, р о д и м а я, д и т я т к о т в о е!» — романс А. Л. Гурилева на слова Ниркомского.

М и р о в о й с у д ь я — избирался закрытым голосованием на уездных земских собраниях и решал мелкие уголовные и гражданские дела.

«Н е и с к у ш а й м е н я б е з н у ж д ы» — романс М. И. Глинки на слова Е. А. Баратынского «Разуверение».

Г л а г о л е м — перегнувшись, наподобие буквы «Г», которая в старославянской азбуке называлась «глаголь».

С е к у н д а ф а л ь ш и в и т — здесь: фальшифит вторая струна гитары.

Д о л г о в о е о т д е л е н и е — место в тюрьме для несостоятельных должников.

«...б а ш м а к о в е щ е н е и з н о с и л а» — слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

«О ж е н щ и н ы!.. Н и ч т о ж е с т в о в а м и м я!» — слова из того же монолога Гамлета.

«О т п р е к р а с н ы х з д е ш н и х м е с т!» — слова из популярной песни М. В. Зубова (умер в 1799 г.) «Я в пустыню удаляюсь...»

«Я еду - еду, не свищу...» — стихи из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (песнь третья).

Рыбий клей — приправа, изготавливаемая из плавного пузыря красной рыбы.

Владыко — духовное лицо, ведающее епархией (церковным округом).

«Бургонское» — известный сорт вина, производимого в Бургундии (Франция)

«Киндер-бальзам» — детский бальзам, слабая настойка, употреблявшаяся как лекарство.

Регалия капустиссима dos amigos — шуточное название дешевых сигар низкого сорта («Регалия» — сорт дорогих сигар; капуста — капустных; dos amigos — для друзей).

Бертрам — персонаж оперы «Роберт-Дьявол» Д. Мейербера.

«Птички певчие» — оперетта Ж. Оффенбаха (другое название — «Перикола»)

«Веревьюшки веревью...» — русская народная песня, исполняемая на троицу

Мазик — бильярдный кий с тупым наконечником.

Открытый лист — документ, обладатель которого может получать деньги или предъявлять претензии.

Прогонны — плата за каждую версту при езде на почтовых лошадях.

...на какого Медичиса нападешь.— Здесь: покровителя искусства; Лоренцо Медичи Великолепный (1449—1492) — покровитель искусств и наук во Флорентийской республике.

«В глазах, как на небе, светло...» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. И. Коровин. Торжество реалистического слова</i>	3
---	---

И. С. Тургенев

Записки охотника	
Хорь и Калиныч	35
Однодворец Овсяников	45
Льгов	58
Бежин луг	67
Касьян с Красивой Мечи	83
Бурмистр	98
Бирюк	109
Два помещика	115
Певцы	122
Лес и степь	137
Отцы и дети. Роман	143

Н. С. Лесков

Леди Макбет Мценского уезда. Очерк	305
Очарованный странник	345
Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)	453
Тупейный художник. Рассказ на могиле	481

А. Н. Островский

ПЬЕСЫ

Гроза	502
Лес	554
Бесприданница	633
Комментарии	701

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(т о м 8)

Иван Сергеевич Тургенев

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ОТЦЫ И ДЕТИ

Р о м а н

Николай Семенович Лесков

ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

ЛЕВША

ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК

Александр Николаевич Островский

ПЬЕСЫ

ИБ № 4432

Ответственные редакторы Э. М. Лемперт и Н. П. Посвянская.
Художественный редактор М. Д. Суховцева. Технический редактор
Н. Ю. Крапоткина. Корректоры О. И. Иванова и Т. А. Лукьяно-
ва. Сдано в набор 31.07.80. Подписано к печати 18.12.80. Формат 60×90^{1/16}.
Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 47,13.
Уч.-изд. л. 47,46+9 вкл.=48,05. Тираж 404 000 (1—200 000) экз. Заказ № 2066.
Цена 2 р. 10 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская
литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового
Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государ-
ственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сушевский вал, 49.

Тургенев И. С.

Т87 Записки охотника; Отцы и дети: Роман. Ле-
сков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда; Очарован-
ный странник; Левша; Тупейный художник. Остров-
ский А. Н. Пьесы/Предисл. и коммент. В. И. Коро-
вина; Ил. А. Парамонова — М.: Дет. лит., 1981.—
735 с. ил., +вкл. (Б-ка мировой лит-ры для детей,
т. 8.)

В пер.: 2 р. 10 к.

В том вошли избранные произведения русских
И. С. Тургенева, Н. С. Лескова и А. Н. Островского.

Т 70803—066
М101(03)81 Подп. изд.

Р1



2 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»